

1998

3

Октябрь

Октябрь

3 1998

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

3

1998

МАРТ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
А. ВАРЛАМОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛ-
ГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Д. КУГУЛЬТИ-
НОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, А. НАЙМАН, О. ПАВЛОВ,
Л. САРАСКИНА, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вячеслав ПЬЕЦУХ. Темное дело, или О значении очистительного пути. Рассказ	3
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Разрозненные страницы. Стихи	19
Маргарита ШАРАПОВА. Коверный. Повесть	22
Игорь ВОЛГИН. Пропавший заговор. Достоевский и политический про- цесс 1849 года. Продолжение	67
Светлана МАКСИМОВА. Силуэты мака. Стихи	109
<i>Нечаянные страницы</i>	
Алексей ВАРЛАМОВ. Любимовка	112
Кирилл КОБРИН. Буддический город	123
Анатолий ПРИСТАВКИН. Праздник в чужом окне	130
<i>Искусство перевода</i>	
Уильям САРОЯН. Три рассказа. Перевод с английского Арама Оганяна ..	139

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ.
Немного о себе и времени. Из записных книжек. Вступление Анатолия Ананьева **154**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ян ШЕНКМАН.
Хорошо забытое настоящее. Критические заметки ... **168**

Панорама

Кирилл КОБРИН. **Маршруты приближения к Бродскому** (Валентина ПОЛУХИНА. **Бродский глазами современников**); Петр КИРИЛЛОВ. **Книга рождения жанра** (Самуил ЛУРЬЕ. **Разговоры в пользу мертвых**); А. ЦЕИС. **Если не теперь** (Юрий ГЕРТ. **Эллины и иудеи**); Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. **Реквием по русскому человеку** (Евгений ЛЕБЕДЕВ. **Стихи. Переводы. Лимерики**); Н. ЛУКАС. **Гагарин/Gagarine** (Иван ГАГАРИН. **Дневник. Записки моей жизни. Переписка**); Л. ВОЛОДАРСКАЯ. **Кто такой лемур?** (*Энциклопедия сверхъестественных существ*) **175**

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
О вещах и местах **183**

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Неманифест **186**

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ **189**

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефонам: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 28.01.98. Подписано к печати 19.02.98. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9230 экз. Заказ № 1184. Цена 16 руб.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1943 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64,

ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии —

214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Темное дело, или О значении очистительного пути

Ане воспеть ли нам, граждане, бывшую Владимирскую дорогу, ныне шоссе Энтузиастов — начало сибирского очистительного пути... Собственно, почему бы и нет: воспевали же у нас некогда авиационные двигатели, рессорные коляски, пулеметы системы «максим» и прочие малоэпические предметы, и разве не этим путем Россия искони очищалась от урок и баламутов, включая тех самых энтузиастов, которые по молодости были на все способны, вплоть до культурной революции по китайскому образцу; наконец, Владимирка сама по себе симпатичная магистраль, по-своему замечательная в своей чисто российской, какой-то неубедительной, озадачивающей красе. Как известно, бывшая Владимирская дорога начинается у Рогожской заставы, где когда-то существовали дешевые гостиницы для старообрядцев и трактиры для лихачей, а теперь наблюдаются руины, грязно-салатовое здание универсального магазина и чугунный Ульянов-Ленин, нарочно поставленный вровень с тамошней гольтепой. За Рогожской заставой идут заводы: все заводы, заводы, маленькие и большие, от крохотной фабрики зажигалок до металлургического колосса «Серп и молот», который неизвестно что выпускает, и даже достоверно неизвестно, выпускает ли что вообще, но впечатление эта промышленная стихия все-таки производит, правда, тяжелое, какое еще производят большие сны. Потом справа открываются громады жилых домов, выстроенные в правилах отталкивающего сталинского ампира, далее увидится кинотеатр «Слава», где в пятидесятых годах из озорства резали москвичей за тринадцатое место в тринадцатом же ряду, затем пойдет 17-я больница, за ней перелески по обе стороны от дороги, бывшие владения бар Терлецких, мирная новогириевская церквушка — на этом все; то есть сразу за церквушкой начинается Горьковское шоссе в качестве продолжения сибирского очистительного пути, и только силой воображения в другой раз пробьешься через дикие просторы материка, от города Балашиха до пристани Марчикан.

Между прочим, Владимирскую дорогу, ныне шоссе Энтузиастов, в частности, потому следовало бы воспеть, что тут отличается капитан Алексей Казнюк, который в качестве старшего оперуполномоченного усердно гоняет урок. Даром что капитан Казнюк человек семейный, что у него есть одно страстное увлечение, а именно: он собирает этикетки от спичечных коробков. Живет капитан такой коренной мечтой, как бы спровадить всю московскую сволочь по Владимирскому очистительному пути. Благо он тут рядом, что называется, под рукой. Здешний криминалитет, видимо, это чувствует, и на территории, опекаемой Казнюком, редко случаются происшествия забористей пьяных драк.

Впрочем, бывают и неприятные исключения: так, 11 сентября восьмидесят четвертого года в угловом доме по Электродной улице, в собственной квартире, был убит известный махинатор Иосиф Бант. Этот Бант промышлял подержанными автомобилями, сбытом краденого и контролировал пару свалок в районе города Реутова, но его до поры до времени было не за что ухватить.

Позвонили в отделение милиции обеспокоенные соседи, которые были обеспокоены, против всякого обыкновения, тем, что в квартире у Банта третьи сутки стояла мертвая тишина. Капитан Казнюк явился на зов около шести ча-

сов вечера 13 сентября, специально заточенным гвоздиком отпер входную дверь, сторожко вошел в квартиру, и тут ему открылось такое занятное полотно: безукоризненно чисто прибранные комнаты, кажется, ни одна безделушка не стронута со своего места, посуда помыта, пепельницы пусты, а в ванной комнате, на полу, лежит мертвый Бант со множественными ранениями грудной клетки и головы. Впоследствии эксперт судебной медицины Сорокин установил, что убийца орудовал кухонным ножом и неким тупым предметом, предположительно утюгом или обухом топора; смерть потерпевшего наступила два дня назад, около часу дня.

После того как тело увезли в морг, капитан Казнюк прихватил с полдюжины кухонных ножей, так называемый туристический топорик и обыкновенный утюг фабрики «Физприбор», найденные при обыске, опечатал квартиру Банта, перемолвился с соседями по площадке, которые, впрочем, не сообщили ничего заслуживающего внимания, и вернулся к себе в *кантору*. Запершись в своем кабинете, он вперился в портрет Феликса Дзержинского и принялся размышлять. Вернее сказать, поначалу он дождался, когда головной мозг отпустит некое отупение, умственная немота, которая обыкновенно сваливалась на него в первые часы следствия, и уже потом принялся размышлять. Было очевидно, что преступника надо искать среди той уголовной шушеры, с которой имел дело покойный Бант, и посему план расследования убийства выстраивался из трех кардинальных пунктов: розыск в Южном порту, где торговали подержанными автомобилями, экскурсия на свалки в районе города Реутова, приватная беседа с секретным сотрудником из среды сбытчиков краденого Васькой Каменевым по прозвищу Самосвал.

Почему-то хотелось именно с Васьки Каменева начать. Точно чувствовал капитан Казнюк, что в этом пункте он скорее всего ухватится за живое и в законные сроки найдет убийцу...

Только вот какое дело: а зачем его, спрашивается, искать? Жертва кровавого преступления не воскреснет, даже если засадить убийцу до конца его злостных дней, а если засадить-таки убийцу до конца его злостных дней, то на воле его тут же подменит другой убийца, поскольку — увы! — история криминалистики показывает, что количество тяжких преступлений в каждую эпоху колеблется вокруг одной и той же константной величины, независимо от успехов людей розыска и суда. Следовательно, чем больше злодеев сидит по тюрьмам, тем больше их бесчинствует на свободе, равно как увеличение рождаемости соответствующим образом сказывается на статистике похорон. Вот кабы преступник боялся возмездия, тогда да, а то ведь его ни тюрьмой, ни даже смертной казнью не напугаешь, потому что ему пугаться нечем, и, стало быть, самые страшные люди — это как раз люди бесстрашные, которые и чужую жизнь ни в грош не ставят, и своей нимало не дорожат. О так называемой перековке тоже не приходится говорить, ибо «Как волка ни корми, он все равно в лес смотрит», ибо способность к убийству так же загадочна и неистребима, как художественный талант.

Итак, что бы ни говорили люди розыска и суда, преступников устанавливают, ловят и наказывают исключительно ради осуществления акта возмездия за грехи. Из этого вытекает, что, в частности, христианское государство Россия, еще в IX веке новой эры принявшее за основу своей этической идеи любовь к врагам, на самом деле функционирует исходя из скрижалей иудейских, из заповедей пророка Моисея — око за око и зуб за зуб. Это ли не срам, по вести говоря?!

Правда, человечество знает один выход из этого тупика — тоталитарное государство, которое, безусловно, подчиняет сознание людей той или иной политической доктрине и берет на себя все общественные отправления человека вплоть до физиологических рубежей. Бог весть по какой причине, но при всех известных тоталитарных режимах преступность резко идет на убыль, хиреет и расточается по углам. Уж как-то так получается, что с сахаром плохо, промышленность работает главным образом на войну, территория ширится за счет расслабленности соседей, невоздержанные мнения влекут за собой чудовищные сроки, но зато можно безбоязненно разгуливать по ночам. То есть, выходит, одно из двух: либо наличие политических свобод при условии несвободы от посягательств уголовного элемента, либо вместо политических свобод — возможность безбоязненно разгуливать по ночам. Это даже не парадокс, а опять

же срам, особенно если принять категорический императив Иммануила Канта за основополагающее правило бытия.

С другой стороны, вот какое чудесное обстоятельство успокаивает, навеивает: преступность не увеличится и не уменьшится, если в один прекрасный день с улиц исчезнут милиционеры, если вдруг милиция сгинет как институт.

На другой день, то есть 14 сентября, капитан Казнюк вызвал Васюку Каменева на конспиративную квартиру, которую районное управление внутренних дел держало в одном из домов по Зеленому проспекту и где для отвода глаз помещалось еще ателье по ремонту холодильников и продовольственный магазин.

Когда секретный сотрудник Каменев явился на конспиративную квартиру, условленным манером позвонив во входную дверь, капитан Казнюк усадил его в креслице напротив письменного стола, нахохлился и завел:

— Ну, рассказывай, Самосвал, как тебе гуляется на свободе...

Тот в ответ:

— Это вы к чему, Алексей Иваныч?

— Это я к тому, что сейчас ты напряжешься и нарисуешь мне круг лиц, которые могут быть так или иначе причастны к убийству Банта.

Василий Каменев, видный малый, от пяток до макушки весь какой-то кряжистый, налитой, но лицом смахивающий на обиженного подростка, вдруг напрягся, наморщил лоб, словно перед ним возникло что-то угрожающе-непонятное, и сказал:

— Да в том-то все и дело, товарищ капитан, что Бант уже два года как отошел от дел...

— Ой ли?

— Ей-богу, век воли не видать, если вру! Как в восемьдесят первом году Ананас сдал ему две норковые шубы, так с тех пор о его деятельности не слышать. Я и сам удивляюсь: чего это он отошел от дел?!

— Чем же он тогда, по-твоему, промышлял?

— А хрен его знает, чем! Может быть, он, как и раньше, подержанными машинами промышлял, может быть, свалками занимался... Одним словом, хрен его знает, чем. Хотя я стороной слышал, что будто бы Бант получил какое-то громадное наследство, может быть, он на этом основании завязал?..

— Что-то я в первый раз про наследство слышу, — насторожась, сказал капитан Казнюк.

— Ну как же! Какой-то родственник у него помер и оставил наследство на миллион!

— Прямо-таки на миллион?

— Ну, это я так, отвлеченно говоря, может быть, на сто тысяч, но ведь и сто тысяч — тоже подай сюда...

— А то нет! — сказал капитан Казнюк.

— Вот и я говорю: сто тысяч — это же свой выезд, дача в Малаховке, полжизни в Сочи и из дома без стельника ни ногой!

— Ладно, вернемся к делу. Ты, часом, не знаешь, расплатился Бант с Ананасом за две норковые шубы или спустил эту затею на тормозах?

— В том-то все и дело, Алексей Иваныч, что не расплатился, это я знаю, как дважды два!

— А что, Ананас злопамятный гражданин?

— Не то слово! Мы еще когда с ним в Потье сидели, я ему три пачки чая просадил в секу, так вот он с меня взыскал лагерный должок через шесть с половиной лет.

— Чаем, что ли?

— Зачем чаем?.. Бабками, по курсу вышло пятьсот рублей.

Последние сообщения давали живой поворот следствию, некоторым образом окрыляли, и капитан Казнюк от радости застучал пальцами по зубам; была у него такая дурная привычка — в хорошую минуту стучать пальцами по зубам.

После он повернул разговор на другие темы, как-то об артельном золоте, по слухам, контрабандой прибывшем с колымского прииска «Партизан», при том, что его ни на минуту не отпускала дума об Ананасе, после выпроводил Самосвала из конспиративной квартиры, но, прежде чем покинуть ее самому, по привычке осмотрел обе комнаты на предмет следов преступления, а именно: аксессуаров дамского обихода, посторонней посуды и прочих предательских

мелочей. Дело в том, что капитан Казнюк время от времени использовал конспиративную квартиру не по назначению; был он человек хотя и семейный, деловой, порядочный, но живой.

Примерно через час с четвертью он уже был в Южном порту, где покойный Иосиф Бант некогда промышлял подержанными автомобилями и по сей день безобразничал вор Сашка Скоробогатов по прозвищу Ананас. На огромной площадке, залитой сизым асфальтом, стояли ряды разноцветных автомобилей, возле которых роились покупатели, продавцы, праздношатающаяся публика и жулье. Денек выдался серый, нерадостный, накрапывал дождик, собиравший ощущение легкого нездоровья, пахло промасленными концами, иногда налетал энергичный ветер и гонял по асфальту тот или иной головной убор.

Долго ли, коротко ли, отыскал капитан Казнюк вора Скоробогатова, наконец приблизился к нему со спины, тронул за руку и сказал:

— Пойдем, бродяга, попьем пивка.

В первое мгновение Скоробогатов оторопел, но затем у него на лице появилось нечто, одновременно брезгливое и обозначающее тоску.

— Что-то я тебя не знаю,— с дальней угрозой в голосе сказал он.

— Оно и понятно.

— Больно ты дерзкий, как я погляжу.

— Ты знаешь, Ананас, почему русские всегда побеждали своих врагов? Сейчас объясню: потому что им жизнь такая недорога.

— Да ты, собственно, кто такой?!

Капитан Казнюк представился, Ананас вздохнул и молвил:

— Тогда пойдем.

В пивной, разбитой на походный манер, под тентом, чуть правее центрального въезда в порт, капитан Казнюк взял у стойки четыре кружки пива и тарелку соленых сушек, затем усадил Ананаса за дальний столик, нахохлился и сказал:

— Вопрос первый: знаком тебе, Скоробогатов, некто Иосиф Бант?

— Ну, знаком.

— Вопрос второй: когда ты его видел в последний раз?

— В последний раз я его видел с неделю тому назад. Он пригнал на продажу «копейку» и «мерседес». А что?

— А то, что в восемьдесят первом году ты сдал Банту две норковые шубы, но денег за таковые не получил.

— Ну, это уже лирика пошла,— сказал Ананас, вытащил из нагрудного кармана сигареты и закурил.— Лирика — это по вашей части.

— Спички покажи!

Скоробогатов протянул ему через стол спичечный коробок; капитан Казнюк внимательно рассмотрел этикетку на коробке, вернул спички владельцу и сообщил:

— Насчет лирики я ничего не скажу, а то, что ты долги спускать не привык, это, Ананас, медицинский факт. Так продал Бант в тот раз «копейку» и «мерседес»?

— А то!

— Кому, почему, на каких правах?

— Это вы по документам можете посмотреть.

— Делать нечего, посмотрю. А ты вот что, Скоробогатов: к завтрашнему дню мне алиби приготовь, где и с кем ты прохладился одиннадцатого числа около часу дня. Это вопрос хотя и третий, но принципиальный, имей в виду.

— А я и сейчас могу сказать: одиннадцатого числа я примерно часов до трех торчал в парикмахерской на Ухтомской — стрижка там, бритье, маникюр, массаж...

— Хорошо устроились, ребята: маникюр, е-мое, массаж среди бела дня, в то время как народ корячится у станков!

— То ли еще будет.

— Это ты о чем?

— Это я о том, что еще будет и на нашей улице праздник.

— На вашей улице — никогда!

Впоследствии, однако, случилось именно то, что, казалось, случиться ни в коем случае не могло: силу взял как раз средний и низший криминалитет, который при большевиках сравнительно прозябал. Как известно, вплоть до конца

80-х годов свободно бесчинствовали лишь уголовники от марксизма, каковые изредка опускались до банального воровства, но главным образом вершили свои злодеяния на тех качественных высотах, где убийства и грабежи нечувствительно перетекают из категории «уголовное преступление» в категорию «государственная политика», как, например, количество крестьянских коров, подходящих от бескормицы, превращается в абстрактное качество падежа. Но как только в России наметился переход от ежовых рукавиц к частной инициативе, ушлые люди немедленно переоделись в красные пиджаки; прежде они добывали свой хлеб насущный посредством плагиата и благонамеренности либо безопасного лезвия и отмычки, но едва наше отечество обрело кое-какие демократические свободы, как вор и жулик вышли на первый план. Этот феномен нам говорит о том, что, видимо, хозяйственное развитие вообще питается уголовными склонностями психики и ума, что ежовые рукавицы в нашей земле всегда предпочтительней частной инициативы, что центральная фигура в России, за редкими исключениями, — злодей, от которого, впрочем, бывает польза, в то время как от доброхота жди упрощенного судопроизводства и освоения целины.

Тем временем капитан Казнюк поднял бумаги, относящиеся к купле-продаже двух подержанных автомобилей, и успел проверить алиби вора Скоробогатова по прозвищу Ананас. Из бумаг было видно, что «копейку» за полторы тысячи рублей приобрел кандидат технических наук Корольков, а «мерседес» откупил рубщик с Тишинского рынка Мордкин, причем Корольков именно 11 сентября отправился на благоприобретенной «копейке» отдыхать в Судак, а у Мордкина еще 10 сентября пошли камни и он до сих пор лежит в Центральной клинике ВВС. Однако в котором именно часу Корольков отбыл в направлении Крыма, оставалось неизвестным, а рубщик Мордкин, по справкам, зачем-то держал при себе костюм. Что же до алиби Ананаса, то он действительно чуть ли не полдня провел в парикмахерской на Ухтомской улице, если верить словам заведующего этим заведением Иогансона, но, поскольку из массажного кабинета имелся отдельный выход во двор, алиби заслуживало доверия не вполне. Самое занятное было то, что массажист Небылицкий, который занимался Скоробогатовым 11 сентября, ни с того ни с сего исчез.

На следующий день капитан Казнюк, что называется, проснулся в объятиях своей давнишней подруги Зинаиды Петровны Вульф. Накануне он позвонил жене из парикмахерской на Ухтомке и слукавил, будто бы его незначай назначили дежурным по районному управлению, а сам отправился на Федеративный проспект, где его Зинаида снимала однокомнатную квартиру.

Эта самая Зинаида Петровна Вульф была в своем роде камнем преткновения его жизни. Познакомились они четыре года тому назад, на свадьбе эксперта судебной медицины Сорокина, и мало-помалу у капитана образовалось что-то вроде второй семьи. Не то чтобы он без памяти любил свою Зинаиду, однако в ней было что-то настолько родственное, надежное и приветное, что ее нельзя было по-своему не любить. Кроме того, образ жизни его подруги, характер, манеры, склонности были на удивление таковы, что жизнь дома и жизнь на Федеративном проспекте соотносились в его глазах, как будни и выходные, но главное — Зинаида была умна. Немудрено, что капитан Казнюк постоянно и мучительно размышлял, а не развестись ли ему с женой, не перебраться ли к Зинаиде, и только одно смутное подозрение удерживало его от решительных перемен: как бы потом на Федеративном проспекте не пошли будни, как бы потом не искать праздника опять же на стороне.

Капитан Казнюк утер ладонями заспанное лицо, хорошо зевнул и посмотрел на часы — было без четверти семь утра. Он сунул ноги в шлепанцы, накинул на себя форменную рубашку, подхватил телефонный аппарат и пошел на кухню готовить кофе. Пока закипала вода в электрическом чайнике, он связался по своему коду с санаторием «Юбилейный», выждал, пока к телефону позвонит Королькова, поздоровался, представился и спросил:

- В котором часу вы одиннадцатого числа выехали из Москвы?
- А что? — после некоторой паузы спросил его Корольков.
- Вы не чтокайте, пожалуйста, а отвечайте по существу.
- Утром, часов около девяти.
- Следовательно, в час дня вы были уже за Тулой?
- Наверное... Я не помню.

— Напрасно вы, Корольков, темните, все равно мы установим, что вы делали одиннадцатого числа.

— Ну, одним словом, это я из дома выехал в девять часов утра, а из Москвы — что-то уже под вечер. Честно говоря, тут момент интимный, кое у кого перед отъездом я побывал...

Ни с того ни с сего к телефонной линии подключилась задорная песенка, которую прежде ему слышать не доводилось; мгновение-другое капитан Казнюк отгадывал, кто поет, а затем спросил:

— У кого именно?

— Я же говорю, это момент интимный.

— Вы кончайте тут херомантию разводите, дело идет об убийстве Иосифа Банта, у которого вы накануне купили автомобиль! Так у кого вы побывали одиннадцатого сентября около часу дня?

— У Риммы Иогансон, улица Газгольдерная, дом сорок четыре, квартира семь.

— А с Иосифом Бантом вы в тот день не встречались?

— Нет.

— Ладно, мы ваши показания проверим, отдыхайте себе пока.

Слышно было за песенкой, как на том конце провода кандидат технических наук глубоко-глубоко вздохнул.

Между тем вода в чайнике уже булькала и стенала; капитан Казнюк насыпал в металлический кофейник с полстакана «арабики», добавил щепотку соли, подержал посудину на огне, пока по кухне не распространился приторно-бодрый дух, потом залил кофейник дымящимся кипятком и немного погодя утвердил его посередине кухонного стола. Видимо, запах свежего кофе разбудил обоняние Зинаиды, ибо из комнаты донеслись позевывание и шуршание, потом уже в ванной заурчала вода, что-то там зазвякало, зазвенело — не исключено, что подруга, по обыкновению, уронила мыльницу, какой-нибудь флакон и зубную щетку, — после послышались вздохи, опять шуршание, но вот дверь в кухню отворяется и входит Зинаида с утренним, детским выражением на лице. Молча сели за стол; Зинаида жадно приникла губами к чашке, а капитан Казнюк раскрыл вчерашнюю газету и стал читать. Так... «Наука — народному хозяйству», «Новый облик древней земли», «Наследники славы своих отцов», «Осеннее наступление английских шахтеров», «Мозаика»...

— Оказывается, — сказал капитан Казнюк, — у основателя саудовской династии было двести пятнадцать жен!

— Ничего удивительного, — отозвалась Зинаида, — потому что все мужчины — чертовы кобели. Кстати, ты не можешь мне объяснить, почему женщины гораздо порядочнее мужчин и почему все мужчины — чертовы кобели?

— Сейчас объясню, — сказал капитан Казнюк и сделал почувствованный глоток. — Понимаешь, Зин, физиология у нас разная, и поэтому не совсем одинаковая мораль. То есть природа заложила в мужчине намного больше любовной силы, чем это необходимо для продолжения рода человеческого...

— А зачем?

— Затем, что на мужскую долю выпали войны, дуэли, революции, интернациональный долг, затем, наконец, что мужчины рано помирают, в частности, из-за баб.

— А по-моему, интернациональный долг тут ни при чем, просто нету у вас мужиков, ни чести, ни совести, вот и все.

Капитан Казнюк серьезно посмотрел на Зинаиду и вернулся к своей газете, которую он в конце концов самым пристальным образом дочитал.

После утреннего кофе любовники отправились погулять: они немного побродили дворами между Мартеновской и Новогиреевской улицами, выпили по стакану виноградного сока в маленьком кафе на углу проспектов Федеративного и Свободного, зашли в магазин «Наташа», где купили пачку пельменей и бутылку шампанского на обед, потом невесть чего ради забрели в магазин «Сантехника» и хорошо поговорили, сидя на скамейке у маленького пруда, из которого торчали задняя ось грузовика и сломанный детский велосипед. Зинаида сказала:

— Вчера по телевизору Австрию показывали, родину Моцарта, город Зальцбург. То же самое у них, фонтаны разные, водоемы, но, чтобы из пруда виднелись посторонние запчасти, этого я что-то не заметила...

— Русский путь! — сказал капитан Казнюк. — Мы, конечно, тоже европейцы, но, как бы это выразиться... с перчинкой или, лучше скажем, наискосок.

— По крайней мере мы с разных концов подходим к одним и тем же обще-европейским задачам. Например, у нас считают, что, украшая свою страну, ты украшаешь собственное жилище, а у них считают, что, украшая собственное жилище, ты украшаешь свою страну.

— У нас, Зинаида, все еще впереди. Судя по тому, что мы родились при детекторных радиоприемниках, а сейчас смотрим цветной телевизор, жизнь, безусловно, идет вперед. Погоди: еще наша Россия превратится в цветущий край, еще придет время, когда мы изведем дураков у кормила государственной власти, уничтожим преступность и поднимем культуру на небывалую высоту!

Трудно утверждать наверняка, однако тому, что предсказал капитан Казнюк, видимо, не бывать. Во-первых, дельный человек в политику не пойдет, во-вторых, уголовник — явление более физиологическое, нежели социальное, в-третьих, культуре хорошо, когда человеку плохо, и она немедленно сдает свои позиции, если человеку мало-мальски становится хорошо. Впрочем, со временем человечество обязательно выдумает какое-нибудь противоядие от властолюбивых мерзавцев и дураков, не исключено, что в отдаленной исторической перспективе искусствам суждено подняться на новую высоту, но преступники будут до скончания века терроризировать законопослушное большинство. Видимо, когда-нибудь человечество изживет за ненадобностью многие государственные институты, технический прогресс освободит его от необходимости трудиться и люди получат возможность свободно распоряжаться плодами избыточного производства, которое сделает бессмысленным воровство, но от насильников и убийц мы не избавимся никогда. Почему? Да потому, что, несмотря на титанические усилия законодателей и художников, мыслителей и пророков, людей розыска и суда, всегда существовал загадочный человек, которому ничего не стоит перерезать горло соседу по этажу. Отчего существуют такие люди — это особая статья, дело темное, может быть, оттого, что так было Создателю угодно, который преследовал какие-то свои тонкие виды, учредив угрозу насильственной смерти без повода и причины, или оттого, отчего существуют душевнобольные, то есть неведомо отчего. Кстати заметить, собирательный образ так называемого матерого уголовника предполагает ту же самую психическую картину, что наблюдается и у больных, страдающих латентной формой шизофрении, как-то — самоубийц; то ли тут инфекция какая, то ли имеет место вредный обмен веществ, но у тех и у других сознание отравлено причудливо и настолько, что отъявленный душегуб с тоски может свободно вскрыть себе вены, проглотить тюремную ложку, засыпать толченым стеклом глаза. То есть человечество уже потому нипочем не избавится от насильников и убийц, что это непонятно и никогда не будет понятно, хоть род людской еще сотню Гегелей наживи.

По возвращении домой Зинаида принялась за мытье посуды, навела столько шуму, что это было даже удивительно, а капитан Казнюк уселся за телефон. В дактилоскопической лаборатории ему сообщили, что лишь на туристическом топоришке обнаружены отпечатки пальцев, которые, впрочем, не проходят по картотеке, и, следовательно, квалифицированный убийца орудовал кухонными ножами и утюгом. Капитан Казнюк положил трубку, потянулся и сказал:

— Война войной, а обед обедом.

Через самое короткое время они с Зинаидой уже сидели за столом, на котором красовалась припотевшая бутылка шампанского и дымилась пельмени в большом блюде матового стекла; к пельменям был подан мудреный соус из сметаны, горчицы, уксуса, тертых яичных желтков и какой-то сушеной травки, похожей на эстрагон.

Зинаида спросила:

— А с чем ты дома пельмени ешь?

Капитан Казнюк призадумался.

— С маслом, наверное, а впрочем, не замечал.

— Миленькое дельце! Тут из кожи вон лезешь, а они даже лопают, как во сне...

— Насчет соуса для пельменей я так скажу: ты знаешь, когда соловыха перестает петь?

— Ну когда?

— Сразу после того, как она захохочет приглянувшегося соловья.
 — И все-то ты знаешь, даже в орнитологии разбираешься, просто нету тебе цены!

Капитан Казнюк с умилением подумал о том, что эту женщину с Федеративного проспекта он, в частности, любит за такие вот воодушевившие слова, и, перегнувшись через стол, поцеловал Зинаиду в лоб.

Около пяти часов пополудни того же дня капитан Казнюк сидел у себя в *конторе* и беседовал с гражданкой Иогансон.

— Вот, Римма Ивановна, известный вам Корольков утверждает, будто перед отъездом в Крым он провел в вашем доме несколько часов. Это у нас было одиннадцатое число.

— Ну, провел...

— Хочу вас предупредить, что дача заведомо ложных показаний преследуется по закону. Это, пожалуйста, примите к сведению.

— Приняла.

— Значит, провел?

— Провел.

— С какого часа и по какой?

— Примерно с десяти часов утра и, наверное, до обеда.

— А в какое время у вас обед?

— Да как у всех, во второй половине дня.

— А не отлучался ли Корольков, куда он был у вас?

— Отлучался. Он за шампанским ходил, за сигаретами... Да, еще он принес полкило ливерной колбасы.

— Сколько времени он отсутствовал?

— По-моему, что-то с час.

— А в каком настроении он вернулся?

Гражданка Иогансон ответила на этот вопрос не сразу; она поправила юбку, искоса посмотрела на портрет Дзержинского и, наконец, заговорила, несколько растягивая слова.

— Вообще он какой-то странный вернулся, в таком действительно взвинченном настроении, у него даже руки тряслись немного. Я его спрашиваю: что случилось? Он сказал, что поскаandalил в магазине, что Москву заполонила приезжая сволочь, от которой проходу нет...

— А скажите, Римма Ивановна, заведующий парикмахерской на Ухтомке вам случаем не родня?

— Это мой бывший муж.

— Однако! — проговорил капитан Казнюк и застучал пальцами по зубам.

Под занавес того дня он еще побывал в Сокольниках, в Центральной клинике ВВС. Из разговора с дежурным врачом он выяснил, что рубщик Мордкин ни на минуту не отлучался из урологического отделения с самого дня 10 сентября, а костюм он при себе держит вот на какой предмет: как только его отпускают боли, он облачается в тройку темно-стального цвета и отправляется в ординаторскую любезничать с медицинским персоналом, причем частенько похабничает и дает волю своим рукам.

Придя домой, капитан Казнюк первым делом сунул ноги в свои любимые тапочки на меху, взял в прихожей нетронутую газету, которую по заведенному правилу никто в доме даже просмотреть не имел права, и сел читать. Так... «Страда набирает темпы», «По итогам пятилетки эффективности и качества», «Слагаемые прогресса», «На фронтах идеологической борьбы: этот безумный, безумный, безумный мир»... Дочь Катерина смотрела по телевизору дурацкий спектакль «Кошка на радиаторе», жена стирала в ванной белье, теща Зоя Александровна просто сидела в кресле, но как-то прочно сидела и недвижимо, чрезвычайно похоже на чугунного Алексея Толстого, посаженного у Никитских ворот, и тупо глядела в стену, а он читал:

«Известно, что жизненность любых концепций проверяют практикой, а она убеждает: поведение значительной части молодых людей формируется по стандартам капиталистического общества. Как правило, вместо того чтобы создать молодому человеку условия для самоутверждения, ему через множество каналов средств массовой информации и на коммерческом рынке предлагают готовый образец для подражания. Так, одним из главных направлений воздей-

ствия на молодежь является воспитание в ней всепоглощающей жажды наживы...»

В комнату заглянула жена и спросила, вытирая о фартук руки:

— Ужинать будешь?

— А то! — сказал капитан Казнюк.

Отложив газету, он отправился на кухню, с чувством умял глубокую тарелку картошки с салом, потом налил себе здоровенную кружку чая и, вернувшись в комнату, опять было принялся за газету, но ему в другой раз помешала читать жена.

— Ты бы, Алексей, поговорил с дочерью, — сказала дражайшая половина. — Одна гулянка на уме, вчера, дрянь такая, принесла две двойки и замечание в дневнике.

Капитан Казнюк распорядился, предварительно напустив сердитое выражение на лицо:

— Катерина! Выключай свой ящик и дуй сюда!

Дочь пришла, села напротив, вздохнула и сделала ядовито-вопросительные глаза.

— Ну что, опять?

— А то опять, — сказал капитан Казнюк, — что так безалаберно жить нельзя! Вон мать говорит, что ты вчера принесла две двойки и замечание в дневнике... Ну куда это годится, я спрашиваю?

Дочь молчит.

— По какому двойки-то, дурья твоя башка?

— По геометрии и труду.

— По геометрии — это понятно, но это надо умудриться получить двойку по этому самому... по труду!

— По труду мне двойку поставили несправедливо, за то что я во время урока читала «Хижину дяди Тома».

— Вообще-то за это двойки не ставят...

— Вот и я сказала трудовику, что за нарушения дисциплины двойку ставить не полагается, и тогда он влепил мне замечание в дневнике.

Наступила неловкая пауза, в течение которой капитан Казнюк выдумывал, что бы еще сказать; ничего основательного на ум не приходило, и ему пришлось отпустить дочь движением головы. Катерина вновь прильнула к телевизору, а он вернулся к своей газете:

«Проблема выпуска продукции высокого качества отнюдь не решается автоматически. Более того, продукция, которая еще вчера отвечала самым взыскательным требованиям советского потребителя, сегодня в силу высоких темпов развития науки и техники, в силу изменения структуры потребностей становится устаревшей. Проблему качества, — отмечалось на апрельском пленуме ЦК КПСС, — мы ставим исключительно высоко...»

— Алексей, — сказала жена, — ты бы посмотрел розетку на кухне, что-то она у меня искрит.

Капитан Казнюк встал, отложил газету, достал отвертку из ящика с инструментами и пошел на кухню чинить розетку; неисправность была пустяковая, и он легко ее устранил. Затем он поправил горшок с «иваном-мокрым», стоявший на подоконнике, и невзначай загляделся в кухонное окно. За окном, в сияющей московской мгле, горели редкие фонари, которые светили невесело, словно нехотя, немногочисленные прохожие, издали смахивавшие на знаки препинания, тащились туда-сюда, и давало о себе знать шоссе Энтузиастов, на некотором расстоянии наводившее беспокойный, неровный шум. Капитан Казнюк живо вообразил себе бывшую Владимирскую дорогу во времени и пространстве, от самой Рогожской заставы до пристани Марчикан, и такое на него напало лирическое чувство, что остро захотелось в одиночку попить чайку. Он налил воды в старый зеленый чайник и поставил его на газовую плиту, достал из ящика кухонного стола заветную пачку чая, которую он добыл даже не без урона для чести милицейского офицера, насыпал щепотку в большую кружку и стал дожидаться, пока закипит вода. Он сидел в кухне на табурете и тупо прислушиваясь к звукам телевизора, долетавшим из-за стены, но вот наконец вода залокотала, и пяти минут не прошло, как он уже прихлебывал, обжигаясь, горько-душистый чай. Чудеса: в доме — скука, на дворе развивается мрачный вечер, а он глядит в кухонное окно, то и дело прикладываясь к своей кружке, и чувству-

ет, как на душе у него мало-помалу становится тесно и хорошо. Припомнилась Зинаида, пушкинские Вульфы, о которых он слышал от Зинаиды, и он подумал, что, живи Пушкин в наше время борения и надежд, он, пожалуй, не приобрел бы такой всенародной славы.

Вошла жена и спросила:

— Чего это ты тут делаешь?

— Сумерничая,— сказал капитан Казнюк, не оборачиваясь.

— Ну-ну.

Заведующий парикмахерской Иогансон, не по-московски изящно одетый человек с неуловимо подлым выражением физиономии, первым делом попросил разрешения закурить.

— Полный вперед,— сказал ему капитан Казнюк.

— Вообще-то я надеялся,— заговорил Иогансон, как-то сразу окутавшись сизой дымкой,— что мы ограничимся беседой, которая имела место позавчера.

— Спички покажите...

Иогансон в некотором недоумении протянул ему спичечный коробок; капитан Казнюк внимательно рассмотрел этикетку на коробке, вернул спички владельцу и сообщил:

— Жизнь не стоит на месте; сегодня — это сегодня, а позавчера было позавчера. Вы мне лучше вот что скажите: по линии девочек в вашей парикмахерской случаем не шалят?

— Как можно, товарищ капитан! А «Моральный кодекс строителя коммунизма»?!

— Вот именно, товарищ Иогансон. Но, с другой стороны, одиннадцатого сентября текущего года ваше заведение посетил некто Ананас, в миру товарищ Скоробогатов, который провел у вас около трех часов. Что, спрашивается, можно делать в парикмахерской три часа?..

— Комплексное обслуживание, которое включает в себя стрижку, бритье, маникюр, массаж, как раз занимает около трех часов.

— А один массаж?

— Что-нибудь с полчаса.

— А кто может подтвердить, что Скоробогатов безотлучно провалялся эти полчаса на массажном столе?

— Никто.

— Так-таки никто?

— То есть это мог бы подтвердить наш массажист Небылицкий, но он скоростно скончался двенадцатого числа.

— Отчего же он скончался, товарищ Иогансон?

— От острого пищевого отравления. По крайней мере так говорят врачи.

— Может быть, яд?

— Да нет, я слышал, он съел в парке Горького пирожок с грибами, скрючился — и помре... Все-таки маловероятно, чтобы специально для Небылицкого испекли пирожок с бледной поганкой...

— Вам бы все шутить, товарищ Иогансон. А тут, между прочим, совсем не шуточная вырисовывается затея: одиннадцатого сентября текущего года у себя на квартире был убит некто Иосиф Бант, причем не исключено, что руку к этому делу приложил известный вам Скоробогатов, который в момент убийства якобы прохлаждался в вашей парикмахерской, причем в помещении парикмахерской имеется второй выход, причем единственный человек, способный подтвердить алиби Скоробогатова, скоростно умирает от острого пищевого отравления на другой день после убийства, именно двенадцатого числа. Уж какие тут шутки, товарищ Иогансон!

— Кого-кого, а Банта совсем не жаль. Редкий был мерзавец, доложу я вам, особенно в смысле женского пола...

— Ну, положим, мерзавец в криминальной среде не диво, а то диво, что вам, оказывается, знаком покойный Иосиф Бант.

— Да как вам сказать... С одной стороны, незнаком, а с другой — более чем знаком.

— Что-то я не понял...

— По этому поводу мне добавить нечего.

— На нет и суда нет,— сказал капитан Казнюк.

Четверть часа спустя он уже ехал в сторону города Реутова в служебном автомобиле и с грустью озирался по сторонам. Несмотря на рабочий час, шоссе Энтузиастов было полным-полно празднующегося народа, на перекрестках арбузами торговали, магазины кишели покупателями, туда-сюда сновали троллейбусы, которые то и дело высекали букеты искр, трамваи, которые противно скрипели на поворотах, автобусы, которые оставляли за собой черный вонючий шлейф... Капитан Казнюк преимущественно присматривался к покорным толпам на остановках и думал о том, что эти равнодушные и сравнительно благополучные люди даже не понимают, в каком страшном мире они живут. Дождается, положим, какой-нибудь Сидоров своего 276-го автобуса и знать не знает, что несколько дней назад, в двух шагах от его автобусной остановки походя убили одного сомнительного мужика, который, вероятно, ни сном ни духом не ожидал такого поворота в своей судьбе. И, собственно, не то страшно, что на Электродной улице убили какого-то мужика, а то страшно, что и над всеми этими сидоровыми висит угроза внезапной смерти, поскольку по Москве слоняется множество злостных лиц, которые в силу незаконченного среднего образования способны зарезать встречного-поперечного из самого мелкого интереса, например, за новое кожаное пальто...

По-нашему, выходит не совсем так. Вот, скажем, зарезал студент Занд писателя Коцебу, а по какой причине он его, спрашивается, зарезал? Определенно не потому, что Коцебу был известный реакционер, и уж, во всяком случае, не потому, что у Занда было незаконченное высшее образование, а по той скорее всего причине, что вообще эти занды не ведают, что творят. То есть преступление против личности на то и преступление против личности, что в основе его лежат, во-первых, подспудные, а во-вторых, самые темные, неожиданные, даже невероятные причины, ибо деяния этого вида далеко выходят за рамки обычновения, обусловленного природой, недаром для здоровой человеческой психики нет зрелища более жуткого, непереносимого, чем уничтожение тебе подобного существа. Пауки пауков едят — это правда, но уже ворон ворону глаза не выклюет, и, значит, логично будет предположить, что способность к смертоубийству среди людей есть признак выпадения из класса млекопитающих в какой-то иной, неизвестный, класс. Ведь даже в том случае, если преступление против личности вроде бы объясняется непосредственным интересом, как-то: денежным вознаграждением или мезьей, — очевидно, что то и другое всего лишь повод, а первопричина преступления, видимо, такова: субъект его не то чтобы не человек, а, так скажем, не совсем еще человек. Видимо, в подростковый период жизни, когда божественное напрямую вступает в борьбу с животным, когда подросток, именно обостренно злорадное, ожесточенное и чувствительное существо, бывает способен на чудовищные поступки, что-то у иных заедает в машинке, ответственной за дальнейшее психическое развитие, и бедняга так и остается подростком до конца своих разнесчастных дней. Следовательно, субъект преступления против личности, в сущности, не ведает, что творит, и посему бессмысленно подходить к его деяниям с позиций нормально-го человека, то есть судить, изолировать и казнить.

Между тем капитан Казнюк уже бродил по одной из реутовских свалок, которая напоминала ему дикие Каракумы, где он когда-то отбывал срочную службу в войсках химической обороны: тот же простор, намекавший на бесконечность, те же барханы, только что не песчаные, а образовавшиеся из отходов, тот же приторно-терпкий запах, разве что тления, а не стоячего воздуха пустыни, в котором есть что-то от раскаленного кирпича. И еще одна параллель: стоило среди, казалось бы, безжизненных песков затаиться на некоторое время, как вскоре обнаруживались приметы бедной неспешной жизни, например, откуда ни возьми суслик объявится, станет на задние лапки и засвистит; точно так же и на реутовской свалке: стоило капитану Казнюку остановиться на пару минут среди пригорков из битого кирпича, банок, склянок, жестянок и насквозь проржавевших труб, как он уже и собачку приметил, которая, вероятно, гоняла крыс, и ворону углядел, которая, в свою очередь, сверкнула на него злым глазом, и, наконец, наткнулся взглядом на человека, который тащил под мышкой какой-то затейливый аппарат. Капитан Казнюк подошел к нему и спросил:

— А что, товарищ, не появлялся здесь в последнее время Иосиф Бант?

Человек сказал:

— А почему я, извините, должен вам отвечать?

Капитан Казнюк молча предъявил свое служебное удостоверение; человек кивком головы пригласил его следовать за ним и тронулся в направлении кургана, который составляли покореженные металлоконструкции, битые железобетонные блоки и автомобильные кузова. Когда они обогнули курган, капитан Казнюк, к немалому своему удивлению, обнаружил, что с тыльной стороны к нему прилепилось человеческое жилище, именно что-то вроде хижинки, слепленной из листов кровельного железа, шифера и вагонки; фасадной стены у хижинки не было — ее заменяла двойная штора из толстого брезента армейского образца. Внутренность этого жилища также его подивила: у дальней стены стоял на кирпичях полосатый матрас, заваленный каким-то тряпьем, к правой стене притулилась больничная тумбочка с керосинкой, к левой — некое подобие письменного стола; по стенам были развешаны: цветной портрет Сталина, часы без минутной стрелки, треуголка и ржавый морской тесак.

Человек сказал:

— Угостить мне вас, извините, нечем. Было двести граммов докторской колбасы, да и те сожрал здешний помойный кот.

Капитан Казнюк поинтересовался:

— С кем, как говорится, имею честь?

— Да то же самое — Бант, только Ефим Ильич.

— Стало быть, Иосиф Бант приходится вам сродни?

— Затрудняюсь сказать, извините, в какой степени, но в общем и целом покойный мне был родня.

— Тем более странно, что вы существуете на помойке.

— Ничего не поделаешь: такая моя работа.

— А в чем, собственно, заключаются ваши обязанности?

— Сторожу трезор.

— То есть?

— Трезор по-французски — сокровища, вот я их целыми днями и сторожу. Тут, знаете ли, под ногами валяются несчитанные миллионы: катоды-аноды разные, изоляторы, проволока, припой — и все, извините, платина, золото да чистое серебро.

— Однако! — сказал капитан Казнюк и застучал пальцами по зубам. — Вот интересно: и что это вашему родственнику при таких сокровищах не жилось?

— Так ведь деньги — та же водка; чем больше пьешь, тем больше хочется. А там, глядишь, и хватит тебя кондрат.

— Кстати, нет ли у вас соображений насчет того, что послужило причиной трагедии от одиннадцатого сентября?

— Представления не имею. Когда я видел Иосифа в последний раз, ничто не намекало на трагический результат.

— А когда вы его видели в последний раз?

— Да в день смерти и видел, именно одиннадцатого сентября. Как раз в тот день на квартире у Иосифа у нас состоялся широкий семейный совет по поводу наследства от дяди Семы. На самом деле это были, извините, сплошные батальные сцены, а не совет.

— Что так?

— Видите ли, дядя Сема из-за отсутствия прямого наследника завещал четырем двоюродным братьям свою дачу в Малаховке, а те никак не могли ее поделить. По этому поводу и собрался широкий семейный совет, да только зря, потому что, кроме склоки, не было ничего. Я вот только не пойму, как Иосиф-то затесался в число наследников, поскольку дядя Сема его исключительно не любил...

— Можно узнать, по какой причине?

— По той, например, причине, что лет пять тому назад Иосиф увел у него жену. Последняя жена у дяди Семы была молодка.

— Причина веская, спору нет. А скажите, Ефим Ильич, кто персонально присутствовал на семейном совете?

— Всех, извините, не упомяну, потому что московских Бантов довольно много. Да еще есть в Харькове, да в Николаеве, да в Уфе.

— А в котором часу вы приблизительно разошлись?

— Около двенадцати часов дня.

— Кто-нибудь задержался?

— Кажется, ушли все.

— Ну что же, спасибо за беседу,— сказал капитан Казнюк, поднялся и вслед за хозяином вышел вон.

Оказалось, что давеча он как-то не заметил одного отвратительного штриха: метрах в пяти от хижинки кот висел на гитарной струне, которая другим концом была прикреплена к металлической балке, торчавшей под углом из кучи битого кирпича. Капитан Казнюк вопросительно посмотрел на Ефима Банта и тут только разглядел, что у него блекло-серые, почти белесые, бессмысленные глаза.

Домой он вернулся довольно поздно, сунул ноги в свои любимые тапочки на меху, взял газету, устроился подле тещи Зои Александровны, которая, по обыкновению, просто сидела в кресле, глядя куда-то в стену, и вперился в первую попавшуюся статью...

«Впервые в практике советского градостроительства все проблемы перспективного развития города на Неве взяты в единстве с проблемами развития области. Комплекс градостроительных решений разработан на реальной планово-экономической базе, полностью сбалансирован с нашими территориальными возможностями: природными и трудовыми ресурсами, мощностями подрядных организаций, капитальными вложениями и другими экономическими факторами...»

Подошла дочь Катерина в ночной сорочке, с учебником истории под мышкой, села рядом и спросила, предварительно заправив за ушко прядь:

— Как по-твоему, писатель Герцен был порядочный человек?

— А почему ты спрашиваешь?

— Да вот тут написано, что он был пламенный патриот, а я вот думаю: какой же он был пламенный патриот, если сидел в Лондоне и писал кляузы про Россию?

— Он не против России выступал, а против крепостного права, самодержавия, коррупции... и вообще!

— Все равно как-то это подозрительно, как-то не по-людски.

— Я тебя вот о чем попрошу: чтобы подобная проблематика у нас поднималась только дома, а в школе на такие темы, пожалуйста, ни гугу!

С этими словами капитан Казнюк отложил газету и пошел на кухню готовить чай. Вскоре он уже прихлебывал из большой кружки свой любимый напиток, стоя напротив кухонного окна, и на душе у него мало-помалу становилось тесно и хорошо.

Вошла жена и спросила:

— Чего это ты тут делаешь?

— Сумерничаю.

— Ну-ну.

На другой день капитан Казнюк сидел у себя в *конторе*, перекладывал с места на место бумажки и размышлял. Во-первых, убить Иосифа Банта мог Ананас, которому махинатор задолжал за две норковые шубы несколько сотен рублей; предположительно, является Ананас к Банту на Электродную улицу, говорит: «Гони, сука, долг!» Тот ему в ответ: «Да пошел ты, урка поганая!» Ананас: «Чи-воо?!» — хватает со стола утюг и в беспамятстве наносит Банту несколько ударов по голове. Во-вторых, убийцей мог быть... опять же Ананас, но только в силу иной причины; поскольку, сдается, Римма Иогансон состояла в предсудительной связи с Бантом, то не исключено, что обманутый супруг, он же заведующий парикмахерской на Ухтомке, избрал Ананаса орудием своей мести; предположительно, он соблазнил убийцу солидным кушем, обеспечил ему алиби, а массажиста Небылицкого предусмотрительно умертвил посредством ядовитого пирожка. В-третьих, покойный Бант мог стать жертвой широкого семейного совета по поводу наследства от дяди Семы...

Тут зазвонил телефон, и капитан Казнюк медленно поднял трубку.

— Привет! — сказала ему Зинаида Вульф.— Чем занимаешься?

— Думаю.

— В добрый час! Ты придешь сегодня ко мне?

— Не знаю еще. Ближе к вечеру позвоню.

Так вот: в-третьих, покойный Бант мог стать жертвой широкого семейного совета по поводу наследства от дяди Семы; не исключено, что этот самый дя-

дя Сема решил посмертно отомстить племяннику за то, что он умыкнул у него жену, и, уповая на общую ненависть, которую питали к Иосифу московские Банты, а также уфимская, николаевская и харьковская родня, нарочно сочинил такое смертоносное завещание, что в результате широкого семейного совета негоднику было так или иначе недобровать; предположительно, Иосиф Бант до того безобразно вел себя на совете, что взбесившиеся сонаследники схватились кто за кухонный нож, кто за туристический топорик, кто за утюг — и давай наносить ему множественные раны в область грудной клетки и головы... К сожалению, заочного организатора этого преступления, дядю Сему, к ответу не привлечешь, а разве что подумаешь: это сколько же горя случается из-за баб!

Опять зазвонил телефон, и капитан Казнюк медленно поднял трубку: сотрудник городской санитарно-эпидемиологической станции сообщал, что по поводу отравления пирожками в парке Горького 12 сентября госпитализировано четырнадцать человек, причем двое из пострадавших уже скончались, четверо находятся при смерти, прочие распущены по домам.

Ну так вот: это сколько же горя случается из-за баб... Пускай у Ефима Ильича белесые, бессмысленные глаза, обличающие субъекта, способного на самое жестокое преступление, пускай Ананас — уголовник по химическому составу крови, пускай у заведующего Иогансона что-то неуловимо подлое написано на лице, жил бы, поживал теперь махинатор Бант, кабы не та печаль, что природа сообщила мужчине гораздо больше жизнетворной, любовной силы, чем это необходимо для продолжения рода человеческого, только вот, спрашивается, зачем?.. Стало быть, даже когда народы ввалятся в *коммунистическое далеко*, когда воры и грабители вымрут, как динозавры, все равно найдется повод спровадить ближнего на тот свет, поскольку душа человека запутанна и темна. Вообще как-то все нелогично, беспорядочно, непонятно, а главное, перспективы-то не видать, вернее, видать только ту горькую перспективу, что и через триста лет казаки и разбойники будут вести меж собой бессмысленную войну.

Действительно, невеселая вырисовывается картина, особенно если принять в расчет, что сам факт существования уголовной преступности, основанной на причудах физиологического порядка, отчасти отрицает целесообразность существования человека, как пять или три колеса в телеге вместо четырех отчасти отрицают функцию колеса. Даже при том, что в большинстве своем люди сравнительно нравственны и относительно законопослушны, самое явление человека, равно способного на благодеяние и убийство, навевает мысль, что так называемый хомо сапиенс представляет собой в своем роде недоразумение, некоторым образом ошибку, просчет природы. Одно дело, когда категория, раздираемая внутренними противоречиями, время от времени претерпевает квалификационные изменения, и совсем другое дело, если единство и борьба противоположностей вопреки Гегелю никак не переходят в новое качество вот уже два миллиона лет. Тем не менее люди как ни в чем не бывало живут и радуются, в частности, предаваясь трем самым бессмысленным занятиям во временном отношении, а именно — любят, горюют и ненавидят, следовательно, как это ни загадочно, и человеческое общество чрезвычайно живуче, и сам человек живуч. Великий Рим пал под натиском бородачей, гунны смерчем прошли по Европе — хомо сапиенс ничего; в Париже детей гильотинируют по подозрению в контрреволюционном образе мыслей, на Москве-реке мужиков заживо жгут за то, что они крестятся не так, христианские народы по тридцать лет воюют между собой за испанское наследство — хомо сапиенс по-прежнему ничего; вот уже и двадцатый век на исходе, по результатам которого человечеству даже как бы и грех дальше существовать — хомо сапиенс ничего.

Нет, не красотою, а легкомыслием спасется наш бесшабашный мир. Это опять же доказывается фактами исторического пути: испанцы без устали режутся с голландцами, а Борух Спиноза богочеловечество изобретает, во французском королевстве идет беспочвенная братоубийственная война, а Блез Паскаль открывает интегральное исчисление, в первопрестольной после семи часов вечера из дома нельзя выйти, но тысячи москвичей сочиняют лирические стихи. Да вот и Христос говорит: «Будьте, как дети, иначе не войдете в Царствие небесное», — а мы: и то верно, будемте легкомысленны и беспечны, иначе нам точно недобровать.

Вдруг в дверь кабинета постучали, дверь распахнулась, и капитан Казнюк

увидел длинного, тощего человека в очках, который держал в правой руке клетчатый чемодан.

— Позвольте представиться,— сказал посетитель и поперхнулся от волнения: — Корольков.

— Вот это номер! — сказал капитан Казнюк. — Как вы здесь очутились-то, Корольков?

— А так: сел на Ту-154 и прилетел.

— А как же отпуск?

— Ну какой теперь отпуск, когда вы подозреваете меня черт-те в чем! Вообще, товарищ капитан, нам с вами нужно объясниться, потому что самое страшное — это неопределенность. Тем более что я от вас кое-что утаил...

— Слушаю вас внимательно,— сказал капитан Казнюк.

— Дело в том, что одиннадцатого сентября, накануне отъезда в Крым, я действительно был у того субъекта, который мне продал автомобиль. Вы ведь знаете, как у этих подонков дела делаются: по бумагам проходит одна сумма, как правило, смехотворная, а потом, с глазу на глаз, ты уже деньги выплачиваешь сполна. Одним словом, грешен: пошел я у этой уголовной сволочи на поводу, сыграл по их правилам — тут я, разумеется, виноват. Но, с другой стороны, согласитесь, товарищ капитан, что я бы сроду не приобрел автомобиль, если бы не пошел на эту маленькую авантюру, поскольку, как известно, спрос на этот товар громадный, а предложение на нуле... Уф! Ну вот и очистил совесть, как говорится: «Кто Богу не грешен, тот царю не виноват».

— Ну, это мы еще посмотрим,— сказал капитан Казнюк.

— Ей-богу, не виноват!

— А вот ваша знакомая Римма Иогансон показала, что вы в тот день вернулись якобы из магазина в таком взвинченном состоянии, что были положительно не в себе. Что вы на это скажете, Корольков?

— Я вот что скажу: никаких нервов не хватает общаться с такой мразью, как этот самый Иосиф Бант! Он же жулик, мерзавец, а чувствует себя хозяином жизни да еще позволяет себе помыкать порядочными людьми!

— А скажите, Бант был один в квартире около часа дня?

— На этот вопрос я затрудняюсь ответить определенно. Видите ли, мы с ним на кухне разбирались, дальше он меня не пустил. Это, знаете, как в прежние времена на кухне принимали почтальонов, молочниц, дворников и прочую мелюзгу...

— Вам что-нибудь известно об отношениях между Бантом и Риммой Иогансон?

— Нет.

В кабинет заглянул эксперт судебной медицины Сорокин и сделал капитану Казнюку вопросительные глаза; по окончании рабочего дня они частенько навещали кафе напротив кинотеатра «Слава», где подавали дешевые шашлыки.

— Ну хорошо, Корольков, до поры до времени можете спать спокойно,— сказал капитан Казнюк и принялся собирать бумаги с письменного стола.

Когда они с экспертом Сорокиным вышли на шоссе Энтузиастов в том месте, где оно пересекалось со 2-й Владимирской улицей, уже наметились сумерки и в окнах домов там и сям горели неприятно яркие ранние огоньки. Шумела, бодрилась бывшая Владимирская дорога и в эту настораживающую пору дня навевала одну странную перспективу: дескать, вот дальше по правую руку откроется мирная Новогиреевская церквушка, потом будет город Балашиха, потом Юрьев-Польской, Нижний, Казань, оренбургские степи, дальше все дикие просторы материка до самой пристани Марчикан, затем потянется 60-я параллель, федеральное шоссе № 40, опять 60-я параллель, Нормандия, Нижняя Саксония, Померания, город Брест, Москва, Рогожская застава, завод «Серп и молот», наконец — в соответствии с универсальным устройством мира — угол 2-й Владимирской улицы, где капитан Казнюк и эксперт Сорокин приостановились, заглядевшись на неприятно яркие ранние огоньки.

— Безнадега какая-то, честное слово! — сказал капитан Казнюк. — Подозреваемых пруд пруди, а уцепиться не за что, поскольку нет тебе ни свидетелей, ни улик. В том-то и вся херомантия, что, кого ни возьми, каждый мог укокошить Банта, даже этот кандидат технических наук Корольков, несмотря на то что он очкарик и обормот. Вообще эти очкарики на все способны, когда их загоняют в угол. Между нами говоря, а кто, собственно, провернул великий Ок-

тябрь? Да эти самые очкарики и провернули, которых загнали в угол! То же самое Корольков: может быть, он только для того и ввязался в эту затею с покупкой автомобиля, чтобы встретиться с Бантом один на один и расквитаться с ним за Римку Иогансон... Предположительно, приносит он Банту деньги, а тот его в грязь лицом, дескать: «Ну ты, интеллигент вшивый, куда прешь в обуви на ковры?!» Корольков: «Чи-воо?!» — и хватъ со стола утюг!.. Я вот что хочу сказать: если даже кандидат технических наук при определенных обстоятельствах способен на убийство, то дело — дрянь.

Довольно долго они молчали, и только когда из-за деревьев показались приветливые огни излюбленной *забегаловки*, капитан Казнюк, позевывая, сказал:

— А ведь дело-то придется закрывать...

— Ничего,— отозвался эксперт судебной медицины Сорокин,— одно закроем, другое откроем, не в первый раз.

В кафе они взяли у стойки две порции шашлыка по-карски, к которому полагался почему-то соленый огурец, и бутылку армянского коньяку. Устроившись за угловым столиком, они принялись пировать, волей-неволей прислушиваясь к гаму, который доносился со всех сторон.

— «О,— говорит,— я это так понимаю, так понимаю!» Да как, говорю, вы это вообще смеее понимать?!

— Я тебе русским языком объясняю: ты сначала форсунку продуй, балбес!

— А Васильев этот ваш субботник видал в гробу!

Да еще посуда звенела, повара матерились на кухне, звонко отбивал одну и ту же ноту кассовый аппарат.

— Хорошо сидим! — сказал эксперт судебной медицины Сорокин.

Капитан Казнюк сказал:

— Исключительно хорошо!



Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

Разрозненные страницы

Тихим временем мать пролетает,
стала скаредна, просит: верни,
наспех серые дыры латает,
да не брал я, не трогал, ни-ни,

вот я, сын твой, и здесь твои дочери,
инженеры их полумужья,
штукатурные трещины, щели,
я ни вилки не брал, ни ножа,

снится дверь, приоткрытая воров,
то ли сонного слуха слои,
то ли мать-воевода дозором
окликает владенья свои,

штопка пяток, на локти заплатки,
антресоли чулков барахла,
в боевом с этажерки порядке
снятся строем слоны мал-мала,

ничего не разграблено, видишь,
бьет хрусталь inferнальная дрожь,
пятясь, за полночь из дому выйдешь
и уходишь, пока не уйдешь.

* * *

Ранним, ранним утром бредется
то по снегу серому, то по лужам,
где, жена, мы с тобою служим? —
где придется, помнится, где придется,
кто бы мог подумать, что обернется
худшее время жизни — лучшим.

С разводным ключом идешь, теплоцентра
оператор ты или слесарь,
блиннолицый, помнится, правит цезарь,
и слова людей не янтарь и цедра,
с пищевыми отходами я таскаю ведра,
память — как бы обратный цензор.

Тени, тени зябкие мы недосыпа,
февраля фиолетовые разводы
на домах, на небе, на лицах, своды
подворотни с лампочкой вроде всхлипа,
память с мощью царя Эдипа
вдруг прозреет из слепоты исхода.

И тогда предметы, в нее толпою
хлынув — елки скелетик, осколок блюда,
рвань газеты,— в один сольются
световой поток — он казался тьмою
там, в соседстве с большой тюрьмою,
с ложью в ней правдолюбца,—

чтоб теперь нашлось ему примененье:
залатать сквозящие дыры окон
дня рассеянного, который соткан
из пропущенных (не в ушко) мгновений,
то, что есть,— по-видимому, и есть забвенье,
только будущему раскрытый кокон.

Утренний мотив

На асфальте мечется
мышь, кыш, мышь,
сторож это, сменщица,
мусорщик, малыш,

семенит цветочница,
шарк, шурк, шарк,
точность мира точнится,
в арках аркнет арк,

взрыв бенгальский сварщика,
сверк, сварк, сверк,
голубого росчерка
меркнуть медлит мерк,

льется, не артачится
свят свет свит,
тачка утра тачится,
почтальон почтит,

Чарли это брючится,
блажь, мышь, блажь,
ночь в чернилах учится
небу тихих чаш,

пусть проходят где-нибудь,
клеш крыш клеш,
душу учит небо ведь
простирается сплошь.

* * *

Шел мимо школы. (В иностранном,
американском городке
с названьем чудным и пространным
я жил тогда.) Невдалеке
весна стояла с неким пряным
цветком в нежнеющей руке.

Был пересменок в школе, в эти
минуты в солнечные сети,
зажмурясь, бледное дитя
попало, со ступень сходя.

Смотрели матери, как сын из
дверей выходит или дочь,
оставив ужас там, где синус
икс умножается на минус
его (ее) познания. Прочь,
туда, где небо блещет, синясь,
и тает, ширясь, полоса
за реактивным самолетом!

Я шел, прислушиваясь к нотам
весны.
Пробило два часа.
И следом озарился сквер
двойным огнем. Секундомер,
взрыв обещающий, затикал,
пахнуло воздухом каникул,
дитя навстречу, теребя
весенний лепесток, бежало,
и мне вонзилось в сердце жало,
я вздрогнул и узнал себя.

Явление не было отнюдь
воспоминаньем. В этом суть.

Мой друг, двойное дно апреля,
пора мистических подмен!
В трудах Луиса и Марселя
описан этот феномен.
Возможно, несколько наскоков
подобных совершил Набоков.
Мы к их трудам добавим наш
философический пассаж.

Не сожалей о жизни краткой,
ты от бессмертия в вершке,
когда находишь за подкладкой
себя в своем же пиджаке.
Ах, люди! Надобен ремень им,
чтоб в наши пасмурные дни
во что-то верили они.
Ты сам себе одновременен —
запомни! Бог тебя храни.

И вот последнее: едва лишь
ты извлечен на белый свет,
как уж отсутствием печалишь
ту точку, где ты был и — нет,
и миг тускнеешь, как в тоске
тускнеет рыба на песке.

Мой друг бессмертный, не скорбя,
верни забвению себя.

Я подошел к реке, не помня,
зачем, откуда и куда,
у ног пустели невода,
и было, Господи, легко мне.



К о в е р н ы й

ПОВЕСТЬ

П. Б., советскому клоуну

Яшка

Я знаю, тот город, промозглый и стылый, должен быть забыт, оставлен навсегда, промокший насквозь и вдруг обледенелый. Он там, далеко, любимый, влекущий, а этот — он совсем другой, незнакомый, чужой и чуждый, почти враждебный, ненатуральный, с карамельным солнышком, слишком кудрявенькой зеленью и чересчур счастливыми прохожими, которых тоже как-то слишком много.

И в поезде я была самая угрюмая, и по этим ярким улицам брела сумрачная, будто всю жизнь только тут и ступала, и это мне опостылело напрочь. Но я была здесь впервые и шла хотя и в определенное место, но совершенно не зная, где оно находится, шла и шла, пути не спрашивая... Знала, приду, ведь так было всегда.

Симферополь. Начало мая. Кажется, год восемьдесят первый. Почти пятнадцать лет назад, но... Вот некое здание сейчас появится из-за поворота, как тогда, и все закрутится опять.

В руках я несла матерчатый чемоданчик. Внутри среди нескольких блузок, свитера, шорт и прочей одежды — проигрыватель с одной-единственной пластинкой вокально-инструментального ансамбля «Цветы». Через плечо болталась на веревочках большая папка с ватманскими листами.

Вереница вывесок, витрин, киосков... вдруг яростно галдящая толпа, заполнившая и проезжую часть. Футбольные болельщики. И чаще всего звучало восторженное: «Таврия».

И внезапно, тут же — в пол-улицы безудержно улыбающаяся, залихватски прищурившая глаз размалеванная физиономия клоуна на холсте: «Весь вечер на манеже Яков Пляскин». «Цирк» — возвышались над фасадом слегка обшарпанные разноцветные буквы.

Цирк! Конечно, цирк!

В фойе после уличных разноголосицы и солнечности показалось особенно пустынно и прохладно. Свет полупогашен. В манеже идет дневное представление, и оттуда приглушенно доносятся музыка и смех.

Я отогнула тяжелый занавес в боковом проходе. Работал коверный клоун. Вдруг он посмотрел прямо на меня и состроил рожу, тут же продолжив репризу. «Ну вот», — подумала я и улыбнулась, первый раз с тех самых дней... А клоун уже убежал в форганг. Навстречу ему выскочил румяный ведущий — целлюлоидный пупс во фраке — и, преградив путь коротенькими ручками, истошно заголосил:

— Яков Пляскин! Всеми любимый клоун Я-а-ша-а-а!

Коверный прошмыгнул у него под мышкой — и был таков. Пупс состроил на секунду удивленную физиономию и заголосил с еще большей истеричностью:

— Велофигурист Андрей Го-о-о-оп!

За кулисы вела маленькая дверца. Я открыла ее и очутилась во мраке. Сделала неуверенные шаги по узкому пространству с едва различимыми ящи-

ками из-под реквизита, громоздившимися с обеих сторон вдоль стен до потолка, и всяким иным цирковым скарбом, как откуда-то сверху прыгнула фигурка, вскрикнув: «Мама!» Я застыла, но тут же шагнула вперед: «Это... ты... ты кто?!» Споткнулась и упала на колени, выронив чемодан. Ошеломленный мальчик стоял передо мной.

— Извините, тетенька,— смутился он.— Я думал — мамка, хотел напасть.— И буркнул сварливо: — Здесь посторонним нельзя.

— Я знаю,— тихо сказала я.

Он убежал. Я села, обхватив ушибленные колени. Кто-то торопливо приближался по проходу. Я быстро встала, подняла чемодан, посторонилась, прижавшись к ящикам. Некто прошел мимо, зыркнув на меня как-то испуганно. Мне показалось — коверный клоун. Открылась на мгновение дверь в фойе: да, это был он, коверный. Оглянулся мельком и будто бы воровато — и исчез. Проход за эти секунды осветился слегка, и теперь я знала точно, куда двигаться.

У форганга над доской авизо тускло светилась лампочка. Я подошла к авизовке и стала читать расписание вечернего представления. Воскресный день, значит, три представления. Утреннее уже прошло, дневное заканчивалось, оставалось вечернее. Ага! Нашла глазами: «№ 5. Галенда Нина. Веселый карандаш». Строчка эта подчеркнута красным и отмечена вопросительным знаком. Я достала ручку и зачеркнула знак вопроса.

— Предчувствую-предчувствую, мадам, кто вы у нас такая! — приторный голос за спиной.

Обернулась. Целлулоидный пупс осклабился в профессиональной улыбке:

— Здравствуй, детуленька!

— Здрасьте. Горите?

Пупс обидчиво скуксился:

— Горим-то горим, да только мы просили в главке чего-нибудь потигристее или медведей, а не, как говорится... — Но тут же заелейничал: — Ну, ничего, ничего... А в гостинице-то ты уже была? Нет? Она во дворе. Иди устраивайся. Бухенвальд прозывается.— Он захихикал, но, не встретив во мне участия, принял озабоченный вид.— Вечерочком, значит, сможешь?

— А бумагу выписали?

— Рисовать-то на чем которую? — Он поскуцнул.

— Не туалетную же! Нету? Как всегда. Ладно, два-три раза со своей отработаю, но...

— В понедельник закажем! — оживился пупс и внезапно отскочил в сторону.— Иванов!

Униформист, похожий на одетую в человеческое гориллу, покорно навис над ним:

— Че, Борь Борич?

— Я приказал за Яшкой следить?

— Ну?

— Где он?

— Сбежал.

— Дуй за ним! Велосипед заканчивает!

Иванов лениво поскреб пробивающуюся из-под рубахи черную шерсть.

— Сам успеет, успевал же раньше.

— Напьется, премию не жди.

— А я-то че?!

— Дебил! — взвизгнул Борь Борич и призывно замахал руками в курилку.— Петровские, на выход без паузы! — Вбежал в манеж, и его полоумный вопль уже несся оттуда: — Андрей Го-о-оп!

Петровские, две девицы, одна донельзя накачанная, другая хрупче хрупкого, но обе в подобиюх балетных пачек, обсыпанных блестками, начали разминаться перед занавесом: большая, разворачиваясь резко корпусом, сгибала в локтях руки и играла бицепсами; маленькая суетливо подпрыгивала, и при этом что-то смешно поскрипывало: то ли ее суставчики, то ли доски пола.

Откуда-то из темной глубины прохода послышался неясный, но быстро нарастающий шум. Как ошалелый мчался к форгангу коверный. Проскольз-

нужу в щель занавеса, врезался с ходу в пятившегося верхом на одноколесном велосипеде и раскинувшего руки к зрителям Гопа. Свалились оба самым нелепым образом. Зал грохнул хохотом. Упавшие немедленно вскочили. Коверный побежал в манеж мимо фальшиво-лучезарного Борь Борича, а Гоп, трясущийся от негодования, прихрамывая, втащил в закулисы моноцикл.

— А вот и Яша! — лелело из манежа.

Гоп, выпятившись передом к Петровским, капризно запричитал:

— Новое трико порвал. И где?! Куда больше всего смотрят! Теперь светить штопкой... Тьфу!

Петровская-мелкая потрогала выпяченное мизинчиком:

— Ничего, по шву.

Гоп кокетливо хохотнул. Пошел, пританцовывая, забыв про хромоту. Улыбнулся и мне.

Петровская-крупная достала из пожарного ящика бычок, прикурила:

— Черт бы побрал этого Пляскина, настроились уже было, вечно так!

Я выглянула в манеж. Шла известная реприза «Скакалка»: сначала коверный скачет через прыгалки, ведущий отбирает их, клоун извлекает из кармана бечевку и прыгает через нее, ведущий отбирает и бечевку, клоун развязывает галстук и скачет через него, отбирается и тот, а потом в ход идут пиджак, шнурки вместе с ботинками и даже брюки. В конце концов коверный, оставшийся в трусах, сцепляет руки и, перескакивая через них, убегает восвояси.

То и дело перегораживал мне Яшку обращенный спиной к занавесу Борь Борич: упитанные ягодицы очень туго обтянуты и весьма подвижны. Брючная материя к тому же обладала радужной искристостью, что придавало объекту особую игривость.

— Причем не педик, — усмехнулась Петровская-крупная, заметив мой нескромный интерес. — Просто поэт ягодиц!

— Угу, — смутилась я и отошла в сторону.

Яшка, запыхавшийся, мокролобый, в одних трусах-парусах, ворвался в фортанг, отфыркивая, как лошадь.

— Ни пуха! — наспех бросил Петровским и свернул в клоунскую каморку возле доски авизо.

— К черту! — машинально отозвались девицы и загарцевали в манеж.

Униформист Иванов пронес в клоунскую вслед за Яшкой его одежду.

Я обратилась к перекидывающимся булавами жонглерам:

— К гостинице как пройти?

— Во двор и налево, — сосредоточенно, не отрываясь от разминки, отозвался один из них.

Я пошла. У конюшни вдруг нагнал меня Яшка. Он был уже облачен в актерский костюм.

— Слышь, как тебя, через конюшню ближе!

И, подцепив под локоть, впихнул в конюшню. Я поддалась его внезапному напору. Двойственность лика коверных всегда приводила меня в трепет: аляповато-дурашливая маска, под которой совсем другое лицо, и эти подведенные глаза особенно выразительны. Яшка что-то беспрерывно тараторил, но я не улавливала смысла. Увидела в просторном боксе слонов, прикованных цепями за мощные ноги к полу. Слоновьи туши раскачивались, имитируя ходьбу, — ритмично громыхали цепи. Возле бокса на ящике сидел старик и, задрав брочину, ковырял щепкой в гнойной язве на икре.

— Гордеич! — радостно сообщил мне Яшка. — С самим Поддубным боролся. Встань-ка, Гордеич! Он глуховат...

Яшка показал старику жестом: мол, поднимись. Гордеич ворчливо заматерился, но приподнялся с явным удовольствием. Оперся на палку. Яшка откинул крышку ящика, где только что сидел Гордеич, и она оказалась изнутри оклеенной мутными от времени фотокарточками. В основном запечатлены борцы: грудь колесом, опоясана лентами с медалями; brave ущи.

— Это вот он... и это, — указывал Яшка.

Я присела на корточки, глядясь в полустелвшие снимки.

— А вот Ванька-то. — Гордеич ткнул заскорузлым ногтем в Поддубного, знакомого мне по фотографиям в различных книгах о цирке. — А я рядом. В тот день снимали, когда я его подмял.

— Будто бы? — усмехнулся Яшка.

Гордеич замахнулся на него палкой и чуть не упал. Яшка поддержал его.

— Говорю, победил,— строптиво произнес Гордеич.

Я покосилась на гниющую ногу старика, встала. Яшка потянул меня дальше. Мы оказались во дворе. Сразу же к воротам конюшни примыкала увитая диким виноградом приземистая арочка.

— Там Бухенвальд,— кивнул на арку Яшка.

— Какая у старика нога страшная!

— Трофическая язва.

— Ему же в больницу надо!

— Не ляжет он. Бойтся, в цирк обратно не возьмут. Его отовсюду давно прогнали. Дуров вот только пожалел. Держит ночным сторожем при слонах.— Сказав это, Яшка засуетился.— Слышь, мне бежать надо, чувствую, номер заканчивается!

— Конечно-конечно.

— Ты мне это, трояк взаймы не дашь, а?

Я полезла в карман джинсовки, и Яшкины глаза засверкали.

— побыстрее, опаздываю!

Я протянула три рубля. Он схватил их и умчался.

— Зря ты ему дала-то,— сказал лежащий на бильярде, пребывающем посреди двора, паренек.— Он ведь не отдаст. Ему у нас уже никто не дает. Это он воспользовался, что ты еще про него не знаешь.

— Отдаст,— досадливо возразила я, почувствовав, что паренек-то скорее всего прав.

За аркой начинались деревянные мостки, зажатые между одноэтажным строеньем из больших камней, обмазанных глиной, с оконцами вровень с землей — цирковой гостиницей и четырехэтажным домом со слепой, обшарпанной стеной.

Едва вступив на мостки, я столкнулась со спешащей навстречу Люськой Чинизелли. Мы работали с ней... В тот миг я забыла, в каких городах.

— Нинка, что ль?! — Люська облапила меня.— Сколько лет!

— Цирк тесен...

— Манеж круглый! Года два не виделись? Нам тогда по шестнадцать было... Помнишь Уссурийск-то, а?

— О, еще бы! Уссурийск! — Я обрадовалась, действительно вспомнив Уссурийск. Когда-нибудь я непременно напишу о нем, а может, и никогда.

— Тебя с кем поселили?

— Еще ни с кем.

— Айда в нашу комнату.

Комната в девять коек, три пустовали, полосатая голыми матрасами.

— Я сгоняю за бельем к комендантше, а ты раскурочивайся.— Люська всегда была неугомонной.

Прежде всего я извлекла из чемодана проигрыватель и, поставив его на подоконник, тут же завела пластинку. Привычный с детства мотив как бы сразу сроднил меня с этим невзрачным помещением, должным стать на какое-то время еще одним домом.

Ворвалась Люська с постелью и принялась споро заправлять кровать.

— Я помню, что ты сама ничего не умеешь.

— Я давно уже все могу сама. Как ты-то живешь?

— Сейчас временно у дуровских собак работаю, да-да, убираю, кормлю.

Сотрясение мозга у меня было в Брянске, не могу пока в воздухе-то порхать, башка кружится.

— Сорвалась с трапеции?

— Хуже. Спьяну споткнулась на ровном месте — и об асфальт. Ладно, я побегу, а то после антракта наш аттракцион сразу первым идет. Приходи, посмотришь.— И Люська выбежала, но присела с улицы у окна: — А ты, мать, изменилась.

— Повзрослела?

— Нет. Смурная какая-то. С дороги, что ль, устала?

— Чуть-чуть.

Люська скрылась.

Я достала из чемодана блузку и лосины, в которых работала в манеже, встряхнула — немнущаяся, — повесила на спинку стула. На дне чемодана лежала учебническая тетрадка за две копейки. Дневник. Раскрыла, написала: «Третьего мая. Симферополь. Приезд. Футбольные болельщики. Коверный. Бухенвальд. Люська Чинизелли».

Захлопнула: «Ну к черту!» — и бросила тетрадку обратно в чемодан, задев его ногой под кровать.

Направилась в цирк.

Взобравшись на самый верх зрительного зала, уселась на ступеньку. Зрители после антракта постепенно рассаживались по местам. Униформисты в разгильдяйских позах толпились в форганге. Оркестр издавал какофонические звуки.

Но вот погас общий свет и завертелись по ковру разноцветные огни. Музыканты заиграли веселую мелодию. Униформа выстроилась в две шеренги, и между ними продефилировал сияющий Борь Борич.

— Друзья! Мы продолжаем нашу программу!

Представление пошло, и я начала впадать в дрему. Я давно уже привыкла спать во время представления и именно в зрительном зале. Как ни странно, но для многих цирковых зрительный зал — единственное место, где можно уединиться, сбежав от своих. Я очень любила спать именно во время представления и именно в зрительном зале: ощущение безопасности, уюта, присутствия и отсутствия одновременно. И сон при этом всегда необыкновенный: слышишь музыку, происходящее в манеже, аплодисменты, смех и в то же время участвуешь в снах. Наверное, эта спячка — своего рода самогипноз. Я пробуждалась с последними аккордами действия и чувствовала себя великолепно. И теперь, провалившись в дрему, встрепенулась, когда в манеже уже заканчивался эпилог. Артисты, участвовавшие в программе, двигались по кругу, помахивая публике прощально ладонями. Некоторые зрители уже тянулись в фойе.

Я вышла вместе с толпой, заглянула в зрительский буфет. Накупила всевозможных пирожных и с жадностью проглотила их, запивая лимонадом, — после сна разыгрался зверский аппетит.

Насытившись, пошла обратно через зал к форгангу. Свет в зале погашен. Лишь где-то на колосниках брезжил отсвет пары дежурных лампочек. Уборщицы, стуча откидными сиденьями, собирали мусор между кресел.

Из закулисья раздался протяжный вопль.

«Бьют животное», — поежилась я.

Вопль повторился: сдавленный, отчаянный крик. Голос человека.

Я вошла в занавес.

Возле клоунской стоял Борь Борич и усиленно сжимал и выкручивал пухлыми розовыми кулачками воздух, ожесточенно скаля зубы. Взгляд его был обращен внутрь клоунской. Оттуда раздался отрывистый, как всхлип, стон.

Я несмело приблизилась.

— Иди отсюда! — не глядя на меня, бросил Борь Борич и как-то особенно скривил лицо, будто его сильно ударили.

Я заглянула в комнатуху. Она как погреб: вниз вели несколько крутых ступенек. На дне, распластанный, лежал Яшка. Иванов сидел на нем верхом и заламывал ему руки. Яшка вскрикнул и рванулся. Иванов ткнул его лицом в пол.

— Аккуратнее, — взвизгнул Борь Борич, — лицо не попорть!

— Загримируется, — процедил Иванов.

— Что вы делаете? — опомнилась я. — Зачем? Это же... что это?! Так нельзя!

Борь Борич поморщился.

— Ну, нехорошо, нехорошо, согласен, а как иначе-то? Все добренькие, один я изверг, да? Вали отсюда!

Иванов поднялся с Яшки, вздернул его за шиворот, туркнул в раковину, пустил бурную струю воды. Яшка начал захлебываться. Вырвался вдруг и шаркнулся к лестнице. Тяжело забухал вверх по ступенькам, хватаясь за них пальцами. Борь Борич отскочил от двери, отстранилась и я. Яшка, вихляя, побежал по коридору. Иванов мощным звериным броском настиг его, свалил ударом кула-

ка и поволок за шкирку обратно. Ноги Яшки в нелепых клоунских башмаках беззвонно волочились по доскам, оставляя мокрые полосы.

— Ступай, ступай! — Борь Борич развернул меня и подтолкнул в спину. — Отдыхай, детка, готовься к вечернему... Мы тут сами разберемся.

Я выбрела во двор. Здесь находилась, наверное, вся труппа. Кто-то играл в бильярд, кто-то в нарды или карты, кто-то просто лежал на траве. Небольшая группа расположилась вокруг читающего вслух газету рослого красавца лет тридцати. Я потом узнала: это был последний из дуровской династии — Юрий. Люська сидела среди слушателей. Она замахала призывно. Я приблизилась.

— Садись. — Она шлепнула ладонью по траве. — У нас политинформация. На Фолклендах хрен знает чего творится!

Я присела возле нее. От играющих в бильярд долетало:

— Расстреляют Колеватова-то... точно... а то и откупится...

Колеватов — недавний генеральный директор всей цирковой системы. Его уличили в каких-то крупных махинациях.

Дуров выразительно зачитывал что-то о конфликте на далеких Фолклендских — Мальвинских островах, а слушатели равнодушно внимали.

Вдруг появился Яшка. Сощурился на солнце. Постоял, подставляя лицо лучам. Заулыбался. Сплюнул. Огляделся. Поплелся к играющим в бильярд.

Я исподволь наблюдала за ним.

Он стрельнул сигаретку, начал о чем-то рассказывать, вокруг засмеялись. Я тоже заулыбалась.

— Андрюшка Гоп на тебя глаз положил, — зашептала между тем Люська, — но у него жена родила только что, в Пермь домой уехала. И Витька Токарев, жонглер, интересовался... Не женат, но долдон порядочный, хотя в постели хорош, я была с ним пару раз.

Яшка взглянул на меня, и я неожиданно смутилась. Опустила глаза. Подняла — он все смотрел и как-то странно улыбался.

— Чего? — отвернулась к Люське.

— Ночью розы пойдем воровать к горисполкому, там они классные. Пойдешь?

— Ага, — машинально кивнула я, покосилась на бильярдистов: Яшка отсутствовал. Осторожно осмотрелась: его нигде не было.

— А взносы комсомольские Дашке будешь сдавать. — Люська толкнула меня локтем и указала на белобрысую девчонку, игравшую в нарды с огромным детинной. — Вон она. Хулахупы работает, а у самой ноги кривые... вот ей взносы.

— Гярай.

— Герой? Кто?

— Хорошо, в смысле. Так в Литве говорят: «Гярай».

— Не была, не знаю, — пожала плечами Люська.

Город, мой любимый город, далекий мой; город, где началась моя юность, город бесконечных дождей; серый, продуваемый балтийским холодом, но самый теплый для меня; город на самом краю земли — Клайпеда. Теперь запретный, но тогда в маленьком солнечном дворике симферопольского цирка еще можно было мечтать о тебе. Солнце, май, а я еще не оттаяла от пасмурных ноябрьских улиц, не могла забыть тех, с кем ходила по булыжным мостовым, блестящим от дождя и льда. Мокрый снег, набрякшее мглистое небо и вечный стылый ветер не казались нам непогодой. «Взять сейчас, все бросить и уехать туда», — подумала я, и в принципе это было возможно. И от мысли, что я могу сделать это когда захочу, стало веселее.

Вечером, перед парадом-алле, в форганге собрались все артисты, занятые в представлении: разговоры, смех.

— Тише, товарищи, тише! — прокричал Борь Борич. — В зале все слышно... особенно матом не надо! Эй, девушки, это вас касается. Начинаем! — Хлопнув в ладоши, три раза нажал на кнопку звонка и, кокетливо раскинув полы занавеса, профланировал к манежу и уже декламировал публике бодрый стишок для затравки.

Артисты притихли и построились друг за другом.

— Ай! — пискнула какая-то гимнастка, и все на нее зашикали.

— А Васька щиплется, — обиделась она.

— Пошли! — донеслось от впереди стоящих, и колонна мгновенно будто подросла: плечи расправились, спины выпрямились, животы подтянулись, голы вскинулись.

— Дорогие друзья! — торжествовал Борь Борич. — Представление начинается! Сегодня в нашей замечательной программе: акробаты-прыгуны Ловейко! Жонглеры под управлением Олега Кауста, призеры конкурса в Гр-бр-кр... Велофигурист-виртуоз Андрей Гоп! Дипломант шестидесятилетия Ленинского комсомола Нина Галенда, мастер изобразительного жанра!

Ослепленная прожекторами, вышагивала я по кругу писты и обалдело соображала, что бы это могло значить: «Дипломант 60-летия Ленинского комсомола».

— Весь вечер на манеже популярный клоун Яков Пляскин, всеми любимый Яша-а-а!

По традиции клоун выходил последним и отчебучивал какую-нибудь шутку.

Яшка плюнул на манишку Борь Боричу: вряд ли такое могло быть запланировано.

— Поприветствуем дружную цирковую семью аплодисментами! — заголосил Борь Борич. И, конечно, зрители аплодировали.

За кулисами я спросила у оттирающего перед зеркалом плевков Борь Борича:

— Каким вы там меня дипломантом окрестили? Это же бессмыслица, вслушайтесь: «Дипломант шестидесятилетия...»

— Но-но! Ишь, распоясались! Ленинский комсомол им уже бессмыслица! Я вам поплююсь! Бессмыслица! А как тебя объявлять? Никому не известная зассыха, да? Завтра будешь «проездом из Парижа в Жмеринку!» Ясно?!

— Понятно, — буркнула я и прильнула к занавесу. Мне необходимо было отобрать среди зрителей потенциальных партнеров. Номер мой заключался в так называемом дружеском шаржировании. Тех, кого я собиралась запечатлеть, присматривала заранее и даже наносила карандашом незаметные постороннему глазу контуры на бумагу, чтобы потом пройти по ним лихо фломастером.

В номере моем под финал должны были принимать участие ведущий или коверный. Заключительную карикатуру я рисовала на них. Изображенный как бы сердился и гнался за художником — таким образом и завершался номер. После стычки с Борь Боричем не хотелось обращаться к нему за содействием, и я заглянула в клоунскую.

Яшка лежал на банкетке и, выстреливая изо рта пинг-понговым шариком, ловко ловил его губами. Увидев меня, стремительно сел и, как щенок, боковато наклонил голову, ожидая, что я скажу.

— Яков, вы не могли бы мне помочь... — Я изложила суть дела.

— А, как у Алешичева! — взбудоражился он. — Знаю. Конечно, помогу.

— Да-да, именно как у Алешичева. — Мне стало стыдно. С подобным номером гениально работал художник-моменталист и клоун Александр Алешичев. С него-то именно я и скопировала свой номер.

— Спускайся! — махнул рукой Яшка, и я сошла к нему.

— Да ты рисовать-то умеешь ли? — хохотнул он. Я ткнула пальцем в раскрытую коробочку с гримом, попала в лунку с ярко-красным цветом и вывела на зеркале клоунский лик.

Яшка цепко вглядывался в портрет. Усмехнулся грустно:

— А ты схватываешь.

Ладонь моя была красной. Я растерянно смотрела на нее, вытянув вперед. Яшка кивком указал на полотенце всех цветов радуги от грима. Я вытерла об него руку.

Яшка наблюдал за мной и опять так же странно улыбался, как днем во дворе.

— Что вы на меня все время так смотрите?

Он выпалил:

— Ты на сына моего похожа!

— На сына?! — поразилась я.— А вы тоже похожи... наверное.

— На кого?

— Да нет,— лепетнула я и перевела на другое: — Мне всегда говорят, что я на мальчика похожа.

— Тебе сколько?

— Восемнадцать.

— И ему. Он у меня в цирковом, на коверного тоже учится.

— Я хотела бы быть клоуном.

— Мне нужна ассистентка. Попробуй! Я дочери своей предлагал... У меня и дочь есть, но у нее другая мать, чем у сына. Дочь не хочет. Акробатка. Ты — давай!

Я растерялась:

— Неожиданно как-то. Я подумаю. А мой номер?

— Да что номер? Работай и номер!

В клоунскую всунулся Иванов:

— Лошади заканчивают.

Яшка рванулся к лестнице.

— Соглашайся! — И ласково прибавил: — Сынок...

Я посмотрела на себя в зеркало сквозь нарисованную рожицу: «Клоуном? Но я и улыбаться-то разучилась с тех пор...»

После репризы сразу шел мой номер, и я поднялась к форгангу. Вдруг охватил мандраж. Со мной редко случалось нечто подобное, и вот накатило. Казалось, жутко похолодало вокруг, и этот холод пробирал до костей. Я начала мелко трястись, кожа покрылась колкими пупырышками, челюсти сводило, и зубы стучали. И хоть бы кто рядом выругался, что ли, или спросил прикурить, не знаю, все что угодно, лишь бы как-то сбить истерику.

Хрясь!!!

— С тебя бутылка! — Это Люська шарахнула меня по спине.— За начало-то, а?

Уф! Наваждение отлетело. Вернулась реальность: я слышала оркестр, зрительный зал, себя. Утерла ладонью липкость со лба.

— Еще бы, поставлю.

Яшка влетел из манежа в занавес, схватил меня азартно, сжал, приподнял:

— Ни пуха и с началом!

— Спасибо, к черту! — Счастливая, я побежала работать.

Борь Борич шкодливо глянул на меня:

— А сейчас! Ваша землячка! Крымчанка из Симферополя! Ниночка Галенда!

Зал взорвался овацией. Теперь, что бы я ни делала, меня ждало исключительно одобрение со стороны зрителей.

Номер отработался волшебным образом, но в финале Яшки не было. Я нарисовала еще один шарж на зрителя, незапланированный. Яшки нет как нет. Запропастился и ведущий. Номер затягивался. Я подмигнула Иванову и кое-как изобразила его: получилась точь-в-точь горилла.

— Гонись за мной,— подсказала ему.

Иванов сообразил и, размахивая кулачищами, с ревом помчался следом. Я даже испугалась, но за занавесом Иванов тут же остановился и влюбленно уставлял на уродскую карикатуру в своих руках:

— Здоровски!

— Где Пляскин? — крикнул Борь Борич.

— Я! — гордо сунул ему в лицо ватман Иванов.

Борь Борич скривился и ринулся в манеж.

— Собачий футбол! Лола Ходжаева!

По проходу, едва не сшибая с ног всех попадающихся на пути, с визгом и лаем пронеслась вихрем свора собак.

Пропустив их, я пошла прочь. Внезапно за одним из ящиков заметила Яшку. Затиснувшись в темноту, он жадно глотал вино из запрокинутой бутылки. Позади меня раздался сап и ивановский голос:

— Чего там?

— Ничего!

Яшка закашлялся в этот момент. Иванов молча шагнул к нему. Тот поскорее вновь припал к бутылке и стал судорожно глотать, выворачивая глаз на приближавшегося униформиста. Иванов вырвал бутылку, и Яшка потянулся к ней дрожащими руками:

— Там еще глоток!

— Выход пропустил! — рявкнул Иванов и, схватив Яшку за пиджак, потащил.

Яшка упирался, сдавленно сипя:

— Я знаю... сволочь... когда мой выход... глоток у меня еще!

— Но вы и вправду пропустили,— укорила я.

Иванов, похохатывая, дразнил его почти пустой бутылкой, тряся ею перед Яшкиными глазами. Тот пытался ее поймать, но никак не мог.

— Возьми у него! — топнул он, как ребенок, ногой. Я суетливо подскочила к верзиле Иванову, и неожиданно он отдал мне бутылку без всякой борьбы. Она упала на пол и разбилась.

— У-й, с-суки... ненавижу,— простонал Яшка и обмяк, перестав сопротивляться.

— Не буду я с вами клоуном! — выпалила я и побежала. Оказалась в фойе. Села на банкетку. Увидела на стене плакат Яшки: глянецовый, из-за головы бьет сияние прожектора, руки взметнулись, словно хочет взлететь. Афиша давняя, лицо у него здесь еще не такое обрюзгшее, как теперь. Голос его раздался с манежа: пошла реприза. Вскочила, сорвала плакат, скомкала, бросила на пол и ногу уже занесла, но зритель какой-то, проводящий время у буфетной стойки, удивленно посмотрел на меня,— подняла, расправила, хотела повесить обратно. Всмотрелась в глянец, заулыбалась: «Похож. Он и в самом деле похож на Герберта. Но чем? И как это может быть? Нет, такое невозможно». Сложила бережно и унесла с собой.

К вечеру стало холодно.

Я было пошла с компанией за розами, но в палисаднике за кухней, откуда вела калитка на улицу, приотстала. Села на стоящую у стены койку с продавленной металлической сеткой и закурила.

Веселая гурьба цирковых растворилась в темноте.

На сетке лежала телогрейка, и я накинула ее. Под телогрейкой оказалась пластмассовая кукла. Беззащитно голая, как младенец. Непроизвольно прижала ее к груди и стала тихонечно укачивать. Когда-то закрывающиеся ее глаза теперь полуприкрыты тарачились, слегка подрагивая. Я застыла, всматриваясь в эти белесые стекляшки.

Скрипнула и хлопнула калитка. Я запахла телогрейку, пряча куклу. Яшка. Оживился, увидев меня. Подсел. От него сильно пахло спиртным, хотя пьяным он не выглядел.

— Я погорячился давеча, ты меня прости.

— Ничего. Я тогда же и простила... почти сразу.

Помолчали.

— Сынок,— проговорил он.

— Не надо! — с силой выдохнула я и произнесла мягче: — Не надо, ведь ваш сын, ведь он жив...

— Жив?! Конечно! Типун тебе! Надо же сказать такое! Боже, но как ты на него похожа, и глаза, взгляд, он так же порой смотрит исподлобья, бычится...

— Глаза? — проговорила я задумчиво и резко развернулась к нему.— Его Гербертом зовут?

— Герберт? — удивился он.— Почему Герберт? Какой Герберт? — И с изумлением посмотрел на куклу, раскрывшуюся от порывистого движения из-под моей телогрейки.— Нет, не Герберт никакой, Петя, Петька он.

Я в смущении отложила куклу. Яшка извлек из внутреннего кармана пиджака початую бутылку водки, поднес ко рту, но передумал и протянул мне:

— Отпей. Пожалуйста, отпей.

Я взяла бутылку. Яшка, кажется, не ожидал этого и с нескрываемым любопытством смотрел на меня. Я стала пить. Пила и безотрывно глядела ему в

глаза. В лице его сквозили непонимание и, может быть, даже паника. Он отъял от моих губ бутылку, но не жадность присутствовала в его жесте, а нечто другое.

— Это же водка,— с горечью промолвил он.— А ты пьешь ее, как воду. Неужели не чувствуешь, а?

— Чувствую. Мне все равно.

— А ведь ты сопьешься. О-о-о... Я не хочу. Слышишь, не хочу? Что же с тобой?

Я опустила лицо, подумав: «А хоть бы и сопьюсь...»

— Не пей, сынок, не пей, прошу, умоляю! — Он отхлебнул судорожно водки.— Умоляю, не пей! Заклинаю!..— Обхватил меня одной рукой, а другой прижал мою голову к губам, шепча горячо в волосы и целуя их.

Я вскочила:

— Отстань ты от меня! Отстань! Пьяница!

Выбежала в калитку, прошла торопливо мимо цирка, а потом побрела по улице без всякой цели. Повстречалась с галдящей стайкой цирковых, несущих охапки роз.

— Нинка! — закричала Люська.— Нас ищешь? А мы уже возвращаемся! Айда домой! Выпьем за твое начало!

Пили опять же в палисаднике, на той же продавленной сетчатой койке. Вынесли сюда и мой проигрыватель на удлинителе. Гоняли беспрерывно одну и ту же пластинку «Цветов».

Я быстро захмелела и первой ушла спать. Под тонким одеяльцем зябко. Я свернулась плотным калачиком, но все никак не могла заснуть от холода. В темноте замерцало, и кто-то вошел со свечкой. Жидкое пламя трепетало, и я не могла различить лица вошедшего. Усталость от переезда, выступления, а также хмель и густой запах роз цепенили тело, смыкая веки. «Кто это?» — про себя спросила я и закрыла глаза. Приоткрыла вскоре, сквозь ресницы увидела сидящего на краешке постели Яшку. Спокойно вглядывался он в мое лицо. Я провалилась в сон. Очнулась: все девчонки уже лежали в кроватях и тихо переговаривались в сумраке. «Приснилось или он был?» — подумала я.

— Холодрыга,— проговорила вибрирующе какая-то девушка.

— Значит, так,— узнала я Люськин голос,— тихо-тихо надеваем тапочки и, как я скажу: «Ап!» — Танюшка резко включает свет, мы вскакиваем и давим их, давим!

«О чем это они?» — не поняла я. И тут раздалось «Ап!», свет вспыхнул, и голые девчонки, высоко подпрыгивая, застучали подошвами тапок по половицам. В невнятном множестве заматались беспорядочно тараканы. Дикарский танец длился недолго, и девчонки вновь забрались в постели. На полу остались раздавленные насекомые. Свет выключили.

— Галенда, ты не спишь? — бросила Люська.

— Нет.

— Я как раз про Лерку Карлову хотела им рассказать. Помнишь в Уссурийске-то?

— Как же, конечно.

И она тут же начала:

— Ну так вот. Это в Уссурийске было. У меня подруга была Лерка — антипод работала, жонглерша ногами. Старше лет на восемь, но мы дружили. Холод стоял похлеще, чем сейчас, зима, Сибирь...

— Дальний Восток,— перебила я.— Приморский край.

— Один черт, Арктика! Отработали мы кое-как в каком-то колхозном клубе... Холодрыга в зале, зрители-то в шубах, ушанках, валенках, а мы голышом, считай... Ну и сговорились с Леркой, как в гостиницу вернемся — кирнем, согреемся... В гостинице-то, кстати говоря, тоже дубак был. И в автобусе, пока назад каналы, еще промерзли. Как приехали, я к себе в номер, быстро в горячую ванну, а потом сразу к Лерке. Стучусь — тихо, вхожу — никого в комнате, села в кресло, жду, нет и нет... Ну, думаю, гадюка, договорились же. Небось, думаю, пьет где с кем уже. Вот, прикидываю, с кем она может пить... Галенда вот эта, Нинка-то карандашница, отказалась, мы ей по-человечески предлагали... с кем еще... А тут слышу шорох и вроде как поскуливание. А у нее собачка была, эта, как ее, крохотная, лысая, на тонких ножках, трясущихся...

— Карликовый пинчер,— вспомнила я собачку.

— Пинчер карликовый, вот. Орленком звали. Гдей-то, думаю, скулит Орленок-то, поскуливает-то где... А вы, девки, тапки-то пока надевайте, опять шуршат сожители... Думаю, значит, гдей-то он скулит, пинчер-то этот карликовый, Орленок то есть этот, собачка... Но — тишина и только шорох, вот как сейчас, легонький...

— Ну тебя, Люська,— пропищала одна из слушательниц.

— Честное слово, спроси у Нинки... Нинк?

— Угу.

— Вот. Шорох, как сейчас. Шуршит, а тихо, никого. Полутьма от торшера. А шорох, стало быть, из-за спины будто. А я в кресле сидела, а за спиной шкаф платяной, шифоньер, по-русски-то говоря, да, короче, одежный шкафец-то. Сижу, значит, как ни в чем не бывало, вдруг как бы хихиканье... обычное такое: хи-хи, хи-хи... оттуда... и тихо опять. Я привстала... медленно подкралась к шкафу, приложилась ухом к дверцам и не дышу. Тихо, и вдруг чего-то шорхнуло... прошуршало то есть, а может, от волнения показалось, не знаю. Вот как сейчас, слышите... Во, во, шуршит!

— Ой, ну, Люсь! — взмолился перепуганный голосок.

— Да. Я замерла и слушаю, шуршит или нет. Вроде шорхнуло. Раз — дверцу распахнула! А мне в лицо хохот дикий! — Люська сатанински загототала, впрочем, немедленно и оборвавшись, и замогильно продолжила: — Лерка там в шкафу, глаза из орбит и собачку душ-ш-шит!

И тут же, вскочив на кровати, вскричала: «Ап! Ап!» Зажегся свет, и визжащее источно девичье стадо с метущимися волосами заплясало ведьмински по полу.

Когда улеглись, какая-то девушка робко проговорила:

— Она чего, с ума сошла?

— Сошла. Вон, спроси у Нинки. Нинк?

— Сошла.

Люська зевнула.

— Я думала, она на меня бросится, потому как она так это метнулась сперва, а я от нее к выходу. Рву дверь, рву, да не в ту, как всегда, сторону, ору... А потом хоп — толкнула и выбежала в коридор, несусь, воплю, а дежурная на меня полкана: «Я вас выселю, вы мне, пьянь, надоели, цирковые!» Ну, потом-то все выяснилось... «Скорую» вызвали, увезли Лерку-то Карлову в больницу, а Орленок сдох, задушила.

— А с чего это с ней?

— Природа. Кто знает! Загадка.— Люська вдруг захрапела. Она всегда так внезапно засыпала.

Вообще-то вся эта история произошла со мной, то есть я была на Люськином месте, а Люська про это от меня в тот вечер же и услышала, но, наверное, давно об этом забыла и привыкла рассказывать случившееся от своего имени, и у нее это отлично получалось — я бы так не смогла.

— Где мой проигрыватель? — произнесла я в темноту.

— Остался там,— откликнулся чей-то сонный голос.

Я поднялась, накинула халат и пошла в палисадник. Длиннющий коридор гостиницы не освещался ни единой лампочкой. Брела, брела и как-то вдруг сразу оказалась во двореке.

Лицо сделалось влажным. Сеялся мелкий дождик. «Как в Клайпед», — подумала умиротворенно. Проигрыватель, стоящий на койке, продолжал работать: игла съехала до основания, и шаркающий звук сливался со звуком дождя. Я посмотрела в небо: звезды были хорошо видны и даже, как будто отмытые, мерцали. «И в Клайпед те же звезды, и в Уссурийске, наверное, и здесь... и везде. Везде сходим с ума, рождаемся, существуем, таскаемся по циркам... Зачем? Вернее, не так, сперва рождаемся, потом существуем, потом... Потом, что потом?» Я выдернула шнур из розетки и поплелась с проигрывателем по нескончаемому коридору.

А днем опять тепло, даже жарко. Я вышла в город и просто так ходила по улицам, ведь был понедельник, выходной. И еще мне хотелось манной каши, и я искала какую-нибудь столовку. Всю жизнь меня преследовала страсть к общепитовской манке.

Вдруг заметила трусящего вдоль домов Яшку. На лице громоздились очки с толстыми стеклами, и я даже в первый момент подумала, что ошиблась и это не Пляскин, но это был он. За плечами угластый рюкзачок с торчащими сверху бутылками, а в руках авоськи, также с пустыми бутылками. Значит, собирал порожнюю посуду. Он и шел-то возле домов, чтобы заглядывать в урны. Метнулся ко мне, и я решила, что увидел, но он пробежал мимо, не заметив. Хотя вперился буквально взглядом в лицо. Страшными были его огромные глазщи, увеличенные стеклами: желтые белки, изъязвленные склеротическими сосудами, — но более пугающие тем, что выражение их было неузнающим, потусторонним даже. Я отшатнулась, а он пронесся в подворотню, где виднелись помойные контейнеры.

«Ну как же так? Как же это так? — захлестнуло меня. — Клоун — утро, детство, чистота, а тут... Как в нем совмещаются грязь, бездна и ребенок? В манеже ведь он совсем иной — хороший, просто хороший».

В цирке шла репетиция дуровского аттракциона. Дуров стучал кулаком по небольшому дырчатому ящику, стоящему на бортике манежа:

— Дуся, выходи! Выходи! Не желаешь? А вот я тебя сейчас гуманным дуровским методом дрессировочки!

Он стал тыкать в ящик палкой. В ящике кто-то злобно фыркал и чихал. Дуров перевернул ящик и вытряс на борт взъерошенного дикобраза. Посыпались обломанные иглы. Одну такую иглу я долго потом зачем-то хранила, пока не подарила по пьяной доброте случайной приятельнице.

Я сидела в кресле на первом ряду. Ко мне подседа Люська. Лицо ее выражало суровость. Она приобняла меня.

— Ничего, крепись. Я все знаю. Чего же ты мне сразу-то не сказала?

— О чем? — произнесла я, но тут же все поняла.

Цирк — сарафанное радио. Конечно, и тут все должны были рано или поздно узнать.

— Не бери в голову, бери в рот! — брякнула я пошлостью, встала и удалилась.

Присутствующие проводили меня с затаенным вниманием, будто я совершала опасный трюк.

Забравшись в темноту между ящиков, я села на один из них с ногами, уткнулась в коленки и заплакала. Рядом в проходе приковали слона, выведенного из бокса на репетицию, и от его туши сделалось вовсе темно. Я чувствовала себя отделенной от всего мира, а сейчас мне только этого и хотелось.

Он родился обреченным. Врачи сразу сказали: «Ваш ребенок сейчас умрет», — и не советовали вовсе брать его на руки, чтобы даже и на секунду не привыкнуть к нему, но я не послушалась. В первые сутки он не умер, не умер и во вторые. «Все равно он не будет жить, — говорили мне. — Не делайте глупость, не давайте ему грудь, оставьте его, уходите». Я ушла, но вместе с ним.

Он жил две недели. Я не следила точно сколько. Так мне говорили потом. Но это была огромная жизнь, больше, чем вся моя прежняя. И еще мне говорили, что я вовсе не спала эти две недели. Я не знаю. Я помню залитую солнцем детскую и себя, сидящую на стуле посреди комнаты, склонившуюся над младенцем, — он был у меня на руках, на коленях. Я запомнила его очень хорошо, лучше, чем что бы то и кого бы то ни было на свете. Я очень долго смотрела на него. Он никогда не плакал, он был очень спокоен, мой сын, и так же упорно смотрел на меня, как я на него. И я молчала, я ничего ему не говорила, но знаю, что мы общались и понимали друг друга иначе, ведь еще так крепка была связь между нами, ведь только что мы являлись одним существом. Я поведывала ему все, что знала о жизни, об этом мире, в котором сама еще пребывала так немного, но и не так уж мало. Я поведывала и вдруг встречала в его глазах величественное и покойное: «Я знаю». Он знал, мой сын. И я вдруг проникла через пристальное молчание его глаз в невероятные пространства... сияющие и... я забыла. Мне казалось, что никогда не забуду, но я забыла.

Он умер. Помню, что я оглянулась беспомощно и увидела входящую в комнату маму. Я отдала его ей. Она сказала: «Ты только не плачь». Но я и не плакала. И не плакала, и не улыбалась. Я была очень спокойна.

Потом я долго спала. Просыпалась ненадолго и опять засыпала. Потом, помню, мы были в конторе загса — ребенок не был зарегистрирован, и без документов его нельзя было похоронить. Работница, не разобравшись, сказала мне: «Поздравляю, мамаша, с рождением сына! Как решили назвать мальчика?» «Герберт», — почему-то сказала я. Я никогда не думала так о нем, но тут, когда спросили, вдруг возникло — Герберт. Работница недовольно произнесла: «Герберт? Подумайте. С таким именем мальчик будет мучиться всю жизнь». «Не будет!» — отрезала я. Тут вмешалась мама: «Сейчас я вам все объясню», — и вывела меня в коридор. Похоронили его без меня, и я даже не знаю, на каком кладбище. Не знаю и спустя годы. Мама иногда ездит к нему. Так и говорит: «Я к нему», избегая имени. Я не реагирую никак. Не реагирую и тогда, когда рядом говорят о детях. Только однажды едва не сорвалась в ответ на упрек, мол, что ты можешь понимать в детях, раз у тебя их нет, но сдержалась, улыбнулась. Я знаю, что вырастила прекрасного сына и он прожил замечательную жизнь, мой сын, мой мальчик... Я знаю.

Громадину слона увели. Посветлело. Вдалеке виднелась клоунская. Яшка отпирает дверь. Я вылезла из укрытия и направилась к нему. Он уже вошел. Я облокотилась на косяк дверного проема. Яшка стоял спиной ко мне у трюмо и наливал вино в граненый стакан.

— Яша, я буду с тобой работать.

Он вздрогнул и обернулся. Увидев меня, успокоился:

— Ну и ладненько, ну и хорошо. — И с аппетитом выпил.

Со следующего же вечера я стала участвовать в его репризах.

Первые дни Яшка репетировал со мной по утрам во дворе цирка, а потом перестал. Вначале он как будто и не пил, а потом стал пить еще больше. Может, и не больше, но только теперь я сама находилась впритык.

Однажды случилось невероятное, но, по слухам, с Яшкой приключалось подобное и прежде, когда у него была жена в ассистентках. В один из вечеров он так набрался, что перед самым парадом рухнул плашмя возле доски авизо.

Борь Борич заметался вспугнутой с насеста курицей:

— Все! Зарубил! Могила! Кранты! Обвал! Мама, возьми меня обратно!

Яшку лупцевали, пинали, но он лишь впадал в еще более глубокий сон. Я стояла у клоунской ни жива ни мертва.

Представлению уже полагалось бы начаться. В зале то хлопали в ладоши, то свистели и топали ногами.

— Поехали! — обреченно махнул рукой Борь Борич.

Пошел парад, но я не тронулась с места. Артисты возвратились, и начался первый номер, а я все стояла.

— Будешь Яшкой! — ткнул в меня пальцем Борь Борич и раскричался, не дожидаясь ответа: — Сама напросилась! Я не хотел тебя с ним снюхивать, сама! Вот и выкручивайся! Клоунша!

— Но... как же я... я на втором плане... на подаче реплик... я не сумею, я боюсь...

— Насрать! — Борь Борич сдвинул виски. — Так-так, ты будешь за него, я за тебя, подам реплики, помню наизусть, проскочим! Вперед! — Он протаранил меня в манеж, вопя как зарезанный: — А вот и Я-а-а-аша-а!!!

Я окаменела. Будто впервые увидела зал. Рябь глаз, блики лиц в туманной дымке.

— Чего застряла? — зашипел Борь Борич и проорал: — Здравствуй, Яша!

— Здравствуйте, ребята! — дурным голосом вскрикнула я и от нервного ужаса расхохоталась. В зале засмеялись.

«Была не была!» — подумалось мне. Реприза как-то отлетела. В форганг вернулась на подгибающихся ногах.

Борь Борич скакал от радости:

— Ура! Ура! Тра-та-та-та-та, ура!

Расцеловал меня и опять запрыгал. И все, кто был рядом, бросились целовать и теревить меня. Но я села на свернутый в рулон репетиционный ковер и едва пролепетала:

— Все, баста, не могу.

— Как не могу? Как не могу?! — кинулся ко мне Борь Борич и остервене-

ло затряс.— Да я на тебя докладную в главк, невыездной станешь у меня да во все из цирка полетишь!

— Не могу,— отчаянно всхлинула я.

— Ниночка,— встал на колени Борь Борич, молитвенно сложив ручки,— я тебе двойную премию выпишу... может быть.

— Очухался! — вдруг рявкнул Иванов.

Борь Борич устремился на клич. Яшка сидел на полу и осматривался бессмысленным взором. Борь Борич принялся отрывисто нахлестывать его по щекам. Яшка жмурился и мычал. Борь Борич с силой растер ему уши.

— А! — отмахнулся Яшка.

Подоспела фельдшеричка со стаканом воды, отдающим нашатырем. Яшку заставили выпить. Фыркнув, он начал подниматься. Иванов вздернул его и поставил. Яшка шатался.

— А где...— Он заметил меня и указал непослушным пальцем.— Ты! Ты... ты мне приснилась!

Борь Борич заюлил вокруг него:

— Плява, соберись, дружок, в манежик надо, давай, Плявочка, давай! Галенда, помоги ему с костюмом, он же наполовину в цивильном!

Яшка кое-как отработал, а после представления сел перед трюмо разгримировываться да так и застыл, глядя на себя в зеркало сквозь нарисованную клоунскую рожицу. Смертельная усталость отпечаталась на его лице.

А я убито смотрела на него: «Вот сидит почти спившийся человек... клоун... и думает, наверное: я мальчик Яша, родился в Одессе, гулял с бабушкой на Приморском бульваре, папа водил меня в цирк... О цирк! Я хороший, чистый мальчик. Я не этот испытый и никому не нужный человек. Это вовсе не я. Я же мальчик Яша! Я...»

Он вдруг ударил кулаком по зеркалу, и кусок стекла рухнул на стол, осколки посыпались на пол. Половина лица, как отсеченная, одни глаза глядели на меня из отражения.

— Ты где родился? — нарушила я молчание.

— В Баку. А что?

— Нет. Так.

— Нина...

— Что?

Он повернулся.

— Нина, я узнал тут... У тебя был ребенок?

Я легла на банкетку, закинув ногу на ногу, усмехнулась грубо:

— Ну и чего?

— Это правда? Откуда?

— Что откуда? — раздраженно сказала я.— Дурак, что ли, Пляскин?

Он стремительно пересел на банкетку, наклонился надо мной, придавив телом, яростно сощурился:

— Не лмайся! Ты ведь не такая, как эти девки вон, из кордебалета!

— Я не такая, я жду трамвая! — спаясничала я.

— Значит, и ты как все?... А я на тебе жениться хотел...

Я отпихнула его:

— Зубы почисть сперва! Перегаром прет!

Он смотрел на меня укоризненно, а потом ласково улыбнулся.

— Нина-Нина, я тебе не верю. Не было у тебя никакого ребенка. Ты сама еще ребенок. Я прибью того, кто дотронется до тебя.

— У меня три мужика было! — развязным тоном бросила я.— Сразу! Трое! Понял?

Он схватил полотенце и начал сдирать грим с лица. Замер, не сняв красок, а лишь размазав их.

— Я полюбил тебя, Нина. Верхней любовью. Не той, что идет от живота вниз, а душой. Ты, пожалуйста, не обижай меня. Скажи, что у тебя никого не было, вообще никого... Ну, хоть соври, а, жалко, что ли?

Я молчала. Он ждал. Я молча встала и поднялась по ступенькам, зыркнув от двери с ненавистью. Молча вышла.

В манеже непроглядно темно. Я взобралась повыше, села в кресло. Закурила.

Вдруг заиграл саксофон. Я едва различила в круге арены музыканта. Догадалась, что это Али Аскер. У него был номер — человек-кукла, играющий на саксе. Артист всегда репетировал поздно. Каждый вечер звук его инструмента проникал в тюремные камеры гостиницы, отчего в сырых внутренностях их делалось еще тоскливее.

Музыкант играл, а я вспоминала.

Валдас, Юрис и Женька. Их правда было трое. Но только не мужиков, а мальчиков. И вообще все было совсем иначе.

На седьмое ноября в Клайпеде повалил снег: крупный, пушистый. Падал на мостовую и тут же таял.

Дом культуры, где давали мы представления, стоял прямо против гостиницы, в которой мы жили. Перед представлением я вывела прогуляться собачек: одиннадцать пудельков и болонок. Во дворе, в беседке, сидели пацаны и играли в карты. Я видела их покрасневшие от морозца руки и думала: «Забавное занятие — играть в карты под снегом». Я посматривала на них, а они следили за мной, как я путаюсь в поводках, лазая за собаками по кустам.

Пацаны ужасно влекли меня. Уже два года я не общалась со своими ровесниками — в нашем коллективе «Цирк на сцене» все были взрослые. Люська Чинизелли уже давно работала в другом коллективе, и ей повезло — там молодых имело много. Я и общаться-то разучилась со сверстниками, а уж тем более с нецирковыми. С нецирковыми даже и не знала, о чем заговорить. Мне очень хотелось познакомиться с мальчишками, но я так и не решилась на контакт. В антракте опять вывела собак и донельзя обрадовалась, увидев, что пацаны на том же месте. Они уже не играли в карты, а пили пиво. Окликнули меня по-литовски, и я подошла, сказав, что я русская, из Москвы, и ничего не понимаю. Они, конечно, наверняка знали, что я приехала с цирком, но, обращаясь первоначально на литовском, соблюдали тем самым некий ритуал. Они угостили меня пивом. Нам очень хотелось поговорить, но мне надо было возвращаться. Мы договорились, что встретимся вечером в гостиничном баре.

Пацаны пришли с кучей дешевого портвейна, и мы сразу поднялись в мой номер. Помню, что я расспрашивала об их жизни с невероятной ненасытностью, и они удивлялись, что может быть интересного в том, что Валдас работает учеником на заводе, где делают бочки под рыбу, Женька — на судоремонтном, а Юрис — пэтэушник, будущий обработчик янтаря. В ответ я твердила: «Цирк — тюрьма, цирк — тюрьма!»

Конечно, мы перепились и бегали по очереди в ванную: всех тошнило.

В Клайпеде наша труппа пробывала десять дней, а потом мы ездили еще по трем десяткам литовских городков. И мои мальчишки сопровождали меня повсюду, забросив и бочки, и рыбу, и корабли, и янтарь.

Когда в Паневежисе они провожали меня на вокзале — до Москвы, гастроли в Литве завершились, — вдруг выяснилось, что мы и адресами даже не обменялись. Поезд уже тронулся, когда Женька успел намусолить горелой спичкой свой адрес на сигаретной коробке и вбросить ее в тамбур. «Мы приедем!!!» — бежали они за составом. Мне казалось, они плакали. Я-то точно ревела.

В Москве же не нашла Женькину пачку сигарет. Оказывается, кто-то из наших искурил ее всю и выкинул. «Ничего,— думала я,— как-нибудь найдемся».

Тут же нас отправили в Бугульму и Альметьевск. Когда же через месяц я вернулась, то в дирекции мне говорили, что спрашивали меня очень долго три мальчика с прибалтийским акцентом, каждый день все ходили, а потом перестали. Тут нас отправили в... ну, какая разница, в какой город. А затем еще куда-то. Я написала письмо на Главпочтамт Клайпеды до востребования, но оно вернулось ко мне обратно. Через несколько месяцев. Это случилось уже после Герберта.

Ведь они даже не знали, что был Герберт. А его голову покрывала такая прозрачная кожа, тончайшая, и все жилки казались не прикрытыми вовсе. И я так боялась случайно сместить и порвать их. И у него совсем не было волосиков, совершенно.

Саксофон умолк, и стало слышно, как в конюшне надсадно воеет пес. Я знала: это Туля. Он работал еще у отца Юрия Дурова, тоже Юрия. Теперь пес умирал. Уже несколько дней.

Я зашла в конюшню, встретила глаза Тули и быстро пошла прочь.

Нашла Люську в палисаднике гостиницы, где играли в лото. Еще издали доносилось: «Дед! А сколько ему лет? О, девять! Молоденький... Барабанные палочки! Тудема-сюдема! Кол! Уточка!», сопровождаемое вспышками смеха и веселой болтовней.

— Туля умрет,— склонившись, шепнула я Люське.

Она нахмурилась.

— Без тебя знаю.

— Сегодня умрет.

Она вскрикнула:

— Есть! Закончила! — И потянулась к монетам на кону.

— Люсенька,— приобнял ее конный вольтижер Лешка Александров-Серж,— как это так тебе всегда везет?

— Отзынь ты! — саданула Люська его локтем.

— Ниночка! — Лешка притянул меня, усадив к себе на колени.— Что же это творится? Ты видишь, какая несправедливость?

Его волосы коснулись моей щеки, и на миг показалось, что это Юрис — такие же длинные, вьющиеся, скользкие шелком локоны. Дыхание захватило. Я ослабела и склонила голову ему на плечо, прикрыв глаза. Он притих, удивленный немного, но быстро сообразил:

— Пойдем в цирк, в нашу гардеробную, там теперь никого.

— Нет-нет,— пришла я в себя,— нет!

— Зачем ты ей? — усмехнулась Люська.— У нее Пляскин есть!

— Думаешь, я с ним сплю, что ли?!

— А то!

— Ерунда!

— Нечего меня лечить, я сама доктор!

Игроки рассмеялись.

— Клянусь, нет у меня с ним ничего! — горячилась я.

Мое негодование веселило окружающих еще больше.

— Чего же тогда никого не заводишь? — не унималась Люська.

— Не хочется.

Народ хохотал.

— Везет же некоторым,— усмехнулась Люська.— А тут раздирает...

— У тебя там собака помирает, а ты ржешь! — обиженно крикнула я, и Люська замолчала.

Никто не смеялся больше.

Я чувствовала себя виноватой.

— Люськ... ты это, Люськ... Расскажи про своих Чинизелли-то... Она ведь из династии Чинизелли...

Люська отмахнулась. Встала и ушла.

Собственно, не имела она никакого отношения к Чинизелли. Только об этом мало кто знал. Из присутствующих — одна я. Люська попала в цирк через год после меня. Мы проезжали через Ижевск, где у нас сломался автобус, и пришлось осесть в городе на два дня. Нас попросили дать благотворительный концерт в детском доме, и мы согласились. Люська была детдомовская, по фамилии Прыщова. Она увязалась за нами, своим ходом добравшись до следующего города, где мы остановились. Ее прогоняли, но она не уходила. Ее выпроводили с милицией, но она нашла нас в другом городе. Вся труппа незаметно к ней привязалась, а я подружилась. Ее как бы в шутку прозвали — Чинизелли. Но ей как раз подоспело время получить паспорт, шестнадцать исполнилось, и она напрочь отказалась записываться Прыщовой: Чинизелли — и точка. Я помню, как руководитель наш уговаривал ее:

— Ну что плохого — Прыщова? Ведь это же твоя исконная фамилия. А вдруг родственники найдутся?

— Нет! — упрячилась Люська.— Придет мужик прыщавый и загундосит: «Я твой папочка — Прыщов!» Нет, не хочу!

Я тогда рассмеялась.

— А если объявится прыщавый папаша Чинизелли?

Но тут Люська прижала ладони к сердцу и благоговейно пролепетала:

— Ну так что ж! Ведь он мой отец, каков бы он ни был!

Так и записали ее Чинизелли.

А потом уж она стала вдохновенно заливать о своем династийном происхождении, перемежая истории о прославленной семье Чинизелли, вычитанные в книжках о цирке, с собственными фантазиями, которые пуще записанных легенд.

Утром, готовя кофе в кухне, я услышала обрывок разговора из коридора:

— Туля умер. Ветеринара ждут, вскрывать будут.

Проходя затем по двору цирка, увидела труп собаки возле конюшни. До огромности раздулся его живот. Рядом сидел Гордеич и причитал:

— Я его щенком знал. Из Тулы он, потому и Туля. А так-то его Грант звали, по документам. Эх ты, скотина, Тулька, старый бабай, помер...

Ветеринар как раз направлялся к трупу, и я поспешила уйти, боясь застать процесс вскрытия.

Яшки в клоунской не было, но прокурена она была напрочь. Я стала размахивать дверью, выветривая смрад. Приметила вдруг на банкетке бюстгальтер, с бретельками которого играл котенок. «У него была другая женщина! — вспыхнуло в мозгу. И тут же подумалось: — Почему другая? Я ему никакая». Шарахнула дверью, перепугав котенка, пошла к манежу.

Репетировали конники Александровы-Серж.

Яшка восседал в первом ряду и болтал с Татьяной Серж, восемнадцатилетней девушкой, имевшей мужа на пятьдесят лет старше. Старик как раз прихрамывая ходил по центру манежа, щелкая бичом и стараясь как бы невзначай, но пребольно хлестнуть скачущих верхом вольтижеров.

Я развернулась обратно, но Яшка ринулся ко мне:

— Нина!

Он был уже пьян. Схватил меня сильно, жаждуще, стиснул, вжался, стал целовать беспорядочно, ошалело:

— Люблю, люблю...

— А бюстгальтер там чей?

Он даже взвизгнул от удовольствия:

— Ага! Заметила! Я нарочно, проверить хотел: заметишь ли? Это так лифчик, ничейный, валяется у меня в хламе давно, мало ли какая реприза возникнет.

— А-а, да мне-то что, мне все равно, пусти.

Борь Борич подкатил к нам.

— Сегодня лектор придет. Чтoб были оба в два часа! Плява, усек?

— А о чем? — сказала я.

— Да какая разница! — отмахнулся Борь Борич. — После лекции разрядку из главка оглашу, телефонограммочку только что получили. — Увидел Дурова: — Юрь Юрич, в два часа, пожалуйста, лектор, и своим объявите.

— Да пошел ты! — Дуров плакал. Скрылся в темноте коридора.

Борь Борич возмущенно развел руками.

— Ну, знаете ли, а еще кандидат в члены партии!

— У него собака пала, — заметил кто-то.

— Что ж, собака... — Борь Борич тяжело вздохнул. — Все там будем. — Повернулся к репетирующим: — Товарищи Александровы-Серж! В два лектор. Извольте присутствовать. После разрядочку сообщу.

— Интересно, нас куда, — поскреб небритую щеку Яшка.

Лекцию я проспала. Днем я всегда укладывалась. В гостинице вообще днем устанавливался негласный «тихий час» — все отдыхали перед вечерним представлением. Было уже часов пять, когда проснулась. Заторопилась в цирк. Первый, кого встретила, Али Аскер, сообщил мне:

— Ты тоже в Ялту. И я. Основная часть с Дуровым — в Днепропетровск.

Я ворвалась в клоунскую.

— Слышал? Мы в Ялту!

Яшка с мрачным видом пил из литровой банки непроглядно крепкий чай.

— Это ты в Ялту.

— В смысле?

— Не утвердили тебя в паре со мной. Приказ Борисыч показывал из Москвы.

— Значит, ты в Днепр с Дуровым?

— Нет. В Горький.

— В Горький? Но там же цирк на ремонте, уже три года.

Яшка криво усмехнулся.

— На репетиционный период меня сажают.

— Ты нуждаешься в репетициях? Зачем тебе репетиционный период?

— Мне? — приговоренно усмехнулся он. — Это не мне нужда, а им. Чтобы вынести окончательный смертный вердикт. Подержат месяца три, комиссию пришлют, комиссия посмотрит и придерется к чему-нибудь, еще на три месяца засадят, а потом еще, так и уморят. Объявят в итоге, что профнепригоден.

— Нет! — ужаснулась я. — И ты смиришься? Надо бороться. Еще неделю нам здесь, может быть, попытаемся что-то изменить, добиться, чтобы нас вместе в Ялту, куда угодно. Я буду звонить в главк.

— Не советую, пустое, только сама в черный список попадешь.

Все-таки я звонила, просила, убеждала. В итоге же получилось совсем не то, чего ожидала.

Борь Борич вдруг сказал мне:

— Тут по поводу тебя приказик из Москвы. Что, очень клоуном хочется быть?

Я еле сдерживалась, ликуя про себя: «Сбылось! Мы вместе!»

Борь Борич саркастически ухмыльнулся:

— Руководство пошло тебе навстречу. К Постному тебя прикрепили.

— Чего это? К кому?

— Постный — коверный международного класса. Не слышала разве? Вот в Ялте и познакомишься как следует.

— А Яшка?

Борь Борич сконфузился.

— Это вы его зарубили, строчите докладные!

Я думала, он взорвется, но он грустно покачал головой.

— Докладные строчу, да, но не только на него, на всех, за всякое, обязанность такая. Между прочим, и о хорошем сообщаю, бывает. А Яшка... я, что ли, ему насильно винище в глотку лью?

Вечером я спросила у Яшки:

— Кто такой Постный?

Яшка гримировался. Отозвался вяло:

— Коверный. Вместе мы с ним учились.

— Хороший?

Яшка глянул на меня укоризненно:

— Коверного спрашивать о коверном? Коверный может похвалить лишь своего партнера, но другого коверного — никогда. Если и ответится положительно, то вряд ли искренне. — После паузы произнес: — А что тебе Постный?

— Меня к нему прикрепили. — Я опустила голову.

Через какое-то время раздался очень тихий Яшкин голос:

— Ну что ж, наверное, он тебя чему-нибудь научит, наверное, лучше меня. Передавай привет.

На другой день состоялось завершающее представление.

По этому поводу принято устраивать всяческие невинные розыгрыши во время программы. Мне, например, как-то раз насыпали молотого перца в папку с ватманом, и я весь номер зверски чихала. Публика, вероятно, полагала, что так и нужно.

Пляскин на удивление был трезв и по причине этого, что ли, хмур и даже зол. Никогда не видела его столь суровым.

И в манеже был напряжен. От его поведения и мне сделалось не по себе. Реплики я подавала невпопад, запинаясь. Яшка метал в ответ гневные взоры, за кулисами же обматерил во всеуслышание, а в клоунской жажнул кулаком по трюму.

— Все! Проваливай! Хватит! Как-нибудь и без тебя доработают!

— Ну и черт с тобой! — Я стала поспешно разгримировываться, а он вышагивал мятежно по каморке, выкрикивая ругательства. Убежал на репризу.

Меня трясло от ярости, и жаль его было одновременно, и сожалелось, что нелепо так расстаемся.

В клоунскую всунулась Люська — глаза вытаращены.

— Глянь, чего твой-то вытворяет!

Я уже слышала какие-то непонятные вопли и визг.

У занавеса столпилась вся труппа. Полы бархата облепили тела любопытствующих. Присев, я протиснулась между чьих-то ног.

Яшка катался по манежу. То сучил безумно в воздухе руками и ногами, лежа на спине, то перекатывался на живот и рвал ковер ногтями.

— Не хочу, не хочу! Люди, дети! Я люблю вас! Только здесь я живу! На этом грязном ковре, истоптанном, штопаном! А там — враги! Я не могу без вас, дети, друзья, зрители! Я каждый раз сбегал к вам оттуда, от тех, и только здесь жил! А там, у них — тоска, плохо,— пил, чтобы не замечать ничего! Не хочу я навсегда к ним! Дети, люди! Не отдавайте меня! Меня же больше не будет! Вот я еще есть, и уже меня нет!

Он уткнулся в ковер. Плечи его сотрясались.

Вбежал Иванов с тележкой, закинул в нее Яшку и увез.

Зрительный зал хранил молчание. Борь Борич провоцирующе похлопал, прячась в кулисах. Кто-то из зрителей подхватил, и вот уже все аплодировали и даже чему-то смеялись.

— Идиот! Идиотище! — стоял над лежащим в тачке Яшкой Борь Борич. — Слава Богу, наши пути расходятся!

И умчался в манеж.

— Представление окончено! Гастроли завершены! — долетало бравурное в закулисье. — До свидания, дорогие товарищи! Артисты прощаются с вами до новых встреч!

Участники программы повалили на эпилог. Я осталась. Хотела подойти к Яшке, но так и не решилась. Труппа уже возвращалась. И каждый восклицал: «С окончанием!» Все обнимались и чмокались.

В руках Борь Борича взорвалась бутылка шампанского.

— Выпьем за наш дом, за цирк!

— За цирк! За цирк! — Лодочки ладоней тянулись под струю. Шипучий напиток выпивался прямо из рук. Те, кому не доставалось, пригубляли из ладоней соседей.

Кто-то брызнул в меня каплями с пальцев.

— Проснись, с окончанием!

— Все в буфет! — прокричал Борь Борич. — Там столы за счет профкома!

Меня понесло толпой по лестнице на второй этаж, и я даже не оглянулась на Яшку. Вскоре, однако, спустилась. На тачке уже уложен ковер, и Иванов тягивал на него брезент.

— Где Пляскин? — произнесла я.

— Кому он нужен? Гастроли кончились.

В клоунской темно. Я включила свет. Яшка лежал на банкетке неразгримированный и в клоунском костюме.

— Чего ты?

— Яш, там банкет, идем, выпить-то, за окончание.

— Я уже свое выпил.

Я маялась на пороге.

— Уходи, Нина. Мне собираться надо, через три часа поезд.

— Уже через три?

— Кстати, о трех. Я три рубля тебе должен. Возьми.

Я не двигалась.

— Ты это, слышь... — Он вымученно улыбнулся.

— Что?

— Будь счастлива, а? Ладно? Будешь?

— Постараюсь, — окончательно сникла я.

— А теперь ступай, ступай. Иди ко всем. Я к тебе перед отъездом загляну непременно.

Я ушла. Но он не заглянул. Так и исчез, не попрощавшись.

Утром лил дождь. Я протрусила в бухгалтерию, где выдавали расчет. Перед окошком толпилась очередь. Заняв свою, я забралась на подоконник в холле. Во дворе копошились униформисты: прислонили к забору снятый с фасада холст. Улыбалась залихватски клоунская физиономия: «Весь вечер на манеже Яков Пляскин». Дождь колошматил по холсту, размывая краски.

Получив зарплату, я остановилась пересчитать деньги у того же окна. Случайно глянула в него: холст совершенно смыт — блеклое пятно. Изумилась: «Как быстро!»

Заглянула в клоунскую: обглоданно как-то без костюмов, развешанных вдоль стен, без реквизита, лежащего повсюду, грима на трюмо. Только два вида, но крепких ящика с давней надписью масляной краской: «Яков Пляскин. Реквизит», чуть пониже ернический трафарет: «Союзгоскрыса», с припиской мелом: «В Горький». Хозяин уже где-то в дороге, скоро и скарб отправится в путь товарняком.

Пошла в конюшню проститься с Люськой, но той было не до меня. Дуровский аттракцион упаковывался.

— Люсь.

— Ой, Нинк, не отвлекай!

— Пока, что ли, тогда...

— Пока-пока! Небось увидимся!

— Цирк тесен.

— Манеж круглый! — весело отозвалась она и помчалась в другой конец конюшни. — Гордеич, хрен глухой, ну нашел время в ноге ковыряться, упаковывайся!

Юлия

В Ялте был цирк-передвижка. Шапито.

— Часть трупы у нас по квартирам, — вещал мне молодежавший инспектор манежа, разгуливающий по цирковому двору в одних плавках, демонстрируя всем бронзовое тело атлета, — а часть — в вагончиках. Куда хочешь?

Только что я два часа тряслась в потной и плотной толпе отдыхающих, добираясь из Симферополя до Ялты троллейбусом, а потом шла до цирка по людной набережной, и желалось мне теперь лишь скорейшего покоя.

— В вагончике, — решила я.

Инспектор указал в дальний угол двора.

— Вон бок торчит желтенький, там как раз твоя ровесница живет, с подкидных досок акробатка, Лаева, вчера их номер прибыл.

Я двинулась к вагончику, поднялась по четырехступенчатой приставной лесенке, дернула дверцу, но она оказалась запертой, постучала. Услышала легкое движение внутри, подождала, но никто не открыл. Постучала настойчивее. Даже и движения нет. Задолбила кулаком и ногой. Раздалась какой-то старческий кашель и недовольное кряхтение. Я подумала, что ошиблась, но дверь приоткрылась и на пороге возникла девочка лет двенадцати. Нет, пожалуй. Просто она выглядела пацанкой.

— Ну что надо? — Охрипший мальчишеский голос.

Из проема поперло приторной накуренностью. Дым ярусами висел во всем пространстве вагончика.

— Меня сюда поселили, — растерянно молвила я.

— Ну заходи. — Она прошла внутрь и улеглась на топчан.

— Проветрить бы надо, — робко замерла я на пороге.

— Нет! — вскинулась она. — Закрывай!

Я закрыла.

— Тряпку подпихни в щель нижнюю, — буркнула она.

Тряпка валялась на полу. Я подпихнула ее ногой под дверь.

— Болеешь?

— Еще чего! — усмехнулась девочка, кивнула на топчан напротив. — Ваши нары, сударыня.

Я присела на краешек.

— Юлия, — раздалась хрипотца.

— Нина Галенда.

— Галенда? — Девочка усмехнулась и вдруг заливисто рассмеялась.

Я же сидела в тоске и недоумении. Девочка прекратила смех и вмиг сделалась озабоченной. Села, глянула на меня, странно улыгнувшись. На всякий случай я тоже улыбнулась. Она усмехнулась:

— Галенда. Надо же так обозвать хорошего человека.

Я повела плечами.

— Не всем же быть Лаевыми.

— Лаевыми? — сморщилась она брезгливо. — Слава Богу, не всем.

Собственная фамилия, как видно, ее тоже не удовлетворяла.

Юлия между тем выдвинула ящичек тумбочки и вновь глянула на меня со странной улыбкой. Посидела, держа руку в ящичке, как бы решаясь на что-то важное. Улыбнулась мне еще раз и извлекла на поверхность пачку «беломора». С любопытством воззрившись на меня. Я никак не реагировала. Она, то и дело поглядывая на меня с непонятной своей улыбкой, стала вытряхивать табак из папиросы на газету. Совершив это, опять пытливо посмотрела на меня. Я сидела с каменным лицом. Она усмехнулась и достала из тумбочки кiset. Глянула на меня уже совершенно успокоенно и занялась сосредоточенным перемешиванием щепоти из кисета с табаком и набиванием смеси обратно в папиросу. Под конец процесса ее внезапно начало трясти — пальцы так и плясали.

— Не получается,— просительно взглянула она на меня и пододвинула газету с папиросой мне, сама же уселась на свои руки.

Я набила папиросу и протянула ей. Она приняла, ознобливо ежась:

— Подкуришь?

— Нет! — категорически мотнула я головой, давно поняв, в чем дело.

— Жалко,— вздохнула она.— Вместе интереснее.

— Я предпочитаю водку,— зачем-то слихачила я.

— Пакость.— Она прикурила, с шумом затянулась, держа папиросу торчком между большим и указательным пальцами, посидела, полуприкрыв глаза, и медленно выпустила струю.— Водки у меня нет. Одеколон есть. «Сорванец» называется. В Красноярске все наши мужики цирковые его только и пили. Лучше водки, говорили.— И опять засосала папиросу. Прилегла.

Я молча взирала на нее. Она, кажется, заснула. Во всяком случае, лежала неподвижно и будто не дышала даже. Я осторожно взяла папиросу из ее ослабленных пальцев. Засмотрелась на ее лицо. «Юлия»,— произнесла про себя, как бы пробуя имя на вкус. Как это ни странно, но по жизни у меня не было знакомых с таким именем, по крайней мере я таковых не запомнила. Лоб у нее был большой, по-младенчески выпуклый, и кожа тонкая, с проступающими голубыми сосудами. «Герберт»,— едва касаясь, я провела ладонью по ее виску.

— Ма,— лепетнула она.

Я отстранилась. Села на свой топчан. Показалось нестерпимо душно. Подошла к двери и распахнула ее настежь, высунувшись наружу и с жадностью глотая свежий воздух. Оставив дверь открытой, вернулась обратно. Лицо Юлии неудержимо влекло меня. Я решила как-то отвлечься и достала из чемодана двухкопеечную свою тетрадку. Раскрыла, подумав: «Напишу про Тулю».

Я писала долго. Юлия все лежала неподвижно и вдруг, заплетаясь языком, произнесла:

— За два пятьдесят.

Я прервалась.

— Что за два пятьдесят?

Она не отзывалась. Губы ее делали какие-то попытки шевеления, но, будто замороженные, не слушались. Я опять стала писать. Юлия вдруг подняла руку, натужно, как восковую, и уронила обессиленно, но зашевелила пальцами на ступнях, с усилием согнула одну ногу в колене.

— За два пятьдесят,— сипло шепнула вновь.

— Чего ты хочешь?

Она глубоко и порывисто вдохнула. На выдохе произнесла:

— Гроблюсь за два пятьдесят.

Я поняла. Она говорила о своей ставке за одно выступление. У меня тоже было два пятьдесят — самая низкая артистическая ставка.

— И у меня два пятьдесят,— вздохнула я.

— Ты кто?

— Веселый карандаш, художница-моменталистка.

— Сравнила. У тебя грифель, а я тройное кручу с подкидной доски в колонну из четырех человек. За два пятьдесят.— Юлия поднялась на локте и легла теперь полубоком.

— Будто бы я виновата, это главк,— буркнула я.

— Главк! Они там многие и цирка-то не нюхали, начальнички! Их бы на доску подкидную! — И рассмеялась: — Представляю, жопастые, животастые!

Я тоже засмеялась.

— Брякнутся тут же всмятку!

— Ну их! — поморщилась Юлия.— Кому пишешь?

— Это никому. Это для себя.

— Как так?

— Ну, это про пса одного. Про собаку. Тулей зовут. У Дурова работал. Лет пятнадцать отпахал. У отца еще начал. Всю жизнь на арене.

— Я Тульку знаю! — встрепелась Юлия.— Доберман. Коричневый. У него голова очень большая и тяжелая. Он клал ее мне на колени и целый час так мог стоять. То задремлет, то откроет глаза.

— Ты его знала?! — обрадовалась я, но немедленно опомнилась.— Он умер. Долго умирал. Две недели выл. По ночам от его воя в гостинице жутко было... протяжный бесконечно, зовущий.

— Умер? Отчего?

— Ни от чего. Просто так. Отжил. Выл, выл все, плакал, звал к себе, привык к вечной толпе, и страшно, наверное, было вдруг остаться совсем одному, страшно умирать в одиночку. Представление когда начиналось, в решетку вольтера вжимался, а вместо него выводили другую собаку. Однажды ночью вдруг тишина. Утром говорили, он зубы все переломал о прутья решетки. Застали его околевающим, челюсти окаменели на железе, еле разжали, и зубы обломаны. И никого не было рядом с ним, никого.

Юлия, пока я рассказывала, медленно села и смотрела на меня впившись. Когда я замолкла, сказала:

— Зачем тебе это нужно писать? Страшно.

— Страшно. Но не хочу забыть. Много лет пройдет, вдруг забуду?

— Ну и хорошо бы. Может, ты писатель?

— Скажешь тоже!

— А что? В Москве есть институт, где учат на писателей. Как в цирковом на акробатов, на коверных. Напиши про Тулю и отправь туда.

— Ну да, загнула. У меня образование-то липовое, аттестат просто так по доброте дали. Я уже в десятом классе в цирке была.

— А я с детства. У меня вообще восьмилетка. Но это ничего не значит. Я саморазвитием занимаюсь. Философию, например, изучаю.— Она достала из-под подушки толстенную книгу: «Капитал» Маркса.

В лице ее сиял гордый восторг. Я же приуныла.

— А я давно ничего не читаю, кроме цирковых программ.

— Это плохо. Превратишься, как все нашенские, цирковые, в ловкое животное, не больше, а надо мыслить, человеком быть. Можешь, когда я не пользуюсь, читать философию-то.— Юлия постучала по Марксу и запахнула том под подушку.— Ты пиши, Галенда, пиши, и отправим козлам этим литературным. Пусть знают, что цирковые тоже грамотные!

— Вообще-то я клоуном хочу быть.

— Клоуном?! — с тошнотворным выражением произнесла она и даже передернулась.— Вот уж терпеть не могу! Нет-нет, писателем! Решено, давай, садись и пиши немедленно. Сегодня же и отправим.

— Сегодня?

— Прямо сейчас! Потом уже не соберемся. Это такое дело — на вдохновении решается. Завтра начало, потом закрутится, не до этого будет. Садись, пиши, а я курну пока.

Я принялась писать, а Юлия, закупорив дверь, принялась набивать новую папиросу.

Не знаю, сколько времени я писала, но долго. Закончив, растолкала Юлию, успевшую заснуть. Очнувшись, она села и неузнаваемо воззрилась на меня. Спихватилась:

— Ах, ты!

— Надо переписать начисто.

— Что это? — недоуменно поглядела она на тетрадку.

— Ну! Ты уже все забыла, что ли?! А я старалась! Про Тулю, собаку. В институт-то писательский.

— Да? — бессмысленно спросила она и возликовала: — Про Тулю?! Я его знаю, доберман, голова такая, как булыжник, бывало...

— Он умер же! — досадливо перебила я.

— Умер? — сникла Юлия. — Как же так? От чего?

— А! Ну тебя! — разочарованно отмахнулась я.

— Нет-нет! — Она пересела на мой топчан и приластилась ко мне. — Не обижайся! Ну, не обижайся. Я забыла. Расскажи опять. Что тебе стоит?

Казалось, она сейчас заплачет. Я растроганно смотрела в ее огромные, слегка раскосые серые глаза, а она умоляла:

— Ну, расскажи, расскажи, не упрямься. Ведь я его знала, Тулю...

И я опять ей все рассказала, и опять она стала уговаривать меня идти в писатели, и даже еще раз показывала фолиант Карла Маркса.

— Так вот, — вернулась я наконец к тому, на чем возникла заминка, — переписать надо текст начисто.

— Пиши.

— Я не могу, — замялась я.

— Почему?

— Ошибки часто делаю.

— Да? А я и азбуку-то нетвердо помню. Вообще нам надо быстро, а то почта закроеся. Идем в дирекцию, машинистку попросим.

Мы направились в административный вагончик и упросили секретаршу отпечатать историю. В итоге все было аккуратно перенесено на машинописные листы, и я благоговейно держала их в руках. Юлия выхватила у меня текст и, придирчиво сощурившись, принялась читать. Постепенно лицо ее менялось, и после чтения она взглянула на меня с недоверчивым восторгом.

— Это ты сочинила?

Я взяла у нее листы, почитала чуть-чуть, пожала плечами. Собственный текст, напечатанный, казался незнакомым. Взяли тетрадку, стали сравнивать.

— Вот, вот и вот, — указывала я с радостью на совпадения. — Я это!

— Да, да, ага, вот тут тоже, — удовлетворенно кивала Юлия.

— Сами, что ль, придумали? — отозвалась секретарша.

— А вам как? — насторожилась Юлия.

— Чуть не расплакалась, трогательно.

— Сами! — зарделась от удовольствия Юлия и с беспокойством покосилась на меня. — Если бы не я, ты бы... Впрочем, как хочешь, я не стремлюсь!

— Конечно, сами, — твердо сказала я. — Вдвоем.

Юлия засмущалась.

— Чего уж там вдвоем! Бежим на почту, опоздаем.

И мы помчались.

— Похлеще Маркса-то будет! — крикнула на ходу Юлия.

— Ну уж хватанула!

— Точно! Ты не читала, а я знаю!

— Иди ты! Ведь то ж сам Маркс!

— Ну, может, чуть похуже! — Юлия замерла на пороге почтового отделения. Двери уже были заперты. Юлия требовательно застучала. Двери приоткрылись, и показалась пожилая женщина:

— Завтра приходите.

— Нам срочно! — Юлия вложила рукопись женщине в ладони. — Мы писатели!

— Писатели? — растерялась та и отступила, пропуская нас в помещение.

— Надо немедленно в Москву отправить! — заявила Юлия патетически.

— В Москву... Ну, ладно.

Женщина прошла за конторку.

— Я, — шепнула мне Юлия, — пожалуй, под текстом-то не буду подписываться.

— Боишься? А меня толкаешь.

— Я сальто в три оборота кручу в колонну из четырех, а ты мне — боишься!

— Так то сальто. Сальто любой дурак может.

— За два пятьдесят,— буркнула Юлия.— Посижу, устала чего-то.

Она отошла, присев на стул возле почтового ящика, а я следила за движениями женщины, упаковывающей рукопись. Сперва она вложила ее в большой конверт, потом взвесила его и, наляпав горячего сургуча, долбанула по нему специальным молоточком со штемпелем. Солидность процесса как бы придавала значимости и содержимому конверта.

— Теперь ступайте,— проворчала женщина, приняв от меня деньги,— а то подруга-то ваша прямо уж и спит.

Я приблизилась к Юлии. Она действительно заснула. И спала сладко: голову уронив, приоткрыв губы и даже слюнку пустив. Мне жаль ее было будить, и я тихонечко подняла ее на руки. Она закричала, причмокнула и утихла. Женщина, взирая на нас осуждающе, приотворила передо мной дверь:

— Ишь, писатели, умаялись-то как писамши!

Уже стемнело. Я шла как можно осторожнее, но в одном месте оступилась и едва не упала. Юлия от встряски пробудилась. Я продолжала ее нести. Она смотрела на меня пристально, проговорила мягко:

— Тебе не трудно?

Я отрицательно повела головой.

— Хочешь, я пойду сама?

— Ничего. Ты легкая, как младенец.

— Спасибо.— Она закрыла глаза и заулыбалась.— Мне хорошо.

— Мне тоже.

Насчет затей нашей с Литературным институтом скажу сразу, что ничего из нее не вышло. Примерно года через два в каком-то городе получила я тот самый конверт, но уже изрядно потрепанный, прорванный в некоторых местах, с иссохшим сургучом. В Москве его даже не распечатывали, отправив тут же назад с пометой: «Конкурс завершен». Конверт следовал за мной по разным городам, но всегда опаздывал и побывал даже там, судя по штемпелям, где меня не было. Я представила себе судьбу этого конверта. Вот он приходит в какой-то цирк и долго-долго валяется на вахте, никем не востребываемый. В конце концов администрация начинает выяснять, где же получатель, припоминает, что, кажется, отбыл туда-то, и посылает конверт в тот город, а получатель во все и не там. В том городе конверт опять месяца три пылится никому не нужный. Звонят в главк, выясняют, где у нас такая-то артистка. В главке начинают судорожно рыться в документах, отвечают, но могут и напутать. Я уже давным-давно забыла про этот конверт, но, получив такой необычный подарок из прошлого, страшно обрадовалась. Читала умильно несовершенные, наивные строки, восхищавшие когда-то нас с Юлией, и сожалела, что не может она ни радоваться, ни грустить, вспоминая былое.

Юлии уже не было, она погибла еще тогда, в Ялте.

Возле циркового двора Юлия прыгнула на землю.

В пространстве, обособленном от мира вагончиками, царила всеобщая гулянка накануне завтрашнего открытия гастролей. Вечер выдался теплый, даже душный, и дверцы вагончиков были распахнуты настежь, а из них доносились возбужденные голоса, смех. Кутили и возле вагончиков. Тут же резвилась и цирковая детвора всех возрастов.

Неожиданно меня окликнули по фамилии из одной компании, расположившейся перед входом в шапиту под раскидистой акацией.

— Постный! — фыркнула Юлия.— Парторг наш. Мы почти всей программой из Киева сюда приехали.

— Постный? Коверный?

— Не коверный, а ковровый. Ковровое покрытие, ковролин.

Мы находились уже рядом с компанией. В числе других я увидела и инспектора манежа, только теперь он был не в одних плавках, как утром, а в длинном атласном халате с вышитыми золотыми драконами.

Меня поманил пальцем невысокий пузатенький мужичонка со смешным вздернутым носиком.

— Это ты хочешь учиться нашему ремеслу? — Он звонко икнул, отчего рассердился и насупил бровки.

— Да,— кивнула я, догадавшись, что это и есть Постный.

— Думаешь, это так тебе, плюнула...— Он сплюнул, но неудачно, себе на подбородок, взвизгнул: — Раз — и клоун!

Я понимала, что благоразумнее молчать. Коверный едва не съехал со стула. «И этот пьянь»,— тяжело вздохнула лишь.

— Вдыхаешь! — скривился он и гневно вскрикнул: — А ты не дыши, когда с тобой мастер говорит!

Я смиренно молчала.

— Налить им водки!

Один из присутствующих наполнил стопки и подал нам. Постный жестомскомандовал пить, и я выпила, а Юлия едва пригубила, сославшись на гепатит.

— Знаем мы твой гепатит.— Постный ехидно сощурился, посуровел тут же.— Уходите! Свободны!

Мы развернулись.

— Стоять! — гаркнул он.

Я замерла, а Юлия удалялась прочь.

— Ладно, ступай,— благодушно хмыкнул Постный, но, лишь я сделала шаг, вновь гаркнул: — Стоять!

Я остановилась. Юлия издалека смотрела на меня.

— Иди,— хихикнул он, но я не трогалась с места. Компания засмеялась. Я побежала. Гогот летел в спину.

Юлия уже отпирала ключом вагончик.

— Скоты!

Мы вошли, Юлия глянула в оконце.

— Запирай! Постный бежит!

Я повернула ключ, задвинула и шпингалет.

Мы сели, прижавшись друг к другу, на топчан. В дверь задолбили.

— Галенда, выходи! — неистовствовал Постный.— Репетировать будем!

Я заелозила. Юлия положила ладонь мне на колено.

— Сиди.

— Выходи, Галенда, хуже будет! — не унимался клоун.

— Хуже будет,— проканючила я.

— Не будет,— шепнула Юлия.— Он завтра и не захочет вспоминать о сегодняшнем.

Загремел рукомойник, приделанный возле двери: Постный умывался и пил воду. Заорал вдруг: «По диким степям Забайкалья!» Голос его стал удаляться. Мы облегченно вздохнули.

— Он алкаш, что ли?

— Как раз нет. Только дважды за программу киряет — перед началом и после окончания. А все остальное время вынюхивает, не пьет ли кто другой.

Мы зашторились и включили свет. Я завела пластинку «Цветов», но очень тихо, едва слышно, боясь привлечь внимание, и занялась прикнопливанием Яш-киного плаката над своей койкой. Юлия же набивала папиросину.

— Пляскин,— ухмыльнулась она.

Я вдавила последнюю кнопку и села рядом с ней, оценивая работу: не криво ли повесила.

— Знаешь его?

— Нет.— Она втянула с наслаждением порцию травки.

— Как же нет, если говоришь: «Пляскин».

— Там же написано внизу: «Яков Пляскин».

— А, ну да... Нет, честно, знаешь?

— Отстань,— с мукой посмотрела она.— У меня процесс пошел творческий.

— Ну и пожалуйста! — Я хотела подняться, но она удержала меня: — Расскажи мне про него.

— О! Сколько угодно!

— Помнишь,— перебила Юлия,— в детстве книжка такая была в красной обложке с рассказом про дедушку Ленина. Там вначале папа с мальчиком сидят в комнате, а на стене портрет вождя. И мальчик говорит: «Папа, расскажи мне

про него». Там картинки еще такие добродушные, и Ленин на каждой чуть-чуть не похож лицом на того себя, что был на предыдущей странице, а фамилия художника — Незнайкин. Я потому и запомнила, что Незнайкин. Ты его любишь?

— Кого? — опешила я. — Художника? Ленина?

— Вот этого, — прищурилась она на плакат.

— Яшку? Не знаю. Он алкаш.

— Алкаш, — повторила она и усмехнулась. — Расскажи мне про него.

— Ну тебя! — Я опять хотела встать, но она вновь воспротивилась.

— Расскажи, — проговорила тихо. — Ведь ты же не зря плакат-то его повесила, измятый к тому же.

— Я его предала, Яшку. Мне нельзя его было бросать, а я ушла.

— Ты с ним работала?

— Только что в Симферополе. Он хороший.

— Чем же, если говоришь, что алкаш?

Я помолчала немного и заговорила часто-часто, боясь, что Юлия перебьет или не дослушает:

— Ну вот однажды, например, мы с ним во дворе репетировали, а было еще раннее утро, и как раз помойковоз прикатил, а мы возле помоек репетировали, вот. А у этих помойковозов, видела, наверное, специальные захваты есть, они ими помойки хватают и в себя запрокидывают. Ну вот, захватил он помойку, поднял и уже запрокинул, и уже даже кой-какой мусор посыпался, как Яшка вдруг кинулся и прям нырнул внутрь машины. Тут на него всякая дрянь и повалила. Яшка выкарабкался, значит, оттуда, весь в скорлупе, очистках картофельных, гадости какой-то жидкой, но счастливый такой, а в руке пакет целлофановый держит, а в нем — котенок. Этот помойковоз к нам на территорию уже с котенком приехал. Как только Яшка в мусоре его углядел, не знаю, ведь котенок такой простой, невзрачный, серенький в полоску. Немного не успел бы — и поздно было бы, потом фиг найдешь в свалке отбросов. А котенок малюсенький, едва живой, сосунок еще. Мы его из пипетки сперва кормили. Он поначалу в клоунской у нас жил. Яшка его Паскудой прозвал. Но так ласково называл: «Паскуда ты моя ясная». Иной раз мы по цирку рыщем: «Паскуда, Паскуда!» — наши все обалдевали, а потом Паскуду этого уже все знали. Он от нас в буфет постепенно перебрался, там и прижился, не дурак авось. Ты спишь, что ли?

Юлия приоткрыла веки, улыбнулась.

— На его месте всякий бы, кто заметил котенка, спас бы.

— Ну, не всякий, кто-то ведь в пакет-то его засадил, — обиделась я. — А вот такое бы всякий? Слушай! Этот цирк симферопольский, кошмар какой, дурацкий. Там окна людские, ну, жилых домов, прямо во двор цирковой выходят, и вечно мы с жильцами собачились. Один дядька все время кипятком плескался, специально, наверное, чайник на газу держал день и ночь, чтобы тут как тут наготове быть. И вот, там квартира одна до того полуподвальная, что дальше некуда. Слушай! Иду я как-то, и брань вдруг. Озираюсь на окна, вроде никого. А ругань хлеще, зажигательнее, видно, человек от того, что зритель появился, в раж входил. Голосишко такой дряхленький, шепелявый и далекий. Я зырк-зырк — никого! Наконец, догадалась. Прямо у земли будто нора — оконце, а его еще и за клеткой со скунсами не видать. Отодвинула я клетку, а там — провал в подземелье и личико старушечье торчит, зубы такие длинные, ржавые и через один. Подземелье это, оказывается, жилье, комната. Я пригляделась, там и абажур красный, и свет зажжен среди бела дня, потому что там-то темень. Плесенью отдает. Ковры увидела на стенах, фотки в рамках и две сабли крестнакрест, или шашки — я не разбираюсь. Да, еще патефон с раструбом ракушечным — чудеса! А старушница эта стоит на табуретке, а табуретка на стуле, стул на шкафу, и все еще она едва до подоконника дотягивается, на цыпочки даже то и дело привстает. Тарахтит почем зря, но мне ничуть не оскорбительно, а только любопытно, занятно. Сволочи вы, ругается, убийцы, медведя убили. Я не знаю, про какого она там медведя вспомнила, но при мне никакого медведя не убивали. У нас и медвей-то в программе не было. Вот, а она этого медведя несколько раз припомнила, даже прослезилась. Еще чего-то молотила, но суть в том, что она, как я поняла, с рождения в этом подземелье жила, а теперь

ей уже за восемьдесят, и всю жизнь она от цирка страдала. Говорит, Кио был, так для его иллюзий, ходы роя, к ней в комнату дыру пробили, кое-как залатали, а потом цирк на воде приехал и затопил ее до потолка. И так без конца, одна беда за другой. Я думаю, кой-чего не без вранья, но в целом, конечно, не повезло ей порядочно. И, главное, не поверишь, голосит: «За всю-то жизнь я в цирке этом ни разу и не была!» Тут Яшка ко мне подошел и эту-то фразочку услышал. Глаза выпучил, как бешеный: «Как ни разу?!» И эту бабку вечером на представление приволок. У нас даже все сбежались посмотреть на это чудо. Старушка, как ребенок, дивилась каждому номеру. Мы все растрогались. Одна наша гимнастка ей цветы отдала, которые ей кавказец какой-то каждый вечер по букету дарил. И старушка расчувствовалась: «Так ведь и помереть могла, в цирке-то не побывав!» Она и на другой вечер пришла, и на следующий. Ее бесплатно пропускали. Яшку боготворила прям. Он от нее скрываться даже стал. Уж очень она им восхищалась. А закончили гастролы, бабка из норы своей причитала: «А ну как не доживу до новой-то программы?!» Вот такие вот вещи случаются на свете.

— Есть многие вещи на свете,— проговорила Юлия.— Что же ты предала его?

Я ступевалась.

— Так пьет же безобразно.

— Будто бы мало цирковых пьют!

— Он выход свой пропустил, а это ведь уже не прощается. И вообще, чего ты злишься? Мое дело, с кем мне работать.

— Прости,— выдавила Юлия.

Я пересела на свой топчан.

— Я тебе как человеку открылась, а ты...

— Говорю же, прости. И, знаешь, плакат перевесь, а то он на меня так смотрит, ну его! В ноги к себе повесь, пусть на тебя глядит, раз тебе так уж этого хочется.

Я перевесила.

— Я тоже тут одного люблю,— вздохнула Юлия,— вернее, он меня. В нашем номере акробат. Отбивальщик. С доски меня отбивает. И, гаденыш, то недобьет, то перебьет, а я то не долечу, то перелечу. Сволочь! А жена его, она у нас руководительница номера, на меня, конечно, бухтит, не на Славочку же своего!

— Чего же он так враждует, Славочка-то твой?

— Хочет меня, а нельзя. Светка, жена его, как ищейка, следит за ним. У них, между прочим, тройня. От отчаяния своего он на мне зло срывает. Гаденыш, одним словом. Сволочь! Я его тоже хочу.

— Ты еще маленькая хотеть.

— Чушь,— усмехнулась Юлия.— Просто я такая сама по себе невыросшая. Двадцать два мне. У меня уже и сынок есть.

— Сынок?..

— С матерью моей теперь сидит. Она тоже бывшая цирковая. В Иваново они. Ему полтора годика. Отец его — борец бывший, теперь старик уже, от-вратный. В Гомеле мы работали. Дуров там был. Туля-то у которого, доберман. Старик этот на конюшне сторожил. Я через конюшню шла. Он за тюками с сеном притаился. Как цапнет меня. Схватил, заволок в слоновник. Я и опомниться не успела. А потом еще к нему ходила. Сама. Мерзкий. Хромой, вонючий. Какая-то парализующая страсть охватила. Приворожил будто. Жутко вспоминать. Нет, теперь уже ничего. Первое время было страшно. Таблетки глотала, транквилизаторы. Потом бросила. Курить начала. Травку. Приятно. Попробуй.

— Гордеич? — едва вымолвила я.

Юлия уже занималась очередной папиросиной. Лицо невозмутимое, только кончики пальцев с узкими розовыми ноготками слегка вибрируют.

— Я хочу из цирка вырваться,— неожиданно с силой проговорила она.— От рождения, даже раньше, утробно уже я в нем. Приговоренность какая-то пожизненная. Как у старухи твоей подземной. Только иначе. Она — вне, а я — изнутри. Вырваться! Но как? Я туда, за пределы, боюсь, из тюрьмы боюсь. Что там, а? Вот ты была там раньше, а? Как там?

— Не помню,— сказала я.— Забыла.

— Да есть ли там жизнь? Может, они для того и рождаются, чтобы в цирк прийти? Ведь сколько их каждый вечер на представлении, да? Или это одни и те же? Ты в них веришь? В ту жизнь веришь?

Она погибла через день или два после этого разговора. Не на открытии, точно, я помню, мы ходили после первого представления к морю. Специально ушли из цирка, потому что там банкет был в связи с началом. На массандровском пляже были. Ночь, но купались. Потом продрогли, костер жгли. Вокруг никого. Небо чернющее, и звезды осыпные. И тишина такая жуткая, что даже будто бы одни мы не только на пляже, а вообще на всей планете. Да и планеты-то будто нет, такая темень вокруг. В космосе будто, в неизвестно каком уголке Вселенной затерялись словно.

— Пошли домой,— сказала Юлия.

И мы пошли куда-то и заблудились. Долго плутали. Повстречали какого-то мужичка подвыпившего. Спросили у него, где цирк. Он так хитровато на нас посмотрел: «Какой же ночью цирк?!» Мы ему объяснили, что в цирке работаем. Он еще хитрее сделался и спросил, зачем же мы сюда-то зашли. «Заблудились». «Не дойдете»,— говорит. Оказывается, мы черт знает куда забрели. Мужичок сказал, что сдаст нам за червонец терраску на ночь. Мы только семь рублей наскребли, но он нас с радостью и за семь пустил. Зашли в какие-то трущобы: покосившиеся заборы, сараюшки, мазанки, теснота, грязь, и ни зги не видно. В терраске, однако, было хорошо. Кровать хотя и одна, но просторная. И белье мужичок принес нам свежее. «Хозяйка дала, раз циркачки»,— сообщил. Ключ оставил, сказав, что они с женой рано уходят и чтоб мы терраску сами замкнули, а ключ подсунули под ведро с водой, которое на крыльце. Засыпая, мы все удивлялись, как это они тут живут, в этой яме. Мужичок нас все вел тропами вниз-вниз, по спирали, и, кажется, на самое дно земли привел. Когда же утром вышли на крыльцо, то обомлели. Острые, излучающие нестерпимую яркость иглы устремлялись ввысь, в невероятной вышине соединяясь и образуя что-то огромное, но легкое, парящее. Это горы были.

— А мир-то, ведь он сияющий! — воскликнула Юлия.

И выбежала во двор, закружилась по траве, руки взметнув. «Как Яшка»,— вспомнила я плакат.

Не знаю, как это случилось, хотя была в форганге. На арене работали акробаты с подкидными досками, затем шла клоунская реприза и Постный давал мне наставления. Я еще не выходила с ним, но он заставлял меня смотреть каждую репризу, а потом допытывался, какво, на мой взгляд, это было и как реагировали зрители. Спрашивал вдруг: а заметила ли я реакцию такого-то в правом секторе, в десятом ряду?

Оказывалось, что человек этот сидел, собственно, над форгангом и я не могла его видеть из кулис. Постный все равно злорадствовал, уличая меня в невнимательности, хвастаясь, что сам видит каждого зрителя. И, кажется, это действительно было так. Стояли мы, значит, Постный брюзжал, а я думала: скорее бы доски подкидные закончили и он в манеж убрался. Вдруг — замешательство какое-то, и один из партнеров Юлии внес ее и на пол положил. Потом рассказывали, что сорвалась она с колонны. Уже вроде бы и встала на плечи к верхнему, но повело ее назад, начала падать. Пассировщики решили, что она стоит, и отбежали. Метнулись обратно, и один неловко как-то за ногу прихватил, подпернул кверху, а потом обрушил вниз. Она сильно ударилась головой. Ее быстренько унесли бессознательную. А номер, конечно, продолжал работать.

Глупо она умерла. Ей толком никто и не пытался помочь выжить. Не звонили даже в «Скорую». И врача, как назло, всегда дежурившего на представлении, в тот вечер не оказалось. Он на четверть ставки был. Артисты же лишь бестолково толкались вокруг Юлии, попусту сетуя, давая друг другу противоречивые советы, но, по сути, бездействуя. И я находилась среди них. А Юлия лежала посиневшая, на боку и застывшие смотрела на мельтешащую перед ее глазами обувь. У нее вдруг хлынула горлом кровь. Наверное, была какая-то внутренняя рана, и кровь не сразу вырвалась наружу, а потом, скопив-

шись, начала хлестать. И тут все забегали, швабры появились, ведра с водой. Но от воды кровящи сделалось только больше, и у всех уже хлюпало в башмаках, у некоторых забрызгались и костюмы. Возникла впритык к моему лицу клоунская маска Постного: «Ты видела, видела этого идиота в третьем ряду, видела?» «Нет», — машинально бормотнула я и посмотрела на свои руки. Постный кричал на меня, а я глядела на ладони, испачканные в крови. Почему-то вспомнила, как рисовала Яшку на зеркале и как оттиралась потом от красного грима полотенцем. Побежала к умывальнику: ведь мне предстояло идти в манеж. Когда вернулась после выступления, Юлия все лежала и вокруг по-прежнему толпились зеваки. Сиюминутности в ее лице уже не было. Бок, прикасающийся к полу, пропитался кровью, сверху же — она была в белом трико — оставался белоснежным. И волосики, тонкие, как пух, свалились от крови.

— На эпилог... на эпилог! — прокричал ведущий. — Быстренько — и вернемся!

И мы все пошли на финал, оставив Юлию одну.

Зрители скандирующие аплодировали, и многие, весело переговариваясь, тянулись в проходы на выход. Тут кто-то вскрикнул:

— А где упала которая? Где девочка?

Ведущий юркнул в форганг. Мы, поциркулировав по кругу с вымученными улыбками, стали возвращаться. Ведущий стоял, склонившись над Юлией: — Лапочка, надо. Соберись. Просят они, слышишь? Настройся.

Юлия не шевелилась. Ее приподняли и принялись наспех отмывать и переодевать. Поддерживали в стоячем положении, но она оседала. А мы все дружно умоляли: «Соберись, выйди!» — потому что в зале уже черт знает что творилось. До занавеса Юлию донесли. Поставили. Она держалась. Распахнули перед ней полы, и она совершила несколько шагов к манежу. Остановилась, стояла немного и приподняла одну руку приветственно. Публика бушевала в экстазе. И мы ликовали: «Отживет!» Юлия покачнулась и попятилась, но поймала равновесие и, повернувшись очень осторожно, медленно удалилась. Мы расступились. Юлия смотрела прямо на меня. В ее глазах было то же выражение, что встречала я у Герберта, у Тули. Вдруг она потянулась руками к полу, легла опять на бок, поджала к груди ноги и уткнулась в колени головой. Умерла, наверное, в ту же минуту. И не сказала ни слова.

Через два дня ее мать приехала из Иванова. Я помогала ей собирать вещи Юлии, но кiset с травкой даже не показала. Не знала мать этого о дочери, и не надо ей такого никогда знать. Оставила себе и «Капитал»; ведь Юлия как бы завещала его мне. И до сих пор толстенная эта книжища хранится у меня, и я ее иногда листаю, совсем, правда, не с целью изучения, совсем не за этим.

Мать Юлии, упаковываясь, вдруг стала отключать со стены плакат Яшки, но я пресекла ее:

— Это мое.

— Твое? — приостановилась она, с затаенной нежностью погладив глянец. — Она подарила?

— Нет. Почему же она?

— Ну как же, отец все же он ей.

— Чего? Как отец? Яшка? Да ведь она же Лаева!

Мать Юлии удивилась:

— С какой это стати? Это руководительница номера у них Лаева, по ней и все участники Лаевы. А Юля — Пляскина.

Я была в шоке:

— Вы шутите?

— Да вот мне сейчас только шутить. — И женщина присела на топчан, заплакав. Я принялась утешать ее. В мыслях же бушевало: «Пляскина?!»

И, хоть невозможно было не верить Юлиной матери, я все-таки потом бегала в администрацию и смотрела документы: Юлия действительно была Пляскина и по отчеству — Яковлевна.

Мне пришлось и некролог оформлять. Инспектор манежа дал увеличенную фотографию Юлии из комсомольского билета, которую я наклеила на свой ватман, обвела черной рамкой и по распоряжению того же инспектора окружила золотыми лавровыми ветвями. Вывела аккуратно плакатными перьями снизу: «Пляскина» — и тупо потом смотрела на свою работу, все еще не веря в реальность происходящего: и в то, что Юлии нет, и в то, что она Пляскина.

Я и до сих пор убеждаю себя, что Юлия не погибла, а где-то есть, гастролирует. Она там, в каких-то городах, в каких-то цирках, может быть, на другом конце планеты — теперь это возможно, — а может, кого давно не видела и ничего о них не знаю. Пусть мы никогда не встретимся, но она жива. Да, именно так, хотя я сама помогала заколачивать длинный узкий ящик из-под першей, более длинный, чем нужно человеку. В котором тело Юлии отправили, как реквизит, в багажном вагоне на символическое место прописки, ведь родиной для нее был цирк.

Я осталась одна.

Ко мне никого не подселили, и в свободное время я валялась на топчане, курила травку и глядела на Яшкин плакат. Да, я закурила Юлину травку. Как-то так само собой получилось: взяла и закурила. Курение это поначалу никак и не отзывалось на мне. Я даже разочаровалась: «Анаша! Ничего особенного». На вкус, правда, было горьковато и горло драло, но я думала, оттого, что без фильтра. И дым несколько белесый был и пах сладковато. Постный однажды учуял этот специфический запах, заглянув ко мне, хотя и проветрено было. Зашмыгал носом:

— От Юльки, что ль, пропиталось тут?

Струсив, я солгала:

— Да.

Постный сказал:

— Наркотики ее и погубили.

— Не знаю. Она никогда перед представлением не подкуривала.

— Все равно, флюиды остаются в организме. А ты на Славку Лаева думаешь, что он виноват?

— Я не думаю.

— Он жаловался, что косишься.

— Ему кажется.

— Ни отбивальщик, ни верхний в колонне, ни пассировщики не виноваты, — жестко произнес Постный. — Запомни. Никто. Это цирк, судьба такая.

«Как на партсобрании», — подумала я.

Он ушел. А я закурилась и закурила. Смешно вдруг сделалось. Беспричинно. Хихикала долго одна. Не выдержала и во двор вышла. Ходила по двору, и все смешным казалось. Прыскала то и дело. Лошадь вывели — заливаюсь. Ребенок упал и нос расквасил — покатываюсь. «Дура, что ли?» — бросила мне Анжела-гимнастка, поднимая ревущего малыша. А я смеюся, да таким гаденым смехом, и не могу остановиться. И вдруг резко тошнота подступила. Побежала за свой вагончик — наизнанку вывернуло. «Ни за что больше не буду курить!» — подумала, но, лишь взошла в вагончик, немедленно забила косяк. Лежала, затаиваясь судорожно, щурясь на плакат. И вдруг осознала, что разговариваю вслух и обращаюсь к Яшке, а его изображение — не плакат, а окно в стене, а он — в окне этом. Заглядывает: «А Юлия-то где?» «Разве ты не знаешь?» «Нет. А что такое?» — и перелезает. А я думаю про себя: «Ну, раз он не знает, так я ему и не скажу ничего». И хихикать начинаю. Опять смешно сделалось. Весело очень то есть. Цирк, ведь он на то и цирк, чтобы веселиться. Ха-ха-ха! И я высунулась из вагончика, вопя: «Веселитесь, цирковые! Цирк же — это радость! Это же так весело!» И расплакалась внезапно. На ступеньки села, заливаясь горячими слезами.

— Накиряться, — заметил кто-то сочувственно.

С этого момента и начнутся значительные лакуны в моей памяти. Но я стараюсь кое-что восстановить.

Я жила и не во сне, и не в бреду, но отстраненно. Присутствуя — отсутствовала. От всего в мире веяло благодушием. Время утратилось. Измерения канули. Ничего, по сути дела, не тревожило.

Такой пугающий вначале Постный казался милашкой. Он любил часами читать мне какие-то нелепые лекции об искусстве клоунады. Первое время я изнывала от его занудства, понимая, что это вовсе и не лекции, а прикрываемое ими утонченное издевательство. Изводя меня, Постный изводился и сам, но, ка-

жется, находил в последнем не меньшее удовольствие. Изо дня в день я делалась все равнодушнее, и Постный свирепел от ярости, не понимая, почему на третьем часу экзекуции я, блаженно улыбаясь, не спускаю с него внимательных глаз.

Закончилось у нас с ним все просто и быстро. Как-то на лекции он наклонился ко мне — я сидела на стуле, — вплотную приблизил лицо к моему. Глаза в глаза. Минуты три выдержал не моргая, сморгнул. А я лупилась, будто мумия. Постный двумя пальцами опустил мои веки, и я сидела так. Он раздвинул их донельзя и внимательно рассмотрел глазные яблоки, поводит затем ладонями перед зрачками. Губами прижался к уху: «Уходи». Я поднялась и ушла.

Инспектор манежа потом допытывался у меня: «Что у вас стряслось? Постный мне ничего не рассказывает, но говорит — работать с тобой не будет. А?» Я улыбалась и ничего не отвечала, полагая, что все происходит к лучшему.

Свой «веселый карандаш» также работала механически, собственно, находясь уже в предвкушении того, как через каких-нибудь пять минут растянусь на топчане и подкурю. Перед манежем-то я воздерживалась от курения.

Зато как сладостно было вернуться в вагончик после номера, зная, что уже никто и ничто не помешает лежать в полудреме, окутавшись ароматными парами, и общаться с Яшкой, Валдасом, Юрисом и Женькой. С Гербертом. Герберт мог появляться и в образе Яшки, и ребят. Я видела, например, что это Яшка сидит на противоположном топчане, но понимала, что он Герберт. И мне это не казалось противоречивым и нисколько не изумляло. Я в шутку, конечно, говорила ему: «Как же это ты так, Герберт?» «Вот так вот, мам», — разводил он руками и смеялся. Его голос, его смех... Я тоже смеялась: «Экий ты проказник, сынок!» А мальчишки мои клайпедские не только в вагончике появлялись. Я замечала лица их и в зале во время своего номера, но не подавала вида, чтобы не смутить их, потому что они старались спрятаться за спины других зрителей. Пусть, думала, хитрецы считают, что я их не вижу. И Туля приходил. Я даже миску с едой стала оставлять ему возле вагончика на ночь, и наутро она всегда оказывалась пустой. Да, был и Туля. Смущало, однако, и очень сильно, одно — Юлия отсутствовала. Я каждый раз боялась и ждала, что вот сейчас опять увижу ее глаза — огромные, серые, немного раскосые, и выражение в них встречу, как в последний день в форганге, когда возвращалась она с манежа и сразу же настигла в толпе меня своим взглядом: «Ну, что же ты меня предала?» Я и воспоминаний-то этих боялась, но все время возникала в сознании одна и та же картина: вот она шагнула в форганг, вот поднимает лицо, и мы встречаемся глазами — все! Она тянется руками к полу и ложится на бок, сжавшись в комочек, в тот самый эмбриональный, единственно естественный для человеческих зародышей и акробатов, группирующихся в него при исполнении сальто: так она родилась, так прожила жизнь, так и ушла, закрутив настоящее сальто — смертельное.

Нет, Юлия не появлялась. И ни разу не появилась.

Травка кончилась, когда я уже находилась в Ростове-на-Дону. Зимой. Поэтому, может быть, я очень подробно запомнила этот город. До пустячных мелочей. Так бывает с проснувшимся. Запомнится какая-нибудь незначительная трещинка в потолке, а потом не забывается всю жизнь.

Ссутулившись, часами бродила я по городу, задерживалась вдруг перед каким-нибудь домушкой и внимательно наблюдала, как самосвал вываливает кучу угля, а потом зильцы начинают накладывать его лопатами в ведра и таскать в сени. Мне нравилось ходить по рынку. Могла увязаться на улице за каким-нибудь прохожим и преследовать его без цели. По ночам ездила на аэровокзал и пила там в буфете гнусное полуостывшее кофейное пойло из граненого стакана. И все это в одиночку, молчком.

В гостинице, в одной комнате со мной, жила двенадцатилетняя девочка, дочка кого-то из цирковых. Мы не разговаривали с ней почти. Помню, она очень пугалась, когда я посреди ночи вдруг вскакивала и начинала метаться по комнате. Почувствовав, что она проснулась, я выходила в коридор и шагала там. Но недолго. Лестничные пролеты пугали иной раз до ослепления: «Шарахнуться через перила — и все!» И все это время после пробуждения я пыталась припомнить, как же я жила-то несколько месяцев. Ведь не сразу же наступила

зима. И ведь в Ростов как-то я добиралась, но не помню, как и когда. Внезапно оторопь брала: «А ведь был же еще в промежутке Днепропетровск!» И точно, узнавала осторожно — был. Я и листы свои по зарплате проверяла: Днепропетровск там значился как раз перед Ростовом-на-Дону. Впрочем, я кое-что помнила брезжуще о Днепропетровске. Например, что купол в цирке там протекал, хотя здание только построили. Во время представлений, если на улице шел дождь, в зале устанавливали тазы и ведра. Вспомнила я и какой-то теплоход, вечер, и я пляшу на палубе. Дискотека, что ли? Мигание электрогирлянд. Ансамбль горланит. Помню, я ору музыкантам, чтоб сыграли песню «Цветов» — «Звездочка моя ясная». Они заиграли и запели. Тут меня какие-то дюжие мужики выпроводили на причал, я упала, а некие парни подняли. Что это за теплоход? Почему я там оказалась? Что за парни меня подобрали?

Вот и все. И зима.

Я мучилась без травки и пыталась узнать, где ее можно раздобыть. Один осветитель из местных сказал, что у туалетов в парке. И я стала ходить в парк, петляя по аллеям, торча у входа в туалет, присматриваясь к людям, но... ничего не произошло. Не нашла тогда, потом постепенно забылось. Расхотелось. И до сих пор не хочется.

Все эти дни я много думала о Юлии и пыталась сделать ее портрет, но у меня ничего не получалось: не те брови, не те глаза, губы, нос, родинки. Я будто забывала ее. Забывала, как забывают любимую мелодию: знаешь, а вспомнить не можешь. Осознавала, что вообще как художница теряю руку. Никто не замечал этого пока, но я понимала, что с каждым днем катастрофически утрачиваю профессиональные навыки. Я как бы продвигалась в обратном направлении, разучаясь делать то, чему училась с детства. С перепугу начала даже ходить на этюды в зоопарк, но порой полдня примеривалась лишь к одному штриху или мазку.

Написала письмо Люське Чинизелли в ворошиловоградский цирк. Рассказала ей все, что происходило со мной в Ялте и после, как скорбно мне теперь. Вскоре пришел ответ — на полстранички. Люська сообщала, что у них проливные дожди и это накануне Нового года, что программа горит: выходных по четыре дня в неделю, ну а в остальном все нормально. Сперва я приуныла от ее безучастности, а потом смирилась: чем, собственно, она могла помочь?

Как-то днем в красном уголке я рисовала новогоднюю стенгазету. Андриюшка Гоп, развалившись в кресле, смотрел футбол по телевизору и, кстати, ведал мне подробности той днепропетровской теплоходной истории. Оказывается, там мы тоже работали в одной программе. Однажды после вечернего представления отправился он с неким Санькой Чагиным, которого я не смогла восстановить в памяти, гулять по набережной, а я за ними увязалась. Цирк в Днепропетровске располагается на берегу реки. Добрались мы до пристани, и я вдруг, увидев на причале теплоход, завопила: «Карл Маркс!» Именно так он назывался. И резво взбежала по трапу на палубу. Там происходили танцы для пассажиров. Ну, дальнейшее в принципе известно.

Едва Гоп договорил, как в красный уголок вошла Вера Петровская, мощная акробатка. В правой руке она держала чашечку кофе, в другой — сигарету. Отхлебнула напиток, затянулась.

— Приветствую! Пляскина-то помните?

Я насторожилась. Гоп зевнул.

— Симферопольский коверный. Рубль мне так и остался должен.

— А мне пятерку. Пойдем стребуем. Он там, внизу.

— Кто? Пляскин? Где? — Я швырнула кисточку и опрокинула гуашь, залившую мгновенно стенгазету.

— У форганга.— Петровская глотнула кофе.— Да не отдаст он ничего. У него видуха совершенно стремная.

Я чуть не сшибла монументальную девицу с ног. Галопом помчалась вниз. Никогда не замечала, что так высоко расположены в здешнем цирке красный уголок, буфет, гардеробные. Бежала, бежала, но все возникали новые лестничные марши.

Наконец, ворвалась в форганг.

Увидела Яшку черным силуэтом на фоне красного пятна манежа. Репети-

ровали батутисты: пружинисто взлетали фигуры, закручивая пируэты и сальто. Я еще точно не видела, что это Яшка, но угадала.

— Яшка! — прокричала издалека.

Он не услышал.

Подбежала вплотную:

— Яша...

Вздвигнув, он обернулся. Я оторопела. Съежившееся чахлое существо в затрапезном кургузом пальтеце. Воротники пальто и пиджака подняты, и оба засалены, в перхоти. Голову втягивает в приподнятые плечи и изредка мелко дрожит. Но испугало даже не это, а его лицо: серое и шероховатое, безжизненное, как промокательная бумага. И еще — он был седым. Я догадалась, что раньше он просто-напросто окрашивался хной, но все равно эта внезапная седина неприятно поразила.

Он смотрел на меня настроенно, будто не узнавая.

Я, пересилив себя, погладила его по рукаву:

— Яш, это я, Нина. Галенда.

Он кивнул отрешенно.

— Я вижу. Здравствуй, Ниночка.

— Ты чего же тогда не зашел?

— Когда? Куда?

— Ну, в Симферополе, перед отъездом.

— Господи, девочка моя, о чем ты...

Я и сама сообразила, что говорю пустое.

— Ты что сюда?

— А? Проездом. Из Горького в Москву. В Горьком я все на репетиционном сижу. В главк еду.

— А в Ростов-то как? Не по пути же.

— Для бешеной собаки сто верст не крюк, — усмехнулся он. — Так получилось. Сел не туда. Портфель потерял... Помнишь, из бегемотовой кожи? Вот. Со всеми документами, деньгами. Сюда с вокзала прямо. Куда же еще, как не в цирк? У тебя есть деньги-то?

— У меня там, в гардеробной, идем.

Стали подниматься по лестницам.

— Я верну тебе, — бубнил он. — Перешлю тут же, обязательно. Ты ведь трапецию работаешь? Ах, черт, Нинк, прости, задумался...

— Да ладно.

Мы вошли в гардеробную. Я протянула все свои деньги.

— Как ты вообще?

— Репетирую... все отлично... там ремонт... пустота... один, никого... скучно, жутко. — Вскинулся: — Нет-нет, я репетирую! Целыми днями! Готовлю сногшибательные репризы! Ты веришь?

— Да, да, — солгала я. — Конечно.

— Вот, еду в Союзгосцирк, чтобы дали разнарядку... куда-нибудь! Не могу больше там. Дико, мрачно, и эта тишина. Я чокнусь! — Задышал часто, будто задыхаясь, молвил: — У меня дочка умерла... погибла, разбилась. В Ялте нынче летом, — схватился за лицо ладонью. — Это я, я предал ее...

— Ты? Ты-то здесь при чем? Это не ты, это...

— А ты, кстати, там была же в то время, да? Как это случилось? Впрочем, чего там, зачем? Я пойду. Прощай!

Развернулся к двери и вышел, не оглядываясь. Я вдруг заметила, что он в кедах. На улице-то вьюжило будь здоров.

Вскоре начались каникулярные представления для детей — «зеленые палки». Мы делали по четыре выступления в день. Я изображала Буратино, который отрывал свой нос и рисовал на всех дразнилки. Новый год никто из наших толком не отметил. Накануне закончили около одиннадцати вечера, а первого уже в десять начинался утренник. Я вовсе не отмечала праздник: завалилась спать и на стук дверь не открывала. Зато наутро, катая во дворе цирка снеговика, ерничала над стягивающимися к представлению артистами, кряхтящими и стенающими:

— Эй, спички-то в глаза вставьте!

Недели через две получили из главка очередную разрядку. Меня отправили в отпуск — я сама напросилась.

До Москвы ехали вместе с Гопом. Его распределили в Старый цирк, и он невероятно важничал: еще бы, главная площадка Советского Союза! Некоторые за всю жизнь не удостаивались чести работать там.

За мутным стеклом вагона проносился обычный пейзаж: сумрачные деревеньки, пустынные заснеженные поля, грязные полустанки, унылые города и вечно одетые в мрачное люди.

Я безотрывно смотрела в траурность окна, а Гоп всю дорогу разгадывал кроссворды, которых у него имелось несметное количество: и книжицы, и газетные вырезки. Иногда он что-нибудь спрашивал у меня, но я мало что знала.

Вдруг ухмыльнулся.

— Ну, это-то, Нинон, ты знаешь. Амплу артиста цирка?

— Сколько букв? — спросила я без интереса.

— Пять. Велофигурист не подходит.

— Клоун, что ли?

— Феноменально! Ты удивительно сообразительна! — Гоп хитро сощурился. — Кстати, Пляскин-то умер, Яшка твой. — И уткнулся в кроссворд. — Тэк-с! Домашнее животное.

Оборвалось все внутри. Подумала: «Я чувствовала. Я знала». Спросила:

— Когда? Он же заезжал перед Новым годом.

— Ой, ну, Нинон! Я же пошутил! Ты как не цирковая. Домашнее животное?

— Козел, — уперлась я лбом в стекло.

— Не подходит, — обиделся Гоп.

Я все смотрела в запотевшее от моего дыхания окно и размышляла, что не так уж он не прав, Гоп, не так уж он не прав...

Петруша

За завтраком я рассказывала маме:

— Сегодня ночью мне приснился дикий сон. Будто я в каком-то цирке, незнакомом совершенно, с какой-то приятельницей, наяву также незнакомой мне, но во сне коротко знакомой. Мы смотрим представление. И будто все зрители знают меня, а я — их. Работал пластический этюд, и я понимала, что и этих артистов знаю. А после вышел клоун. Будто бы мы некогда тесно общались и многое нас связывало. Забывшись, я махнула ему рукой. Клоун заметил, но глазами показал, что не надо привлекать всеобщее внимание. Он был с набеленным лицом, в маске Пьеро, очень печален, и репризы его были трагичны. Это удивило меня. Прежде, где-то там в сонной этой жизни, он был оптимистичен, бесшабашен даже. Я недоумевала. Он — сломлен, подавлен. Я сидела и гадала, что же с ним произошло. Реприза закончилась, и он ушел, отчаянно обернувшись на меня возле форганга. Вскоре по рядам передали мне записку. Я развернула ее, но прочесть не смогла. Она была написана не по-русски. Я дала ее своей спутнице, и та перевела. В тексте говорилось: «Я теперь дурак». Все же я не могла никак осознать смысла произошедшего. Подруга сказала, что у них в стране... значит, я была не у нас... слово «дурак» можно перевести и как «клоун». «Он пишет, что он — клоун». Но ведь об этом я и так знала. Следовательно, здесь заложен иной смысл. Все представление я сидела как на иголках, а после побежала искать за кулисы моего старого товарища. Я спросила у первого же встречного, где комната Герберта... Да-да, его звали Гербертом. «Кого комната?» — удивленно спросил человек. Я повторила. Тот ответил, что такого артиста не знает. Я встревожилась окончательно. Стала спрашивать у всех. Некоторые пожимали плечами, некоторые в испуге шарахались. «Но ведь он такой известный!» — горячилась я. Люди убегали. Цирк был гигантским. Там имелось несколько манежей, и везде шли представления. Десятки, сотни манежей, причем отнюдь не тринадцатиметровых, а огромных, как стадионы. Артисты, заканчивая на одном, переходили работать на другой. Я ворвалась в какую-то клоунскую. Уж здесь-то мне ответят, была уверена. Там находилось множество клоунов, кишмя кишело. Одни жрали пирожные, другие трубили в гелико-

ны, третьи дрались. «Где Герберт?» — прокричала я. Клоуны не знали. Я побрела прочь. Меня догнал один из клоунов, зашептал скороговоркой: «Так он же дурак теперь, вы не знали?» «Но где он? Где его гримерная?» Клоун замотал головой: «Нигде». Указал: «Он там, там», — и улизнул. Я заспешила в указанном направлении. Сердце колошматилось, дыхание сбивалось. Попала в какой-то боковой коридор, петляющий, темный, зашла в тупик. Нет, дальше начинались конюшни. Увидела сторожа: «Я Герберта ишу». Сторож хмыкнул: «Его уже увезли». «Что значит увезли?» — «Он у нас не артист, мы его просто так держим, не выбрасывать же...» «Что значит держим?» — не могла я понять. Вдруг появилась моя подруга и стала настойчиво звать меня уйти. Я упиралась, говоря, что непременно хочу отыскать Герберта и узнать от него, что все это значит. Почему он в этой стране и почему он дурак? Подруга цепко держала меня, но я вырвалась и оказалась на улице. Побежала. Внезапно увидела лошадь в арлекинском колпаке с бубенцами на концах. Ее вели под уздцы дюжие клоуны, а Герберт сидел верхом задом наперед. За ним бежала толпа мальчишек, обзывала его, кидалась чем попало. Он не обращал на них никакого внимания. Я разогнала сорванцов. Герберт обрадовался, увидев меня, ожил. Я шла рядом, но от загнанности не могла говорить... Не помню, чем закончился сон, и это мучает меня теперь...

Мама забыла про свой кофе, и он остыл.

— Матерь Божья, и во сне-то тебе угомон от цирка нет. Когда же это все кончится-то?.. Ненавижу я этот цирк, если б только знал кто, как ненавижу!

Я молчала. Допив кофе, пряча глаза, встала из-за стола:

— Пойду, что ли, в Старенький схожу...

Мама горько усмехнулась:

— Я так и знала... Вчера ты клялась, что целый месяц туда ни ногой!

И я поехала в Старый цирк, тогда еще действительно старый.

В закулисной буфете повстречалась с Адой Мирской. Она работала ассистенткой в номере с шимпанзе. В Воронеже мы жили с ней в одной комнате.

Ада, полногрудая, плавно-округлая, толстощекая и румяная, с тяжелой медно-русой косой, сидела вальяжно за столиком и томно попивала кефир с маковым кренделем. Над верхней губкой, слегка волосатой, у нее отпечаталась жирная белая полоса.

Я протянула ей носовой платок.

— Утрится, мадам, шикарной женщине с усами неприлично.

Она волооко глянула вверх.

— О-о! То-то я думаю, кто, кроме Галенды, это может сказать?

Я присела рядом.

— Как дела?

Она пододвинула мне тарелку с кренделями.

— Ой, Нин, неплохо. В Японию едем. А ты-то чего тут со своим «веселым карандашом» делаешь? У нас ведь вся программа на Японию стоит.

— Да какая там Япония! В отпуске.

— А мы на три месяца в Токио. Как бы не опростоволоситься! У нас вон один пролетел. Билет комсомольский секретарю отдал, чтоб тот взносы пропечатал, а у того собака билет сгрызла. Теперь обоих от поездки отстранили. Лишнего шагу боюсь ступить.— Наклонилась к моему уху: — Но мы-то с тобой потихонечку выпьем. У меня своя настоечка: рябина с лимоном, смородиновым листом и медом. Пальчики оближешь. Пойдем-ка в обезьянник.

— Не-а,— протянула ей было, но замерла настороженно, услышав из окна задорные выкрики, приглушенные двойными стеклами: «Пляскин! Эй, Пляскин, а ну давай пасуй! Мяч, мяч на меня! Накатывай! Бей!»

«Какое-то наваждение», — подумала и тряхнула головой.

— Что это? Пляскин? Яшка здесь?

— Пляскин? — Ада пылливо посмотрела на меня.— Петруша. Из циркового училища тут студенты на практике, выпускники. Он у коверного нашего, Пляскин-то. А что, ты его разве знаешь?

Я встала и посмотрела в окно. По заснеженному двору оголенные по поясу парни гоняли в футбол. От разгоряченных тел валил пар. Взгляд мой произвольно следил за одним из них.

— Который? — напряженно спросила я у подошедшей Ады, загадав, что им окажется именно этот.

И она указала на него:

— Этот, буланенький.

Волосы у него, правда, были желтовато-золотистые от корней, постепенно темнеющие. И длинные — ниже плеч. Носился он как шальной и нервничал больше других: всплескивал руками, за голову хватался, ногами топал и кричал. Щеки его пылали огненно, пылали и губы. А глаза сияли такой неукротимой энергией, что будоражили и меня, находившуюся за двумя обледелеными оконными стеклами.

— Ну, хватит любоваться, солнышко, — тронула меня Ада. — Идем, а то передумаю.

— Конечно-конечно.

Уже с час, наверное, сидели мы с Адой в обезьяннике и попивали неспешно настоечку, которую я тут же окрестила мысленно «Адской». Шимпанзе, сидящие в больших клетках, с любопытством наблюдали за нами. Ада налила им несколько капель в чашки с чаем, присовокупив: «От простуды».

В дверь вдруг заколошмати. Ада, конспирируясь накануне заграники, предусмотрительно заперлась. Мы попрытали со стола компромат, и Ада отворила.

— Ах, да это ты, Петруша? Проходи. Нина, это Петруша, не пугайся, он свой.

— Я свой, — сказал Петруша простодушно и, на секунду как бы призадумавшись, рассмеялся. Хорошо рассмеялся — по-детски раскованно. Но я восприняла этот смех с болью, вспомнив первую встречу с Юлией, начавшуюся почти с такого же заливистого смеха.

— Вот, — надув губы, протянул он Аде носок, — дырочка.

Она повертела.

— Не дырочка, котик, а дырища. Ну, оставь, киска, потом заштопаю.

— А сейчас?

— Сейчас обойдешься. Ступай.

— Одной ножке плохо, босо, — заканючил он.

— Давай я заштопаю! — вырвалось у меня.

И Ада, и Петруша поглядели в мою сторону удивленно. Петруша, однако, тут же протянул мне носок.

— На. А ты умеешь? Мне хорошо надо, как Адочка.

— Петруша! — Ада вырвала у него носок. — Ты нахал! Как не совестно вручать посторонней девушке дырявый несвежий носок?!

— Я больше так не буду, — засмутился Петруша.

— Ну, ступай, ступай, — подтолкнула его нежно к выходу Ада, — через полчасика загляни, масик, я тебе верну носочек.

Петруша, слегка дурачась, кивнул и, улыбнувшись мне ясной, доброй улыбкой, вышел.

— Наливай! — бросила Ада, но я сидела как очарованная.

— Понравился, что ли? — усмехнулась она и прибавила жестко: — Смотри, он мой, я тебе за него глаза выцарапаю.

Я перевела на нее взгляд и будто впервые увидела: зеленые глаза хищно сужены, губы поджаты до бледности. Куда только девалась всегдашняя мягкая, рыхловатая толстуха?

— Да что ты, Ад, что ты? — проговорила я. — Здесь совсем не то... Я отца его знаю, любила его... и сестру, не совсем родную, у них матери разные... Она погибла.

— Слышала, — сказала Ада успокоенно. — Петруша рассказывал. Он сестру эту и не помнит. Даже внешне. Они раза два в детстве встречались мимоходом. И все.

Встреча наша скомкалась, через несколько минут Ада сказала, что ей нужно готовить животных к представлению, и я ушла.

Взбодороженная хмелем, я жаждала общаться, и ни с кем-нибудь, а именно с Петрушей. Только бы не напортачить. И тут возле форганга увидела его. Он стоял, прижав ладони к сердцу, и часто-часто моргал, готовый расплакаться

ся, а какой-то мужик в овчинном тулупе и свалывшейся кроличьей ушанке кидал ему в лицо ругательства, сдобренные матом:

— Ах, тебе неловко? Отца стыдишься, сукин сын!

Я догадалась, что овчинный тулуп и треух — это Яшка. Уже и узнала его. Он был в очках с толстыми стеклами, сильно увеличивающими глаза, с залепленными изолентой дужками: только однажды видела я его в них — в Ялте, когда он собирал пустые бутылки.

И отец, и сын узнали меня и одновременно устремились ко мне, только поразному. Петруша — в паническом ужасе, всем видом взывая о спасении. Яшка же негодуяще, как бы ища свидетеля обвинения.

— Вот он, сын мой, ты спрашивала, вот он, подонок, полюбуйся!

Петруша, долговязый, нескладный по-мальчишески, согнувшись насколько это возможно, припал ко мне. Я обхватила его голову, прижимая к груди. Чувствовала горячее дыхание сквозь кофту.

Яшка трясся от ярости.

— Чего ты его наглаживаешь, подонка? Подонок ведь он, отца презирает! Уходи, говорит, папочка, нет у меня, папочка, денег, оставь меня, папочка, в покое!

— Оставь меня, оставь! — надрывно всхлипнул Петруша. — Ненавижу!

— Что-о?! — взбеленился Яшка и рванул к нему с кулаками.

— Стой! — вскрикнула я, и Петруша в моих объятиях взвизгнул пощеченьчи.

Яшка наткнулся на выставленную вперед мою руку и отступил.

— Прекрати, — тихо сказала я. — Что ты разошелся-то? Не трогай ребенка. Тебе денег надо? Я тебе дам. На, ступай отсюда.

Яшка, тут же забыв про сына, схватил протянутые деньги, уронил одну купюру, рухнул со стуком на колени, цапнул ее, споро поднялся, заспешил в сторону конюшни, наспех обернулся.

— Нинк, приходи, я — в Новом.

Я чмокнула Петрушу в макушку.

— Ну, все, все. Успокойся. Он ушел.

Петруша выпрямился, робко огляделся, шмыгнув носом, утер его локтем и заулыбался просветленно:

— Тебя как зовут?

— Нина.

Он протянул мне руку, и я в ответ свою. Ладонь его была большой и теплой.

Внезапно раздался раздраженный голос:

— Петруша!

Ада стояла позади нас.

Я убрала свою кисть из руки Петруши. Ада гневно зыркнула на меня и повелительно кивнула Петруше. Тот послушно последовал за ней. И тут я почувствовала разлившуюся внутри горечь, то, что, наверное, называют ревностью: обиду, досаду и мучительную боль.

Поплелась в сторону конюшни, туда, где скрылся Яшка. Застала его в кормокухне для животных. Он сидел за грязным столом и, обжигаясь, торопливо хлебал из эмалированного таза густое дымящееся варево. Рядом стояла довольная девица и, покуривая беломорину, приговаривала:

— Вкуснотища? То-то! Собаки это у нас за милую душу трескают!

Кто-то бесцеремонно отпихнул меня от двери.

— Плява, ты тут!

Это был верзилистый субъект в драной телогрейке и оранжевой строительной каске. Он схватил ложку и присоединился к Яшке. Дружно хлебали они из одного таза и даже жмурились от удовольствия. Подбородки и скулы блестели от жира.

— Так ты не в Горьком? — подала я голос.

— А чего мне в этом Горьком? С Олегом Поповым буду работать, в его клоунской группе, а потом опять соло. А ты небось радовалась: пропал Пляскин, да? Нет, хренушки! Не пропал!

— Почему это я радовалась?

— Как же, ведь в клоунши поперлась! Меня бросила, у Постного лучше, да?

— Дурак ты! — Я даже плюнула под ноги.— Дурачина! И с клоунством у меня покончено, да и художница я фигова!

Развернулась и пошла прочь. Думала, он кинется за мной, но, оглянувшись, увидела, что наяривает похлебку дальше и даже не смотрит мне вслед. Пересилила себя, вернулась.

— Яша, я руку теряю.

Он посмотрел с ужасом на мои руки. Я усмехнулась грустно.

— В смысле живописи, ну, шаржей, понимаешь?

— А то в цирке работы мало! — буркнул он, жуя.— Не пропадем! Не бздо, Нинк! Я вон...— Он запнулся.— Сын у меня вон каков вымахал! Клоун! И внук коверным будет. А внука-то Яшкой зовут. Жив Яшка Пляскин!

— Яшка? Это Юлин?

Он, черпая варево, кивнул, забубнил с набитым ртом:

— Предал я ее. Я ее предал.— Всхлипнул, закашлялся.— Жизнью своей,— продолжил и сорвался на сотрапезника: — Хватит собак-то объедать! Пора и честь знать!

Но тот лишь усерднее заработал ложкой. Яшка сомнамбулически взяла свою, присоединился к нему.

Я ушла.

В форганге уже толпились артисты. Вот-вот должен был начаться пролог. Я проследовала сквозь стайки цирковых к проходу в фойе. Заметила краем глаза Аду, но сделала вид, что не вижу ее. В фойе нагнал меня вдруг Петруша. Я возликовала, но внешне старалась быть сдержанной. Он же ничуть не скрывал своих чувств и улыбался безудержно.

— Нина, а ты папашку моего уже раньше знала? И сестру? Мне Ада сказала.

— Да.

— Ну и что?! — наивно спросил он.

— Что, ну и что? — усмехнулась я произвольно.— Мы с отцом твоим работали вместе, я ассистенткой у него была, а с сестрой просто дружили.

— Он бездарный коверный! — насупился Петруша.

— Не знаю.

— Да-да, сам Леонардос говорил, я у него сейчас практику прохожу, а уж ему-то я верю.

— Леонардос? Что ж, Леонардос — великий коверный, но еще не значит, что словам его следует внимать безоговорочно. Как-то твой отец мне сказал, что коверный о другом коверном никогда не отзовется одобрительно.

— А меня Леонардос хвалит!

— Ты его партнер, ученик. А хоть даже и прав Леонардос, тебе его слов повторять не надо. Пляскин — твой отец. У вас одна фамилия. Да и человек он хороший.

— Плохой! Он маму обижал всегда! И меня! И бездарный он! За это его и вытурили с манежа!

— Он у Попова в Новом цирке теперь.

— Ха! Нужен он Попову! Папочка там на занавесе стоит: дерг-дерг! И с занавеса его скоро попрут. Вон время семь, а он еще тут болтается. Уж давно на Ленинских горах должен быть. Пропаций!

— Все равно, Петя. Леонардос или еще кто могут о нем что угодно говорить, а ты нет. К тому же ты и сам еще никто.

Петруша хотел что-то произнести, но лишь хватанул ртом воздух. Сник. Лицо сделалось несчастным, глаза налились слезами.

— Ты плохая! Плохая! — притопнул истерично ногой.— Уходи!

— Петенька, да ведь я же не говорю, что из тебя не получится настоящий клоун. Наоборот, я уверена, из тебя он выйдет. У тебя все впереди. Перестань плакать! Твой отец убежден, что ты талант, только что тобой хвастался. Да-да.

Он заулыбался и уже смотрел на меня восторженно, а непросохшие от слез глаза сияли счастьем. Он обхватил меня и с жаром расцеловал:

— Ты хорошая! Хорошая! Я люблю тебя! — Отпрянул, засмутился.— Завтра меня впервые выпустят в манеж. Ты придешь?

— Нет, — сказала я, — потому что... в Клайпеду я собралась.

Еще секунду назад никуда я не собиралась, но, произнеся эту фразу, поняла, что да, действительно всерьез собралась. И поеду.

Он расстроился:

— Жалко.

— Может, и приду. — Я вспомнила, что поезд уходит ночью. — Чао! А то Ада там твоя заволнуется.

— Ада — хорошая, — полуутвердительно-полувопросительно произнес он и с любопытством воззрился на меня. Будто милостыню просил.

— Хорошая, — изобразила я улыбочку.

Он хлопнул в ладоши.

— Хорошая, хорошая! — И вприпрыжку побежал в закулисье.

А я вышла из цирка и поехала на Белорусский вокзал за билетом на поезд «Москва — Калининград», сутки ползущий через всю западную часть Союза и прибывающий в город мой, Клайпеду, в час ночи.

Дома, имея уже в кармане билет, маме ничего не сообщила, отдалив признание на утро, — пускай ночь поспит спокойно. А утром за завтраком как бы между прочим объявила, что собираюсь на пару деньков сгонять в Клайпеду. И мама посмотрела на меня таким раненым взглядом, что я хотела сказать, что пошутила. Промолчала, конечно, а мама заговорила:

— Всю жизнь, что ли, ты меня будешь мучить? Куда? Зачем? Что тебе там, дочка? Не надо! Угомонись. Ради меня, я прошу.

— В цирк пойду, — мрачно заявила я. — Вечером не жди, сразу на поезд.

Выходя на порог, оглянулась — уныло сидела она на диване, жалкая, не понимающая жизни своего ребенка, ничем ему не могущая помочь и не нужная ему.

Придя на Цветной, поднялась в буфет, попила кофе, потолкалась у бильярда в холле и все высматривала Петрушу. Пошла в манеж: коверный Леонардос репетировал с ним. Подосадовала на себя, что сразу не догадалась первым делом заглянуть сюда.

Ада восседала матроной в первом ряду возле форганга. Столкнулись глазами и прочитали во взглядах неприязнь друг к другу, но, естественно, вымучили улыбки приветствия.

— Ниночка, иди сюда, — поманила Ада и откинула для меня сиденье возле себя.

Пришлось подсесть.

— Чегой-то ты, радость моя, — елейно-ядовитым тоном затянула Ада, — каждый день к нам? Медом, что ль, намазано в Старом, в Новый бы сходила.

— Директор мне нужен, — соврала я. — Вчера его не было, сегодня жду.

— Он в административном отделении. Ты его не там ждешь.

— А тебе что? Что хочу, то и делаю! Может, я на Петрушу Пляскина посмотреть хочу!

— Смотреть-то смотри, — прошипела Ада, — да ручонками не трогай.

— Не пугай.

— А я, зайка, и не пугаю. — Ада вдруг взметнула руку: ладонь скрючена кошачьей лапой с выпущенными когтями, только здесь — алые от лака острые ногти. Резко мазнула меня по щеке.

Вскрикнув, я вскочила. Прислонила руку к щеке, посмотрела: на ладони следы крови. «Опять!» — вспомнились к чему-то Ялта и Симферополь.

Коверный Леонардос и Петруша повернулись с недоумением. Ада вызывающе посматривала на меня, полная грудь ее возбужденно вздымалась. Мне не хотелось склоки. Я достала носовой платок, вытерла ладонь и прижала его к щеке. Вновь села рядом с Адой. Она отстранилась от меня, привалившись к противоположному поручню кресла.

В манеже продолжилась репетиция. Петруша, кажется, не понял нашей размовки и был очень доволен, что мы обе сидим рядышком и смотрим на него. То и дело поглядывал в нашу сторону с улыбкой.

Леонардос приказал ему встать на барьер и вертануть заднее сальто. Петруша вспрыгнул на барьер, решив закрутить двойное, не рассчитал и пластанулся спиной на ковер. Издал дикий вопль и затих. Леонардос сам вскрикнул от неожиданности и склонился над ним перепуганно.

— Петька!

Ада вскочила и, невзирая на свой внушительный вес, ловко перевалилась через барьер, вопя истошно:

— Петру-у-уша-а-а!!!

И я встала.

Петруша лежал бледный и не двигался.

«Невозможно! Невероятно! — сжимала я кулаки и кусала губы.— И он! Нет! Нет!»

Ада навалилась массой на Петрушу, нещадно тиская его, рыдая в голос. Петруша закашлялся и начал елозить, отпихиваясь от девичьей туши. Ада приподнялась, но осталась сидеть на ковре. А Петруша мгновенно подскочил и запрыгал, как козлик, хлопая в ладоши:

— Поверили! Поверили! Всех провел! Какой я молодец!

Ада, сидя квашней, хлопала глазами. Я была шокирована не меньше. Леонардос сплюнул негодующе.

— Бездарный юмор!

Петруша замялся.

— Разве? Почему вы никто не смеетесь?

Леонардос отрывисто хлестнул его ладонью по щеке, как собачонку. Повернулся и молча ушел. Петруша держался за скулу и тарачил непонимающе глаза.

— Ада! — метнулся он к поднимающейся девушке. Та, размазывая подтеки косметики на лице, замахнулась. Петруша попятился и присел на борт. Оглянулся на меня, перескочил и сел возле, прижавшись. Его знобило.

— Чего Адочка плачет? Чего Леонардос рассердился? Я же пошутил. Я же хотел, чтобы было смешно.

Завсхлипывал.

Я приобняла его.

— Ну, не реви, успокойся. Неудачная у тебя получилась шутка, но ты не плачь. В другой раз будешь умнее.

Ада, склонив голову, как бычок, медленно надвигалась на нас, зрачками буравя исключительно меня.

— Выпусти его, стерва! Предупреждала же: не трожь чужое! Выпусти! — Она перелезла через барьер.

Петруша тут же отсел на несколько сидений подальше от меня и азартно наблюдал, что же произойдет. Ада вцепилась в мою одежду и вздернула остервенело. Я, обмякшая, как тряпичная кукла, не сопротивлялась. Она цапнула меня за волосы, но тут я опомнилась и саданула ее в пузо. И вот мы уже визжали, царапались, плевались и даже пытались укусить друг дружку.

В драке не заметили, как цирковой народ окружил нас. Некоторые пытались унять: кто словом, кто удерживая, но большинство откровенно потешались, даже делали ставки на победительницу. Я случайно заметила: Петруша хохотал, как припадочный, аж пополам перегибаясь, и хватался за живот от смеха. Я отпрыгнула от Ады, озверело мотнув рукой на него:

— Глянь!

Ада, изодранная, тяжело дышащая, повернулась к Петруше. Тот уже не смеялся, а вполне невинно хлопал ресницами.

Я поплелась в туалет. Вскоре явилась умываться и Ада. Мы плескались у разных раковин, которых имелось с десятков вдоль длинного узкого зеркала на кафельной стене, исподволь наблюдая друг за другом.

— Я от него ребенка жду,— хлюпала под струей воды Ада. В тоне ее уже не чувствовалось агрессии.

— Ты любишь его?

Она кивнула и скуксилась как перед плачем:

— Люблю.

— А он знает про ребенка?

Она отрицательно дернула головой.

— Надо сказать,— посочувствовала я.

— Стесня-я-а-а-аюсь,— проканючила она и разревелась.

— Ты-то?

Ада рыдала.

Я стояла молча, поглядывая то на себя в зеркало, то на недавнюю противницу, но ничего не предпринимала. Ада сама начала успокаиваться. Высморкалась обильно под краном, подставила лицо под электросушилку.

— Какие мы с тобой дуры!

— Это уж точно, вон как рожи-то расцарапали!

— Идиотки самые настоящие! — Ада усмехнулась, но вновь посерьезнела и опять начала всхлипывать.

— Ну, прекрати! — потребовала я. — Хватит, честное слово. А то я тоже сейчас расплачусь.

Ада прошагала ко мне и обняла.

— Нина, Ниночка, лапочка! Я тебя прошу, умоляю, оставь ты его, оставь мне! Ну, оставь! Оставь, пожалуйста!

— Так и будет, Ада, не сомневайся. Я только посмотрю сегодня вечером, как он дебютирует, и все. У меня билет на ночной поезд в Литву. Мне в Клайпеду необходимо срочно. А там и отпуск скоро кончится. В главке сообщили уже: Ярославль мне светит.

Ада расцеловала меня.

— Ладно, пойду обезьян кормить. Счастливо тебе!

Мы пошли в разные стороны. Я направилась в буфет, но тут меня окликнул ставший уже знакомым задорный тенорок. Я остановилась, оглянулась.

Петруша был один. Мастерил что-то замысловатое, наверное, для репризы.

Подошла, задержалась на пороге клоунской.

Он широко улыбался, и я невольно заулыбалась. «До чего же мил!» — подумалось.

— Волнуешься? — спросила участливо.

— Зачем? — искренне удивился он.

— Ну как же, понятное дело: дебют, первый выход в манеж и где — на Цветном!

— Я счастлив! Но... не волнуюсь.

Я поверила, что не волнуется и действительно счастлив.

— Петруша...

Он глянул на меня с веселым любопытством.

Я набралась храбрости.

— Ты знаешь, Ада беременная. Ребеночка ждет.

Он аж подпрыгнул от восторга и завертел пируэт.

— О-о-о! Как славно! Ребеночка!

— Ну вот, — отлегло у меня, — а она, глупая, боялась огорчить тебя.

— Разве это плохо — ребеночек? Детки такие забавные, я видел недавно одного в колясочке тут, на бульваре у цирка, такой малюсенький.

— Петр, мне кажется, ты не совсем понимаешь. Это твой ребеночек. Тебе жениться на ней надо.

— Ребеночек, — шепнул он все еще умильно и тут же уселся на стул, поджал на сиденье ноги. — Нет, при чем тут я? То есть я бы рад, но я же помолвлен! — И взхлеб заговорил: — С Галочкой! Она учится у нас же в цирковом училище, младше курсом. Мы уже год как помолвлены. Знаешь, Ниночка, как красиво было в церкви: свечки, певчие. Галочка сказала: скоро венчаться будем. Ты не говори только никому. Галочка заругает, велела скрывать до поры, а то папа ее рассердится. Папа у нее генерал, не хочет, чтоб дочь за клоуна выходила, а мы тайком!

— А как же Ада?

— Ада хорошая, — с удовольствием констатировал он и засиял пуще прежнего. — И Галя хорошая!

Я ела его глазами, а он легко выдерживал взгляд, не чувствуя, кажется, никаких угрызений. Прищурился шаловливо:

— Хочешь, я тебе в висок выстрелю?! — И, сделав страшные глаза, извлек из тумбочки увесистый пистолет. — Не пугайся, стартовый. Ну, давай выстрелю! Мне давно очень хочется. Попробуем, а? Один разочек, чуть-чуть, а? Здорово будет!

— Стреляй!

Он шало подскочил ко мне и приложил дуло к моему виску. Я видела в этот миг его неимоверно сумасшедшие глазницы. Будто важнее того, что происходило сейчас, он не испытывал никогда.

— Не смей! — молвила я, и тут же страшный грохот разломил череп. Острая боль разорвала ухо. Я скрючилась, зажав голову. Выпрямилась, опять согнулась.

Петруша остолбенело наблюдал за результатом опыта. Вдруг запричитал, но я не слышала ничего. В голове дребезжало, и в то же время казалось, что укутана она в ватное одеяло.

Я села на табурет. Постепенно шок проходил. На ладони мокрела кровь. Опять. Я криво улыбнулась, вытирая ее о джинсы.

— Какая ты, какая ты, — словно издали донесся горячечный шепот Петруши. — О, какая ты красивая!

— Перепонка барабанная лопнула, наверное, — едва различила я собственный голос. — Зачем ты это сделал?

— Ты просила. — Он обнял меня со спины. Я глядела на него через трюмо и лицезрела отраженным многократно в лопастях зеркала.

— Я не всерьез.

— Нет, ты просила! — упрямо повторил он и, зыркнув с восторгом на пи-столет, кинул его в тумбочку. — О! Как ты была красива в тот момент!

Я почувствовала напряжение мышц его живота.

— Пусти, — вздохнула прерывисто.

— Конечно. — Он освободил меня, но лишь затем, чтобы захлопнуть дверь, и ринулся обратно. Сгреб в охапку и перенес на кушетку.

— Не надо, не смей... — лепетала я без сопротивления, поддаваясь его губам, рукам.

В дверь кто-то постучал, раздался голос Леонардоса. Мы затихли. Леонардос чертыхнулся и ушел.

— Какая ты, какая ты была! — остервенело зашептал Петруша.

— Я люблю тебя, — бормотала я сбивчиво. — Я влюбилась в тебя в первый же момент. Люблю, люблю...

Через несколько минут я поднялась и принялась собирать разбросанную по комнате одежду. Петруша вальяжно лежал обнаженный. Одевшись, я взяла ватку и смочила ее в одеколоне. Засунула в ухо, все еще кровотоющее. Стала вертеть замок, но он никак не поддавался. Петруша босиком прошлепал ко мне, поцеловал в шею:

— Нина, прости.

— За что?

— Ну, за выстрел.

— Ах, за это... пустяки. Считаю, простила.

Он вдруг смутился.

— Нина...

— Чего еще?

— Знаешь, — мечтательно проговорил он, — мы будем сегодня кричать в манеже... Он мне: «Здравствуй, Бим!», — а я ему: «Здравствуй, Бом!» Он в костюме Белого, то есть Пьеро, а я — Августа, Рыжего. А? Мы древнюю репризу подготовили. Он: «Здравствуй, Бим!», — а я: «Здравствуй, Бом!» А?

— Оденься, ты нелеп без трусов, — улыбнулась я.

Он прикрыл низ живота и попятился:

— Не смотри на меня. Я стесняюсь.

Я толкнула дверь и бросила ему, выходя:

— С началом тебя!

Поднялась в дирекцию. И вправду решила посетить директора, хотя и не знала, о чем буду говорить с ним. Патриарх, живая легенда. Мне случайно повезло быть приближенной к нему чуть более других. Возле кабинета затрепетала, не решаясь постучаться. Пожилая элегантная секретарша подбодрила:

— Нашкодила? Ничего, заходи, он в духе.

Я стукнула один раз, да и то едва-едва, но немедленно услышала отчетливое: «Да!» Отворила дверь и вступила в чертоги.

Патриарх сидел в большом кожаном кресле, сцепив ладони в замок на по-

верхности огромного бюро, покрытого стеклом, и смотрел на меня чуть исподлобья. «А вдруг забыл, кто я?» — мелькнула мысль, когда встретила его суровый взгляд, но он залучился всегдашней своей слегка лукавой улыбочкой.

— Здравствуй, — неловко кивнула, зардевшись.

— Ай да браво! — хохотнул он, уличезрев мой побитый вид. — И это ты — лучший в мире человек?!

— Я, — кивнула традиционно.

Он называл меня «лучшим в мире человеком» после давней истории. Просматривалась я со своим незатейливым номером в церковке на улице Чехова — там находилась раньше репетиционная база Цирка на сцене. Перед выходом жалась в темноте какой-то келейки. Кто-то шагнул на меня, но отступил мгновенно, извинившись. Я обомлела: «Сам!» А он иронически сощурился: «Это кто у нас тут такой скрывается? Уж не самый ли лучший в мире человек?» «Да, — растерянно кивнула я, — это я». Он расхохотался и пошел, заняв место среди членов жюри. «Ну все», — убито решила я. Выступая, номер весь свой скомкала, и комиссия однозначно проголосовала против того, чтобы принять меня в труппу. «Годится», — перекрыл всех громкий голос старичка, и никто не смог ему возразить. С тех пор всякий раз, видя меня, он веселился: «А! Лучший в мире человек! А я-то думал: кто бы это?» Кажется, он так никогда не узнал моего имени, но разве это так уж важно.

Теперь я несмело начала:

— Вот... Здравствуйте...

— Вроде уже здоровкалась. Присаживайся. Значит, подралась? Мне уже донесли. Чего?

Я отмахнулась.

— Я не поэтому. Хотела вот что. Про Яшку... за Якова Пляскина попросить бы. И сама! Хочу быть клоуном, наверное. Попробовала в Ялте с Постным, но не сработалась...

— Не сработалась! — с угрозой перебил он меня. — Я давно замечаю это в новом поколении цирковых. Брыкаетесь! Гонор показываете. Для цирка это неприемлемо! Не может ученик сопротивляться мастеру. Не должен. Меня самого даже лупили. Но я терпел. Цирк, так надо. Так принято. Традиции. Цирк — великое терпение. Мышц. Нервов. Сердца. В цирке много незыблемых законов. Их надо золотом вышить. Закон: на борт спиной к манежу не садись. Старый артист, увидя такое, ударит пребольно, а молодому это кажется предрасудком. А манеж — наш стол, он и круглый, как стол, как каравай, он нас кормит, наш хлеб. Нельзя к столу, хлебу спиной. Подчинение монашеское в идеале должно быть. Только так станешь настоящим артистом цирка. А те, кто пытается разрушить устои, не хочет постигнуть канонов цирка, расшатывает традиции, отвергаются. Безжалостно.

Патриарх молча рассматривал меня. Я ждала.

— Преданных цирк не отринет, — негромко, но твердо произнес он и опустил взгляд, принявшись что-то писать.

Я подождала еще немного и бесшумно поднялась, на цыпочках дошла до двери, стараясь не скрипеть, отворила ее и оглянулась в надежде. Возликовала: успела заметить, как прячет старик всегдашнюю лукавинку улыбающихся глаз.

Притворила дверь за собой, утерла взмокший лоб.

— Проповедовал? — весело спросила секретарша.

— Еще как!

— Ничего, это вам, молодым, полезно.

— Точно. — Я пошла вон, отчего-то внутренне ликуя.

Старик умер через год или два после этого разговора, а может, и в том же году. Ему было уже лет восемьдесят. Всего-то на двадцать лет моложе цирка на Цветном.

До представления оставалось еще часа два, и я засела в одном из зрительских буфетов. В том, где торговали пивом. Увидела Андрея Гопа. Он кокетничал с буфетчицей.

— Я сегодня в первом отделении, восьмым номером. Гляньте, для вас лично буду стараться.

Заметил меня, подсел, заговорил совершенно другим тоном:

— Мандраж, не поверишь. Как в первый раз выхожу. Господи, хоть бы скорее началось...

— Пронесет,— хлопнула я его по сникшему плечу,— авось бывалый.

Он с тяжелым вздохом покачал головой.

— Ты-то будешь смотреть?

— Буду.

— На тебя загадаю. Все, побежал! — И умчался.

Я тянула пивко из пузатой граненой кружки и мыслила: «А ведь патриарх-то про Яшку мне ничего и не ответил... А что он мог решить? Яшка сам себя предал, именно себя и именно сам».

— Нина!

Вздрогнула невольно, увидев Петрушу, уже переоблаченного в клоунское. Покрутился передо мной, хвастаясь костюмом, плюхнулся возле.

— Хочешь, я, как в «Неуловимых мстителях», руки назад буду держать, а зубами кружку возьму и выпью до дна?

И он спрятал руки за спину и потянулся к кружке с пивом.

— Нет! Никогда не делай этого. Не пей ни за что!

— Почему? — обиделся он.— У меня крепкие челюсти. Я смогу!

— Челюсти... Акула тоже мне! Я прошу тебя, никогда не пей. Прошу... сынок.

Он прыснул:

— Сынок? Ты сынком меня назвала? Заметила? Оговорилась...

Я стушеввалась.

— Это так, случайно. Юмор. Пора тебе, зрители уже в буфет входят.

Петруша шутливо показал мне язык и побежал, помахав от дверей ладонью и послав воздушный поцелуй.

Прозвенел второй звонок. Зрителей набилось уже довольно много. И вдруг я различила на стене среди прочих цирковых афиш плакат акробатов-прыгунов на подкидных досках Лаевых. Издалека плохо виделась сама картинка, и я подошла вплотную. Наверху стояла Юлия. Она вся еще была в движении. Видимо, только что попала на плечи верхнего. Руки вскинута, и улыбается. Я узнала зрительный зал ростовского цирка. Только там были такие помпезные колонны и ложи с позолоченной лепниной. Зал напоминал скорее театральный. Значит, этот снимок был сделан когда-то в Ростове-на-Дону. Я почувствовала, что глаза плывут от слез, и уже не различала лиц на фотографии. Снять бы этот плакат. Однако буфет был полон людей, да и работники суетились поодаль. «Может, попросить?» — мелькнула мысль, но вдруг решила: «Пусть висит здесь, пускай все смотрят!» Да, ведь так Юлия как бы оставалась живой и жила в цирке, на публике, как и привыкла быть всю жизнь. Да, здесь ей было лучше, чем где-нибудь у меня в гостинице над кроватью, здесь ей было радостнее. Я огляделась и на противоположной стенке узрела Яшкин плакат «Популярный клоун Яков Пляскин: сегодня и ежедневно». Прозвенел третий звонок, и я удалилась.

Заглянула в форганг. Артисты как раз тянулись в манеж на парад. Несся в закулисье бравурный марш «Советский цирк». Салютнув Гопу, отправилась наблюдать за действием в боковой проход. Отогнула полог занавеса. Парад закончился, и великолепный Завен Мартиросян объявил первый номер. Начали партерные акробаты. Я не очень внимательно следила. Ждала выхода клоунов, антре. Заметила вдруг в проходе напротив Яшку. Устало привалился плечом и головой к стене. Иногда закрывал глаза, и тогда лицо его становилось мертвой маской. Открывал, безучастно водил взглядом по манежу незряче. Я поняла, что он тоже ждет клоунаду. Опустил лицо, мотнул головой и ударился нечаянно о стенку, скривился от боли. За спиной его возник внезапно бывший сотрапезник по собачьему вареву, все в той же телогрейке, но уже без оранжевой строительной каски. Туркнул Яшку в плечо: идем, мол, отсюда. Яшка отпихнулся гневно, но приятель не унимался. Яшка замахнулся, и тот, тьфукнув, ушел. Яшка оглянулся ему вслед. Стал опять смотреть в манеж. Я видела на его лице борьбу: уйти или остаться? Взмолилась: «Останься!» Загадала даже, если останется, то не все потеряно, все еще переменится и даже обязательно к лучшему.

Из форганга выскочили два клоуна, и я забыла про Яшку в ту же секунду. Бледный Пьеро вспрыгнул на барьер и воскликнул трагически: «Здравствуй,

Бим!» А на другом конце бортика подбоченясь стоял Рыжий. «Здравствуй, Бом!» — проголосил он пронзительно. И взвилось, соединяясь в выси бездонного купола: «Здравствуй, Бим!», «Здравствуй, Бом!», — зазвенев там постепенно угасающим эхом.

А где Яшка? Его не было. Сникла, но эти двое в манеже все голосили подурачки: «Здравствуй, Бим!», «Здравствуй, Бом!», — никак не попадая ладонью в ладонь друг другу. Плюх, бряк, опля-чупля! Рассмеялась... И не важно стало, какие мы там есть за форгангом цирковые. Не яважно, как там нам живется. Настоящая-то жизнь в манеже. И никогда не увидит зритель слез, не почувствует страданий артиста, ведь цирк существует испокон для того, чтобы каждый проходящий в него плакал лишь от счастья: «Боже, ведь это я — человек! — так могу летать, таким могу быть необыкновенным! Я все могу!»

«Здравствуй, Бим!», «Здравствуй, Бом!», — так было на этих вечных тринадцати манежных метрах сто лет назад. Так есть теперь. И будет всегда. Разрушат это здание и построят на его месте новое, более современное и прекрасное, но и в нем будет звучать еще целое столетие: «Здравствуй, Бим!», «Здравствуй, Бом!» Через век снесут и тот цирк и возведут еще более замечательный, какой мы себе теперь и представить не можем, но будет раздаваться прежнее, изначальное, неизменное: «Здравствуй, Бим!», «Здравствуй, Бом!».

И шоу будет продолжаться всегда.

Сегодня и ежедневно!

Цирк вечен — манеж круглый.



Пропавший заговор

ДОСТОЕВСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС 1849 ГОДА

Часть вторая. ИЗ ПОДПОЛЬЯ — С ЛЮБОВЬЮ

Глава 6. ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

В 1836 году Пушкин взял эпитафию к своей так и не пропущенной цензурой статье «Александр Радищев» слышанное им некогда суждение Карамзина: «Il ne faut pas qu'un honnête homme mérite d'être pendu». («Честному человеку не следует подвергать себя виселице» — именно так переводил эту фразу П. А. Вяземский.)

Слова эти можно трактовать по-разному. В них как будто различимо предостережение: честный человек в своих действиях и поступках не должен нарушать границ, преступив которые, он обрекает себя на неизбежную гибель. Но, с другой стороны, вынесенная в эпитафию карамзинская мысль заключает, если вдуматься, еще один оттенок. Честный человек имеет шанс оставаться таковым *даже* в том случае, если он будет защищать свои убеждения, не вступая в смертельную вражду с правительственной властью. Общество, воздвигшее пределом свободомыслия граждан государственный эшафот, может быть усовершенствовано без обязательного самозаклания достойнейших из своих членов.

Радищев, говорит Пушкин, будучи политическим фанатиком, действовал «с удивительным самоотвержением, с какой-то рыцарскою совестливостию». Однако, действуя таким образом, он в то же время «как будто старался раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы, — заключает автор, — указать на благо, которое она в состоянии сотворить?».

Сам Пушкин тщетно указывал на это благо: власть оказалась вполне равнодушной к его призывам. Ему удалось избежать эшафота и остаться честным человеком. Но он не ушел от судьбы.

...Никто из петрашевцев (может быть, за одним-двумя исключениями) не готовил себя на гибель. Никто из них не оставлял надежды рано или поздно убедить противную сторону в своей правоте. Ради этого они способны были *претерпеть*. Но никому из них не приходило в голову, что государство, всегда вольное обрушить на них свою карающую длань, обрушит ее в полную силу и со всего размаха. Такая реакция, если бы они могли ее предвидеть, показалась бы им неоправданной и чрезмерной.

Случаются времена, когда человеку — желает он того или нет — приходится подвергать себя виселице.

...Их, как уже говорилось, взяли на рассвете.

Правительственная поспешность выглядит не вполне понятной. Только-только после почти целого года внешнего полицейского наблюдения намечает-

ся верный успех. Смышленный агент почтил своим посещением всего семь «пятниц», а перед Липранди уже лежал изрядный список имен. С каждым днем он умножался: грядущее таило новые волнующие открытия. И вот у графа Перовского отнимали его законную добычу — в момент, когда предвкушение абсолютной удачи позволяло несколько отдалить скромную радость глотания. Кроме того, министр не без основания опасался, что у будущего суда неостанет серьезных улик: состав преступления заключался покамест в произнесении фраз, а не в совершении дел.

Принято считать, что царь торопился, потому что ему «не терпелось» расправиться с заговорщиками. Возможно, это естественное желание имело место. Однако вряд ли государь руководствовался чувствами. У него был положительный расчет.

Через несколько дней, 26 апреля, будет подписан высочайший манифест о вступлении русских войск в пределы Австрийской империи: надо было спасти пошатнувшийся союзный трон. Отправляясь в поход, Николай не решился оставить в тылу еще не взятую крепость.

Домик в Коломне был обречен.

21 апреля императору представляются обзор всего дела и список подлежащих арестованию лиц.

«...Дело важно,— выводит резюме августейший читатель,— ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Под «враньем», естественно, разумеются не донесения Антонелли, а содержание отраженных в этих депешах бесед.

Операция держится в величайшем секрете: даже коменданту Петропавловской крепости не дается загода знать о скорой присылке гостей.

«С Богом! Да будет воля Его!» — отрывисто заключает царь. Так напутствуют накануне битвы.

Страхи, впрочем, оказались напрасными: как удовлетворенно выразится Орлов, все было совершено «с большой тишиной».

Достоевского разбудят в четыре.

...Минуло ровно четыре года с того дня, когда в такой же предутренний час к нему явились *вестники славы* (Некрасов и Григорович — в восторге от «Бедных людей»). Нынешние посланцы также имели весть: по тайному сходству с ангелами добра они были облачены в голубое. (Этот цвет, как выяснится чуть позже, тоже являл некий скрытый намек.)

В Петербурге, как сказано, начинались белые ночи.

Господин майор С.-Петербургского жандармского дивизиона Чудинов не бросался на шею, но был любезен: как бы в награду за это незлобивая арестантская память произведет его в подполковники.

Два ночных визита обозначат уходящую в прошлое юность. Первый возвестит начало литературной судьбы, второй — отлучение от нее на долгие десять лет (многим казалось, что навсегда). Это — крушение, крах, катастрофа, насильственный разрыв всех существующих связей, мгновенный переход в официально узаконенное небытие.

Но он об этом еще не знает. Он шутит по поводу обнаруженного при обыске пятиалтынного («уж не фальшивый ли?»); шутка, однако, не вызывает ожидаемого веселья.

При нем окажется шестьдесят копеек: весь его капитал.

Впрочем, на первых порах деньги не понадобятся: принимающая организация угостит всех обедом и кофе на собственный счет.

Мраморная Венера при входе в заведение смутит кое-кого из вновь прибывающих. Хотя, если вдуматься, само присутствие античной богини в столь неподобающем месте должно было бы послужить ко всеобщему ободрению. Ибо тем самым уничтожались неблагородные слухи о практикуемом здесь тайном сечении (с такой кремационной подробностью, как внезапное опускание пола) — слухи, бесившие еще Пушкина, на которого сочувственно хихикающая молва указывала как не жертву.

Вообще ночь изобиловала сюрпризами. В зеркальной зале, где, перегово-

риваясь, толпились поднятые с постелей посетители «пятниц» (перед тем, как отправиться в *зазеркалье*), Достоевский с изумлением обнаружит младшего брата — Андрея Михайловича, ни сном ни духом не ведавшего о самом существовании Буташевича-Петрашевского (лишь наивное предположение арестованного, что это два разных лица, заставит Комиссию усомниться в его виновности). Старший же брат, Михаил Михайлович, в результате сей мелкой полицейской оплошности останется необеспокоенным еще целых две недели.

Штабс-капитана генерального штаба Кузьмина приведут с *дамой*: распоряжение графа Орлова, дабы из найденных на месте улик «ничего не было скрыто», исполнители поймут слишком буквально.

Полицейские неловкости, впрочем, вполне извинительные при отсутствии опыта массовых посадок (ночью будет захвачено 33 человека, позже к ним присоединят еще три десятка интересующих следствие лиц) — некоторые из этих «проколов» окажутся для арестованных благом. Статский господин «со списком в руках», о котором упоминает Достоевский (очевидно, генерал Сагтынский), как бы впад в задумчивость, позволит им заглянуть в документ: там будет подчеркнуто имя с демаскирующей карандашной пометой («агент по найденному делу»). «Так это Антонелли!» — подумали мы¹.

Не лишена основательности догадка, будто указанная небрежность была умышленной. III Отделение хоть таким образом постаралось досадить непрошеному помощнику, благодаря рвению которого общая полиция коварно присвоила дело, по праву принадлежавшее полиции тайной¹.

В отличие от мирового прототипа «агент по найденному делу» не кончит свои дни на осине и даже не будет заколот чьей-нибудь мстительной рукой. Правда, несколько позже учитель Белецкий, встретив на улице Антонелли (тот дружески поприветствует недавно освобожденного *приятеля*), нанесет ему пощечину, за которую немедленно проследует в Вологду. При этом он не будет ведать о том, что в одном из своих давних сообщений оскорбленное им лицо, между прочим, пометило: «Белецкий — это такое существо, которое так и напрашивается на оплеуху...» — еще одно из доказательств обратных угадок судьбы...

Ночные аресты не останутся незамеченными. Весть всколыхнет обе столицы. Хотя толки относительно намерений клубистов уничтожить церкви, «перерезать всех русских до единого и для заселения России выписать французов» окажутся, как выразится Хомяков, несколько преувеличенными, они произведут в обществе известный эффект. Через тринадцать лет, весной 1862-го, памятливая молва свяжет грандиозные петербургские пожары с тайным «нероновским» планом, якобы существовавшим у заговорщиков 49-го года...

Барон Корф со сдержанной гордостью сообщает, что на другой день после потрясших столицу катаклизмов император спокойно прогуливался по улицам «как всегда, совершенно один», а вечером почтил своим присутствием публичный маскарад. Шаг этот требовал известного мужества: под любой из масок мог в принципе скрываться еще не схваченный злодей...

В самый день ареста, 23 апреля, высочайше учреждается секретная следственная комиссия. Иван Александрович Набоков, старый солдат, участник войн с Наполеоном, недавно принявший необременительную должность коменданта Петропавловской крепости, назначается председателем. Генерал, еще не ведающий о том, что в грядущем столетии судьба произведет его в двоюродные прадеды знаменитого писателя (который в одной из своих книг родственно упомянет о доброте предка к необыкновенному узнику), окажется слишком прост для необходимых по делу письменных занятий. Поэтому это бремя возложит на себя один из членов Комиссии, шестидесятилетний князь Павел Петрович Га-

¹ Любопытно также указание на презрительное отношение генерала Сагтынского к собственной агентуре. В 1840-м он спрашивал Герцена, убежден ли тот, что в его окружении нет мерзавца, способного на донос. «Я честным словом уверяю,— говорит Герцен,— что слово «мерзавец» было употреблено почтенным старцем».

гарин. (Он оправдывает надежды: недаром именно ему в 1866-м будет доверено отправить на виселицу Дмитрия Каракозова.)

Кроме того, в Комиссию войдут: неприменный Леонтий Васильевич Дубельт (пятидесятишестилетний генерал от кавалерии будет представлять свое, преимущественно пешее, ведомство); товарищ военного министра (будущий военный министр и шеф жандармов) князь Василий Андреевич Долгоруков (сорок пять лет); начальник штаба управления военно-учебных заведений Яков Иванович Ростовцев (сорок шесть лет): «благородный предатель», в декабре 1825-го предупредивший нового государя о заговоре и незамедлительно донесший его участникам на таковой свой поступок.

Четверо военных и один статский генерал пожилого и среднего возраста займутся участью нескольких десятков молодых людей — титулярных советников, коллежских секретарей, капитанов, поручиков.

Пятидесятидевятилетний Иван Петрович Липранди мог почесть себя обделенным: виновник торжества был введен лишь во вспомогательную (под председательством князя А. Ф. Голицына) комиссию, ведавшую разбором монблана захваченных книг и бумаг.

За дело, однако, принялись дружно.

Глава 7. В НАПРАВЛЕНИИ СОДОМА

Обвинения против старца Зосимы

Поначалу заключенных расспрашивали устно, затем они писали в камерах письменные объяснения; наконец, приступили к формальным — по пунктам — допросам.

Призванные высочайшей волей для открытия чрезвычайных злодеяний, следователи на первых порах испытали немалые затруднения. Заговора не обнаруживалось: все сводилось к непозволительным разговорам и утопическим отвлеченностям. В худшем для обвиняемых случае это могло закончиться ссылкой в места не столь отдаленные.

Постепенно тучи начинают сгущаться.

28 апреля «раскальвается» Кропотов (которого иногда безосновательно именуют агентом Дубельта: скорее всего это отголосок запоздалых попыток III Отделения восстановить свою профессиональную репутацию). Затем следуют *исповеди*...

Заключенные, впрочем, ведут себя по-разному.

16 мая, утраченный обычным канцелярским (хотя и с идейной подкладкой) вопросом, исполнял ли он «в надлежащий срок предписанные религиею обряды», и усмотрев в оном грозное предвестие казни, начинает каяться Ахшарумов. Хладнокровно — раунд за раундом — выигрывает у Комиссии жизнь и свободу штабс-капитан Кузьмин. Корректно, стараясь никого не запутать, защищается Львов. К милости государя взывает Григорьев. Как на духу, открывает своим собеседникам душу (благо что только — свою) идеалист Баласогло. Упорно запирается Спешнев — и Комиссия за отсутствием отъехавшего на войну государя искушает наследника всеподданнейшим вопросом о возможности наложения на несговорчивого узника ножных желез¹.

Не привлекавший ранее следовательского внимания кредитор Достоевского становится едва ли не главной фигурой процесса.

Впрочем, о Спешневе еще будет случай сказать особо. Пока же коснемся темы, бесстрашно заявленной в недавней книге Л. Сараскиной «Одоление демонов»: вопрос, судя по всему, волнует культурный мир.

¹ Не исключено, что положительное согласие будущего Александра II на эту меру (со стыдливой оговоркой — опереться на исторические прецеденты) объясняется еще и тем, что он был осведомлен о фантастических слухах относительно его прикосновенности к замыслам заговорщиков.

В названной книге отношение Достоевского к Спешневу трактуется как мучительный, но сладостный недуг. Все прочие современники писателя, безусловно, меркнут пред тем, кто являл собой «роскошный букет из мужской красоты, чувственной энергии и демонического очарования». Потрясенный таким богатым ассортиментом брутально-эротических достоинств автор «Бесов» изо всех сил пытается *овладеть* этим хищным демоническим типом (то бишь «роскошным букетом из мужской красоты»). «Напомним на всякий случай,— писали мы в посвященной «Одолению демонов» статье,— что речь идет о Достоевском, а вовсе не об авторе «Портрета Дориана Грея».

Нет смысла повторять соображения, изложенные нами в упомянутых заметках. Любопытен, однако, сам феномен: он, как мы полагаем, стал зеркальным отражением «духа века сего»: «Это литературоведение с намеком, литературоведение с ужимкой, с томным заводом глаз, литературоведение с придыханием: оно, пожалуй, имеет богатую будущность»¹.

Статья имела некоторые полемические последствия. На нее (в изысканном жанре именуемом «сам дурак») обрушился г-н Кувалдин: этот анекдотический текст доставил нам немало веселья². Досаднее было, что статью не одобрил сам Борис Парамонов.

Друзья, имевшие удовольствие прослушать комментарий Б. Парамонова по «Свободе», смотрели на нас со сдержанной грустью. Разумеется, мы немедленно устремились к приемнику. Но, многократно отзвучав над просторами СНГ, укоризны Б. Парамонова канули в безднах вселенной. На робкие просьбы выслать канонический текст Прага и Нью-Йорк отозвались в том смысле, что взыскательный автор не может этого сделать, ибо упорно трудится над совершенствованием отдельных его частей. Этот оруэлловский довод производил сильное впечатление. Только после долгих напоминаний, что «работа над ошибками» (то есть над *уже опубликованным* текстом) есть исключительно факт личной творческой биографии Б. Парамонова, заветный голос достиг наконец наших ушей.

«Статья Волгина,— начинает Б. Парамонов,— исключительно некорректна: он объявляет работу Сараскиной «бабьей болтовней». Меж тем «исключительно некорректным» следовало бы признать заявление самого Парамонова: процитированных им слов в нашей статье нет. Впрочем, справедливо ли требовать точности от вольных сынов эфира?..

Б. Парамонов далее замечает, что был шокирован тоном нашей статьи «и проглядывающей за этим картиной российских научно-литературных нравов». Последние обличаются им с большой эlegantностью: «Я в ихних академических крысиных бегах не участвую». Парамонов резервирует место в ложе для почетных гостей.

Брезгливо разглядывая из своего далека наши скучные ученые лица, оратор не щадит и собственной подзащитной: «Пробудившаяся надежда прочитать за много лет по-русски что-либо интересное (в этом эпическом зачине брезжит нечто набоковское! — **И. В.**) сопровождалась некоторыми сомнениями: не сильно верилось, что уже известный мне автор потрясет основы. Мои сомнения, к сожалению, подтвердились».

Хотелось бы защитить Л. Сараскину от Б. Парамонова.

Пушкин возымел однажды желание поблагодарить министра народного просвещения С. С. Уварова за перевод на французский стихотворения «Клеветникам России». «Стихи мои,— скромно замечает поэт,— послужили Вам простою темой для развития гениальной фантазии». Можно сказать, что в отношении Б. Парамонова книга Л. Сараскиной сыграла такую же благотворную роль. Именно она (то есть книга) дала плодоносный толчок его собственным (впол-

¹ См.: Волгин Игорь. Возлюбленные Достоевского. О новейшем жанре в отечественном литературоведении. // «Литературная газета», 12 февраля 1997 г.

² Нашу реплику «Достоевский и проблемы шаманизма» см. в «Литературной газете» от 30.04.1997.

не заслуживающим пушкинского эпитета) озарениям. Чудесным образом подтвердилось, что книга Сараскиной — это «литературоведение с намеком»: чуткий Парамонов этому намеку немедленно вял. «Я сейчас с удовольствием (курсив наш. — И. В.) договорю то, что не сказала Сараскина...» — спешит обрадовать он российскую публику. И действительно — *договаривает*.

Парамоновский Достоевский куда более *крут*, нежели Достоевский сараскинский. Всю жизнь он, по мнению Парамонова, яростно «искоренял в себе некое темное влечение, природа которого была ему не ясна», но (победоносно заключает автор) «ясна нам, ученикам Фрейда!»

Не мы выбрали эту тему. И не мы «погналы волну» (alias: радиоволну). Но поскольку так получилось, о «темных влечениях», наверное, стоит потолковать особо.

Итак, если верить Парамонову, главной заботой Достоевского было то, что в приличном (литературоведческом) обществе именуют «одолением демонов». Иначе говоря, желание побороть свое гомоэротическое подполье. Очевидно, только оно еще и способно поддержать наш гаснущий интерес к автору «Карамазовых». (Хотя, как сказано в одном анекдоте — применительно, правда, к другому художнику, — мы любим его не только за это.)

Впрочем, «это» становится признаком хорошего тона: едва ли не вся мировая культура вытодится из названного источника. Талант, чья сексуальная ориентация остается убого-традиционной, не вызывает сочувствий. Перспективы у его обладателя далеко не блестящи. Ему всегда грозит обвинение в банальности и отсутствии подлинной страсти. Успехи у женщин больше не берутся в расчет. Да и сама преданность прекрасному полу нынче довольно смешна.

Напротив, в художнике, не слишком настаивающем на своих гетеросексуальных правах, всегда готовы усмотреть искру таланта. Если же это явный сторонник однополрой любви, титул гения ему обеспечен.

Гомосексуальность стала синонимом художественного успеха. В ней прозревают едва ли не единственную причину творческих откровений. Тайна искусства наконец-то обнажена. Разве только марксизм обладает таким универсальным подходом. (В этом смысле наш оппонент, безусловно, марксист.)

Не нам, правдиво поведавшим о страстных привязанностях юного Достоевского к его молодым друзьям (а также не скрывшим от читателя нравы, которые царили в военно-учебных заведениях¹), — не нам топтать ногами на Б. Парамонова. Тем более что проблема действительно существует. Однако для наших половых неопитов (внезапно пробудившихся от классических снов и больше всего боящихся, что их обвинят в сексуальном консерватизме), кроме *этой* проблемы, нет никаких иных. Заслышав, к примеру: «Друзья мои, прекрасен наш союз», — они готовы с пристрастием допросить песнопевца: что, собственно, он имеет в виду?²

Как же, однако, поступить с Достоевским?

Ошибка лидийского царя

Существует известный миф, согласно которому автор «Бесов» совершил надругательство над ребенком — девочкой двенадцати-тринадцати лет. Миф этот в историческом плане был генерирован весьма враждебной Достоевскому средой.

¹ См. в нашей книге «Родиться в России» главу «Хрупкие мужские дружбы».

² В свое время мы привели отрывок из неизвестного письма великого князя Константина Константиновича (будущего поэта К. Р.) к великому князю Сергею Александровичу (от 11 июля 1881 г.), где он упоминает о «литературном споре» с адмиралом К. Д. Ниловым, который отличался известного рода наклонностями: «Было несколько жарких схваток с Ниловым из-за братьев Карамазовых, il n'est pas à la hauteur (он не на высоте (фр.)). — И. В.), осмелился даже подметить на первых страницах нечто предосудительное в отношениях старца Зосимы к Алеше». Не подозревая тогда, что проблема станет столь актуальной, мы замечали: «Литературоведы, сделавшие целью своих академических штудий постижение гомосексуальных мотивов русской классической прозы, должны с благодарностью оценить этот подарок» («Октябрь», 1993, № 12, с. 160).

Но даже в этом столь выигрышном для обвинителей случае не намекалось, что предметом домогательств был *мальчик*. Между тем, если верить Б. Парамонову, дело должно было обстоять именно так. Если же верить Сараскиной (в том смысле, как ее сочинение предлагает трактовать Б. Парамонов), под угрозой подобных покушений находился сам автор «Двойника».

Действительно: в представленном нам тандеме Достоевский по отношению к Спешневу — лицо преимущественно страдательное. «Хищный» барин-аристократ полностью подавляет «смирного» беллетриста, который, как утверждает Сараскина, испытывает «всю страсть благоговейного ученичества, всю муку преданного обожания, доходящего до идолопоклонства, всю боль духовного подчинения» и т. д., и т. п. Не возникает сомнений, кто здесь является ведущим, а кто — ведомым, в ком заключено *активное*, мужское, начало, а кто женственен и исполнен *пассивного* ожидания.

Увы: «жизнь» не подтверждает этой игривой гипотезы.

«Я его мало знаю,— говорит Достоевский о Спешневе,— да, по правде, и не желаю ближе с ним сходитьсь, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому». Это вовсе не «формула подчинения». Скорее здесь предчувствие потенциального соперничества и противоборства. Что, собственно, и подтверждается дальнейшими словами воспоминателя (С. Д. Яновского): «Я знал, как Федор Михайлович был самолюбив и, объяснив себе это нерасположение тем, что, зная, нашла коса на камень, не настаивал на подробностях». Подробности сообщат нам позднее.

Спешнев «чересчур силен»: отношения равенства с ним невозможны. Но было бы в высшей степени унизительно под его холодно-спокойным взором вдруг «потерять лицо». Может быть, именно это соображение оказалось решающим, когда Достоевский размышлял, ввязываться ли ему в типографическую историю. Это проба характеров: «камень» и «коса» стоят друг друга.

Положение Спешнева в «семерке» не отмечено печатью явного духовного превосходства. (Во всяком случае, по отношению к Достоевскому.) Он практик, организатор и — что существенно — «держатель капитала». Его требование, чтобы Достоевский никогда не заговаривал о взятых им в долг пятистах рублях, хотя и благородно по форме, в нравственном отношении уязвимо.

С другой стороны, самолюбию Спешнева должно было льстить сближение с автором «Бедных людей». Достоевский — единственная бесспорная знаменитость в этом ничем не заявившем себя кругу. Спешнев, который писал матери, что, помимо личного счастья, ему «нужна слава, наука и поэзия», не мог не ценить такого знакомства. Двадцатисемилетний, но уже достигший некоторой славы писатель, пожалуй, производил на «сильного барина» не меньшее впечатление, чем тот на него. В их нравственном поединке (вхождение в «семерку» означало, что *вызов* принят) можно, конечно, различить следы «темных влечений»: не тех, однако, какие имеются в виду.

Достоевский мало пригоден на роль ведомого.

Во всех без исключения жизненных положениях автор «Преступления и наказания» демонстрирует деятельное, волевое, подчеркнуто мужское начало (несмотря на некоторые женственные черты, действительно свойственные его натуре). Он, если угодно, всегда выступает как «хищный» (то есть переламывающий ситуацию) тип. Начиная с раннего детства, когда в играх со сверстниками он неизменно принимает роль вождя индейских племен, и кончая всколыхнувшей Россию предсмертной Пушкинской речью, он заявляет о себе *как о лидере*, который пытается овладеть ходом вещей. Он идет ва-банк, порываясь на надежной офицерской карьере и устремляясь в неверные волны отечественной словесности; он прилагает титанические усилия, чтобы вырваться из Сибири и вернуться в Петербург; он возглавляет четыре крупных издания, чтобы с их помощью воздействовать на умы. Он тверд и настойчив в своих отношениях с властью; он надежен как друг; он, наконец, обладает железной писательской волей.

Что же касается жизни личной, то и здесь инициатива остается за ним. Обе его женитьбы (что бы ни говорила о первой из них дочь от второго брака) осуществлялись по его, а не чужому сценарию: он добивался, чего хотел. И даже драматическая развязка его романа с Аполлинарией Суловой (когда он оказался в довольно униженной роли) в известном смысле была следствием его абсолютного преобладания при начале этого адюльтера.

Его действительно влечет к людям, которые моложе его и которые, как правило, внешне красивы. До каторги он близок с Плещеевым, Пальмом, Филипповым, после — с Врангелем и Чоканом Валихановым¹, на исходе жизни — с Владимиром Соловьевым. Было бы странно, если б симпатий к ним у него не возникло. Ибо во всех без исключения случаях эти дружбы вызваны духовной приязнью. И как бы ни складывались его отношения с каждым из его молодых друзей, не приходится сомневаться, кто тут являлся ведущим, а кто — ведомым.

Лидером остается Достоевский и в кругу семьи (заботится о великовозрастном пасынке, поддерживает семью покойного брата и т. д.). Летом 1866 года он гостит в Люблино под Москвой, на даче у своей младшей сестры (там, кстати, пишется «Преступление и наказание»). Во всех дачных розыгрышах, импровизациях, инсценировках, которые устраивает веселящаяся молодежь, он берет на себя роли исключительно «хищные» — судьи, белого медведя-людоеда и, наконец, изображенного им (в почти «обэриутском» стихотворении!) доктора Левентала, который «прутом длинным, длинным, длинным» грозит высечь одного из юных участников этих семейных игр — племянника Достоевского Сашу Карелина. (Вниманию заинтересованных лиц: не усматривается ли в таком намерении дополнительно к уже известным нам вожделениям еще и садо-мазохистский момент? То есть, с одной стороны, подразумевается извлечение удовольствия из страдания ближнего, а с другой, — душевное сокрушение в связи с тем, что этот ближний — сын твоей единоутробной сестры.)

Все описания гетеросексуальных контактов (или подразумевающих их ситуаций) в его романах — относись эти сцены к Свидригайлову, старику Карамазову, Подпольному или Ставрогину — даются глазами насильника, а не жертвы. Повествователь — не «девочка», а «Ставрогин». В более широком смысле он всегда Раскольников, но никогда не старуха. Что из этого следует? Совсем не то, в чем хотят нас уверить доверчивые «ученики Фрейда».

Б. Парамонов полагает, что сексуальное поведение Достоевского (в том числе и в его беллетристических воплощениях) определялось «мотивом Кандавля». (Этот лидийский царь опрометчиво приглашал друга полюбоваться прелестями своей жены, в результате чего и поплатился жизнью.) Читатель, конечно, уже смекнул, кто здесь есть кто. Только в присутствии соперника-друга автор «Двойника» способен испытать острое сексуальное чувство. Только наличие тайно желаемого *третьего* может поддерживать робкое счастье двоих.

Надо думать, те муки ревности, которые претерпевал Достоевский, прибыв в Париж «слишком поздно», — это не более чем вид сексуальной мимикрии. Конечно, он тайно вожделел к ни разу не виданному им студенту-испанцу, увлекшему Аполлинарию Сулову в пучину порока. Его признание в том, что он испытал «гадкое чувство» (облегчение!), когда понял, что его соперник «не Лермонтов», только подкрепляет гипотезу. Разумеется, брошенный русский писатель прежде всего жаждет духовного противоборства. Но выясняется, что на *этом* поприще Сальвадор ему не соперник. Остается лишь пожалеть, что каба-

¹ Так, на слова Чокана Валиханова: «Вы, конечно, знаете, как я к Вам привязан и как я Вас люблю», — он отвечает встречным признанием: «Вы пишете, что меня любите. А я Вам объявляю без церемоний, что я в Вас влюбился. Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам, и Бог знает, как это сделалось». «К счастью, — замечали мы по этому поводу, — эти взаимные объяснения не отразились пока на репутации неосторожных корреспондентов». («Октябрь», 1993, № 11, с. 113.) Наш оптимизм оказался слишком поспешным.

льеро так быстро *слинял* и не сопроводил бывших любовников в их странном (и вполне целомудренном) итальянском вояже: это сообщило бы путешеству ю еще большую пикантность и остроту.

Бешеная вспышка ревности к Анне Григорьевне (уже на исходе их брака!) — с *кровавым* срыванием медальона и тщетным поиском в оном несуществующе го мужского портрета — тоже, очевидно, притворство чистой воды. Куда ком- фортнее чувствовал бы себя Достоевский, когда бы вдруг оказалось, что порт- рет действительно существует и розыгрыш, предпринятый Анной Григорьев- ной, — не шутка, а горькая явь!

Попытку Достоевского вытащить из нищеты своего соперника, учителя Вергунова, несчастного возлюбленного его будущей (первой) жены, Б. Пара- монов также относит к области эротических игр. И впрямь: какие еще мотивы (кроме, разумеется, «мотива Кандавля») могут двигать недавним каторжником, выразившим опрометчивое желание остаться не с истиной, а со Христом?

Для иллюстрации приверженности Достоевского к *ménage à trois* нам пред- лагается ссылка на «Вечного мужа». Пример не очень удачен. Ловчее было бы указать на таких героев Достоевского, как Лебезятников и Виргинский: ветре- ность жен возбуждает в обманутых мужьях сильное уважение к неверным суп- ругам. Надо думать, они (то есть мужья) — бессознательные «ученики Фрейда».

В связи с этим хотелось бы сделать Б. Парамонову один презент.

«Приятно и немного блудно...»

Вспомним героинь Достоевского, которые обладают некоей странной при- вычкой: они не вполне равнодушны к своим конкуренткам. «<...> Она пишет мне,— говорит Аглая о Настасье Филипповне,— что в меня влюблена, что каждый день ищет случая видеть меня хоть издали». Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых» осыпает сексапильную Грушеньку ласками в высшей степени двусмысленными.

«— Вот я нижнюю губку вашу еще раз поцелую. Она у вас точно припух- ла, так вот чтоб она еще больше припухла! (! — **И. В.**), и еще, еще... <...> Гру- шенька, ангел, дайте мне вашу ручку, посмотрите на эту пухленькую, малень- кую, прелестную ручку <...> я вот целовать ее сейчас буду, и сверху и в ладош- ку, вот, вот и вот!»

Нас вполне удовлетворила бы версия, что на месте Грушеньки должен бы находиться жених Катерины Ивановны, брат Дмитрий, если бы мы не ведали об ее настоящем предмете — брате Иване.

«Проклятый психолог» Достоевский оказывается куда изощреннее наив- ного (как, впрочем, и его будущие поклонники) лидийского царя. Он предпочи- тает загадывать собственные загадки.

Заметим попутно, что лесбийские мотивы (коль скоро о них зашла речь) неизменно сопряжены у Достоевского с именем *Катя*. Стоит вспомнить юную княжну, носящую это имя в «Неточке Незвановой», — ее нежную дружбу с главной героиней романа. О Катерине Ивановне из «Братьев Карамазовых» было говорено выше. Эти *Катерины* всегда «аристократичнее» тех, кто слу- жит объектом их чувственных изъяснений. Такой иерархический акцент, по- видимому, неслучаен. Не связан ли выбор «лесбийского» имени с императрицей Екатериной II?

Давно подмечено, что имена романых героев Достоевского, как правило, исполнены художественного смысла. Так, его Петры (Лужин, Валковский, Вер- ховенский-младший, Миусов и др.) оказываются как бы «последышами» царя- реформатора: они символизируют собой худшее, что «грозный властелин судь- бы» внес в русскую жизнь. Екатерина — имя в некотором отношении тоже зна- ковое.

Известно, что, несмотря на присущие ей мужелюбие, «седую развратницу на троне» (как именовал ее автор «Былого и дум») не обошла и специфическая

слава Сафо. Родители не без некоторого смущения отдавали своих хорошеньких дочерей во фрейлины императорского двора. Утверждают, что Дмитриев-Мамонов, женившийся на одной из них, подверг чувствительное сердце императрицы двойному удару.

На закате своих дней, замечает живший в 1786—1796 гг. в Петербурге и имевший доступ к придворным кругам Франсуа Массон (его «Секретные записки о России», весьма популярные на Западе, не были большим секретом и для любознательных россиян), «потонувшая в похоти и моральной грязи грешница не находила себе ни в чем большего удовлетворения, как в «лесбийском грехе» в сообществе своих приближенных блудниц: камер-фрейлины Протасовой и польской графини Браницкой, причем братья Зубовы и Салтыков являлись зрителями». К. В. Валишевский также упоминает о «позорных наклонностях и привычках» северной Кибелы. Добросовестно воспроизводя сведения, сообщаемые Массоном, он целомудренно заключает, что ему «претит разбираться в этих отвратительных осуждениях».

Пушкин, как всегда в таких случаях, обходится легкой усмешкой:

Старушка милая жила
 Приятно и немного блудно,
 Вольтеру первый друг была,
 Наказ писала, флоты жгла
 И умерла, садясь на судно.

«Вольтеру первый друг была...» — говорит Пушкин, разумея доверительную переписку двух знаменитых современников. О философических склонностях императрицы не забывает и Массон. Поведая о тайных ночных мистериях, совершаемых в интимных покоях Малого Эрмитажа (куда, помимо указанных выше лиц, приглашались также «несколько доверенных горничных и лакеев»), наблюдательный француз добавляет, что подробности этих оргий «принадлежат другой книге, куда более непристойной, чем эта...». Екатерина, по его просвещенному мнению, «была таким же философом, как Тереза». Автор имеет в виду знаменитое сочинение эротико-порнографического толка «Thérèse-philosophe», героиня которого достигла высокого искусства в забавах, приписываемых русской императрице. Но о Терезе наслышан и Достоевский.

«Сверх того, — говорит герой «Игрока» о мадемуазель Бланш, — она познакомила меня с Hortense, которая была слишком даже замечательная в своем роде женщина и в нашем кружке называлась Thérèse-philosophe...» Повествователь ставит здесь многоточие: «Нечего об этом распространяться». Он, очевидно, надеется, что читателю ясен его намек.

Достоевский собирался писать роман из екатерининской эпохи. Он был, по-видимому, неплохо осведомлен о подробностях минувшей исторической жизни, не исключая ее закулисной стороны — дворцовых сплетен, анекдотов, легенд. Затевал ли он с помощью ономастических намеков некоторую литературную игру? Об этом трудно судить. Однако за неимением термина предлагаем наречь описанный выше филологический феномен «букетом императрицы».

...Хотя младенческий лепет г-на Кувалдина, конечно, несопоставим с круглым интеллектуальным слогом Б. Парамонова, у обоих авторов можно обнаружить некую общую точку. Так, г-н Кувалдин высказывает блистательную догадку, что наши соображения о книге Сараскиной были продиктованы исключительно мотивами низкой зависти. (О существовании прочих мотивов — в частности, «мотива Кандавля» — простодушный г-н Кувалдин скорее всего не подзревает.) Б. Парамонов также склоняется к этой гипотезе. Для опытного текстолога не составит труда обнаружить общий источник. С отличным остроумием замечается, что, «пока Волгин ходил вокруг да около этого горячего молока, предаваясь академическим раздумьям», Сараскина взяла да и «застолбила участок».

Тут любопытна не только старательская фразеология, но и (благодаря все тому же источнику?) осведомленность Б. Парамонова в наших домашних делах.

Однако мы не обольщаемся относительно того, что автор удостоил воззрения наши робкие опыты на «застолбленной» ныне стезе. Поэтому продолжим свои хождения вокруг горячего молока¹, совмещая их по мере возможности с академическими раздумьями.

«Загадочные существа»
(Совершенно запретная тема)

В русской классической прозе тема эта впервые затронута Достоевским. Причем в высшей степени осторожно, не без оглядки на правила приличия и цензуру (что иногда совпадало). Однако с явным расчетом на то, что внимательный читатель сможет при желании распознать эту систему *повествовательных намеков*².

В «Записках из Мертвого дома» изображен «один молодой арестант, чрезвычайно хорошенький мальчик» — некто Сироткин. Он, как признается повествователь, возбудил в нем «особенное любопытство». «Глаза у него были голубые, черты правильные, личико чистенькое, нежное, волосы светло-русые». Сироткин кроток и инфантилен: не пьет, не играет в карты, ни с кем не ссорится, «глядит же на вас как десятилетний ребенок». При этом он любит полакомиться калачиком или пряничком; с удовольствием «показывает» себя в подаренной ему кем-то из его доброжелателей красной рубашке. «Ремесла он не имел никакого, но деньги добывал хоть понемногу, но часто». Над Сироткиным посмеивается (впрочем, весьма добродушно) вся каторга. При криках одобрения и с неподдельным талантом он исполняет женские роли в каторжном театре. «Очень мил», — говорит о нем повествователь тоном завязанного театрала: как будто речь идет о балеринах Мариинки³.

Читателю сообщается, что людей, подобных Сироткину, было в остроге «человек до пятнадцати» и что, «если позволят обстоятельства», автор еще вернется ко «всей этой кучке». Но, судя по всему, обстоятельства не благоприятствовали. Слово «опущенные» еще не вошло в русский блатной язык. Да и в «официальной» литературе явление пока не описано. (В свою очередь «официальное» литературоведение тоже предпочло его не заметить. Даже К. Мочульский, который, по свидетельству современника, «прошел через тяжелый путь гомосексуализма», в своей зарубежной книге о Достоевском не затрагивает проблемы, хотя с теплотой отзывается о Сироткине.)

Каторжная проституция, преследуемая начальством, изображена в «Мертвом доме» не только в отталкивающих фигурах так называемых «суфлер» (как они именуются на острожном жаргоне) — Чекунды и Двугрошовой, но и в привлекательном образе того, с чьей помощью «любовители прекрасного пола прибегают к другим средствам, совершенно безопасным».

Сироткин, «существо загадочное во многих отношениях», — прежде всего жертва: его место — в ряду «униженных и оскорбленных». Среди тех, кто пользуется его добротой (или, как выражается Достоевский, с ним «дружен»), встречаются существа не столько загадочные, сколько ужасные. «Мне иногда представлялось, — говорит рассказчик об одном из них, — что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною». Этот «исполинский паук» (насекомое, которое у Достоевского — символ жестокого сладострастия) — татарин Газин, в чьем портрете отчетливо различимы черты сексуального ма-

¹ Заметим, что само «молоко» не представляется нам столь горячим, как Б. Парамонову. Трудно, однако, противиться его могучей метафористике.

² Гомосексуальные мотивы в творчестве Достоевского были впервые отмечены в нашем докладе на научной конференции в Музее-квартире Ф. М. Достоевского (С.-Петербург) осенью 1994 г. О гомозотических коллизиях в царской семье, с которыми, как мы полагаем, было связано приглашение Достоевского в Зимний дворец, см.: Волгин И. Л. В виду безмолвного потомства... Достоевский и гибель русского императорского дома. Октябрь, № 11—12. 1993. *Его же*. Метаморфозы власти. Покушения на российский трон в XVIII—XIX вв. М., 1994.

³ Интересно, что у Довлатова в «Зоне (Записки надзирателя)» сценическим успехом также пользуется местный «Сироткин»: в бурной реакции зрителей учтена его лагерная специальность.

ньяка, точнее — садиста-педофила. «Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственно из удовольствия: заведет ребенка куда-нибудь в удобное место; сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарезет ее тихо, медленно, с наслаждением».

Так — уже не впервые — является Достоевскому «слезинка ребенка»¹.

Существует еще один персонаж, к которому автор относится с видимой теплотой. Это — Миколка из «Преступления и наказания». Если не ошибаемся, он никогда не рассматривался в интересующем нас смысле. Между тем повествовательные намеки, имеющиеся в романе, позволяют сделать некоторые предположения на этот счет.

Миколка — такой же полуробенек, как и Сироткин («дитя несовершеннолетнее»; «невинен и ко всему восприимчив» и т. д.). Он — из раскольников, «да и <...> просто сектант». В деревне, из которой Миколка совсем недавно явился в Петербург, он «у некоего старца под духовным началом был». То есть, как можно понять, воспитывался в строгой духовной аскезе. «Петербург на него сильно подействовал, особенно женский пол, ну и вино. Восприимчив-с, и старца, и все забыл», — такими словами следователь Порфирий Петрович изъясняет Раскольникову поведение Миколки. Далее следует довольно туманная фраза:

«Известно мне (говорит Порфирий Петрович. — **И. В.**), его художник один здесь полюбил, к нему ходить стал, да вот этот случай и подошел!» «Случай», о котором идет речь, убийство старухи-процентщицы Алены Ивановны и ее сестры Лизаветы. Миколка, к вящему изумлению Раскольникова, внезапно признается в этом злодействе. «Случай» *напрямую* (самым непосредственным образом!) сопрягается с «полюбившим» Миколку художником, с историей их отношений. А они, очевидно, таковы, что арест по подозрению в убийстве воспринимается потрясенным Миколкой как возмездие за грех. Отсюда — и неудачная попытка самоубийства, и муки пробудившейся совести. («Старец теперь опять начал действовать, особенно после петли-то припомнился») Несложно понять, какая причина побуждает Миколку к акту морального мазохизма — самооговору, решению взвалить на себя чужую вину («страдание принять»). Неиспорченная, неразвращенная, «народная» душа соприкасается с «Европой», воплощенной в городе Петра — с «вином», «женщинами» и, наконец, художником-содомитом. Запад губит Миколку в таком же смысле, в каком он, Запад («наполеоновская идея!»), губит Родиона Раскольникова. Такова, очевидно, та идеологическая модель, которая в сознании автора соединила две эти разнородные фигуры².

Ведомо ли было автору «Преступления и наказания», что некоторые его товарищи по эшафоту наблюдали «Миколок» в самой, можно сказать, натуральной жизни?

Н. А. Момбелли описывает в своем уже известном нам дневнике любопытный случай, приключившийся с ним зимой 1844 года.

Во втором часу ночи, возвращаясь из поздних гостей, автор дневника тихо брел по пустынному Загородному проспекту. Падал редкий снег. Элегически настроенный поручик думал «о суете мирской, о ничтожности нашего земного существования». Его высокие думы прервал одинокий извозчик, который «жалостливым тоном» стал умолять Момбелли, чтоб тот нанял его. Поручик указал назойливому вознице, что не нуждается в его услугах, ибо желает пройтись. Однако извозчик («дюжий парень лет 18 или 19 <...> ни бороды, ни усов не видно еще») не оставлял своих просьб. Он стал уверять потенциального седока, «что сделает для меня все, чего только пожелаю, что останусь им доволен, что он угодит уж мне и т. п.». Несколько удивленный Момбелли, «не поняв дела», естественно, поинтересовался, что молодой извозчик имеет в виду. После дол-

¹ Вспомним, что сильнейшее потрясение его детства — изнасилованная и умершая вследствие этого девочка — тоже сопряжено с сексуальным преступлением.

² Да и Екатерина II, продолжательница дела Петра, с ее предполагаемыми влечениями à la Thérèse-philosophe — тоже, разумеется, «дева Запада».

гих экивоков (собеседник не желал подъезжать ближе) следует неожиданная (во всяком случае, для Момбелли) развязка: «Извозчик тоже остановил лошадей и с своего места в середине улицы произнес вполголоса следующую гнусную фразу: «Не хотите ли в ж...?»»

«Подобная пакость,— замечает Момбелли,— сначала сильно поразила и рассердила меня». Но природная любознательность берет все-таки верх. Поручик вступает в беседу с необычным простолюдином (по имени Василий) и выясняет при этом, что «мужеложству научили его офицеры еще в деревне лет 5 назад, и они же посоветовали ему отправиться в Петербург промышленать этим товаром».

В отличие от юного Миколки юный Василий был совращен до своего появления в Петербурге. Но совратители его — те же взлелеянные петровской цивилизацией господа, которые погубили Миколку. (В этом смысле «офицеры» и «художник» суть понятия одного вида.) Достоевский, несомненно, увидел бы здесь подтверждение своей художественной правоты. Разврат не может исходить оттуда, где пребывает в своей нравственной целокупности «мужик Маррей». Объектом противоестественных покушений (как социального, так и физиологического толка) становится сам народ-богоносец. И те, что *страшно далеки* от него, выступают в роли растлителей и убийц. (Недаром ставрогинский грех квалифицируется как Богоубийство.)

Русский XIX век застанет содомию преимущественно в господской среде. (Хотя ранее в допетровские времена иноземцы наблюдали ее и в недрах трудового крестьянства.) Пушкин, как уже говорилось, склонен отнестись к ситуации иронически:

Содом, ты знаешь, был отмечен
Не только вежливым грехом...

Стихи эти посылаются Ф. Вигелю, эротические предпочтения которого не являлись для Пушкина секретом.

Не знаю, придут ли к тебе
Под вечер милых три красавца...

Сам поэт готов извинить «вежливый грех» при условии соблюдения при- ятелем в их дружественных сношениях строгого сексуального нейтралитета:

Тебе служить я буду рад —
Стихами, прозой, всей душою,
Но, Вигель,— пощади мой зад!

Достоевскому в отличие от Пушкина не до шуток. Он, как всегда, *глобализирует* проблему, рассматривая ее в контексте взаимоотношений интеллигенции и народа. Гомоэротическое насилие (в особенности если оно носит *межсословный* характер) способно, по его мнению, сыграть роль социального бу- меранга.

Существует малоизвестное свидетельство, принадлежащее возглавителю Русской зарубежной церкви митрополиту Антонию (Храповицкому): в первоначальной рукописи «Братьев Карамазовых» наличествовал один исключенный позже по настоянию Победоносцева и Каткова мотив. Это — глубинная причина убийства, совершенного Смердяковым. Согласно указанной версии (А. Храповицкий ссылается на не вполне ясный источник), «Смердяков был подвергнут Содомскому осквернению своим отцом Федором Павловичем». Возможно, это очередная легенда, хотя надо признать, что подобный поступок не противоречил бы моральному облику Карамазова-старшего. Брат Иван Федорович растлеивает Смердякова духовно; Федор Павлович (допустим) — физически: обе вины *возвращаются* к растлителям — в виде безумия и смерти.

Но даже если этот мотив отсутствовал в планах романа, в окончательном тексте присутствует другой — со скрытой гомосексуальной окраской. Об этом тоже не было сказано до сих пор.

«Уж не пародия ли он?»

В. В. Розанов однажды догадался: «помещик Миусов, очевидно, — переделанная фигура Чаадаева». «Отдаленный ответ образа Чаадаева...» — согласился с ним капитальный А. С. Долинин. Действительно, второстепенный персонаж «Братьев Карамазовых» (хотя бывают ли в подобных романах второстепенные лица?) — «типичный» западник: человек «просвещенный, столичный, заграничный»; европеец, либерал, знававший Прудона и Бакунина. Сходство, как видим, сугубо идеологическое. С реальным Чаадаевым Миусов не имеет, кажется, ничего общего.

Но взглядимся внимательнее. Миусов, как и «басманный философ», старый холостяк. В монастырь к старцам его сопровождает «дальний родственник, очень молодой человек, лет двадцати, Петр Фомич Калганов». Повествователь сообщает, что юноша готовился поступить в университет, «Миусов же, у которого он *почему-то* пока жил, *соблазнял* его с собою за границу <...>» (курсив наш. — И. В.)

Обратим внимание на подчеркнутые слова. Неопределенность причины проживания Калганова у его «дальнего родственника» корреспондирует с как бы неакцентированным «соблазнял»: у Достоевского меж тем не бывает случайной семантики.

При Чаадаеве (который в отличие от Миусова был сравнительно беден), как известно, тоже обретался племянник (М. И. Жихарев) и тоже — очень отдаленного с ним родства. Комментаторы знаменитых жихаревских воспоминаний отмечают, что «звание племянника словно исчерпывало вопрос о мотивах сближения светского молодого человека и ставшего московской достопримечательностью отставного гусарского офицера». В устной традиции относительно «мотивов сближения» существует бóльшая определенность. Называются, впрочем, и другие кандидатуры.

Надо ли говорить, что Чаадаева, Миусова и Калганова зовут одинаково: все они носят имя «державца полумира»?

Загадка Чаадаева (в том числе ее интимная сторона) занимала современников. У него не было женщин. Тот же Жихарев утверждает: Петр Яковлевич признавался ему, что всегда чувствовал «отвращение к совокуплению». (В свете этого пушкинское «мы ждем с томленьем упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свиданья» по отношению к адресату послания выглядит некоторой бестактностью.) Он адресует *даме* не любовные, а философические письма.

Достоевский собирался писать роман, одним из героев которого должен был стать Чаадаев. Как и в случае с Екатериной II, автор прекрасно знал мифологию, относящиеся до избранного лица. Если Миусов — это «переделанный» Чаадаев, то и живущий при *богатом* помещике Калганов — фигура отнюдь не случайная.

В облике Калганова подчеркнута молодость: «еще очень молодой»; «очень молодой», «мальчик»; у него — «отроческий голос» и т. д. В свои двадцать лет он ведет себя как ребенок. Он говорит и смотрит «совсем как дитя и нисколько этим не стеснялся, даже сам это сознавал»; он «плакал, точно был еще маленький мальчик» и т. д., и т. п. Одет он «всегда хорошо и даже изысканно», «щегольски». Внешность его также весьма примечательна. Он «хорошенький собою»; «лицо его было приятное»; «с очень милым беленьким личиком и с прекрасными густыми русыми волосами» и т. д. «Какой он миленький, какой чудесный мальчик!» — восхищается Грушенька, воспринимающая Калганова едва ли не в качестве подруги. «Смотри, какой хорошенький, — говорит она Мите, — я ему давеча головку расчесывала; волосики точно лен и густые». Характер у Калганова женственно-переменчивый, «капризный»; он часто конфузится, но при этом «всегда ласков».

Все эти выразительные подробности не покажутся избыточными тем, кто знает, какое значение придает Достоевский деталям. Но еще важнее другое.

Автор «Карамазовых» строит внешний образ Калганова совершенно по

той же «схеме», что и образ Сироткина. Зарабатывающий себе на жизнь каторжный «проститут» — двойник (если не прототип!) бескорыстного кандидата в студенты.

Конечно, Калганов материально (а возможно, и нравственно) зависит от «дальнего родственника». Характер их отношений, по-видимому, не может укрыться от Карамазова-отца, который перед визитом «к старцу» обращается к Миусову с довольно двусмысленным рассуждением: «Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении,— насмешливо заметил Федор Павлович,— или грешков боитесь? Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит».

Впрочем, «грешки» Миусова, может быть, не столь велики. Ибо не совсем ясно, кто кого соблазнил. Юноша сам влечется навстречу своей судьбе. Он с легкостью «меняет» достаточного и светского Миусова на опустившегося, но опять же не бедного Максимова.

К женскому полу племянник Миусова совершенно равнодушен. В Мокром Грушенька «очень ласково на него поглядывала; до приезда Мити даже ласкала его, но он как-то оставался бесчувственным». Когда Грушенька целует его спящего, он вмиг открывает глаза и «с самым озабоченным видом» спрашивает: где Максимов?

«— Вот ему кого надо,— засмеялась Грушенька <...>»

Грушенька смеется безобидчиво, от души. Женским чутьем она понимает, что на Калганова невозможно сердиться. В отличие, скажем, от желающего «пострадать» Миколки он явление вполне органичное. При этом вовсе не обязательно привязанность Калганова к Максиму носит плотский характер. Диапазон отношений бывает здесь довольно широк.

Активные «гомосексуалы» либо безразличны Достоевскому («художник» в «Преступлении и наказании»), либо вызывают у него моральное неприятие и физическое отвращение: «паук» Газин, Федор Павлович Карамазов (если принять упомянутую выше версию). Они не только носители inferнального зла, но и — в своей бытовой ипостаси — внешне неопрятные, отталкивающие существа. Иное дело — Сироткин, Миколка или Калганов. Это — «погибшие, но милые создания», по-детски наивные жертвы дурных обстоятельств. Как же не усмотреть в столь резком распределении симпатий и антипатий «темные влечения» автора? Однако не будем уподобляться нашим несносным наблюдателям. Или тем современникам, что путали творца «Мертвого дома» с Александром Петровичем Горянчиковым, который, как известно, отбывал каторжный срок за убийство жены.

Достоевский — не М. Кузмин, не А. Жид, не Ж. Жене и даже не Е. Харитонов. Для него гомоэротические мотивы не являются ни преобладающими, ни даже существенными. Как и у Пушкина, они звучат у него эпически ровно и отстраненно. В них нет надрыва, выдающего интерес. (Его рулеточные страсти куда неистовее тех, которые направлены якобы на «одоление демонов».) Это взгляд извне, а не изнутри. Женская проституция волнует его в гораздо большей степени, нежели мужская. Оскорбленные девочки (а вовсе не мальчики) являются предметом его художественных забот. Его не интересует внутренний мир «половых неформалов» — в той мере, в какой тот станет литературным Клондайком для писателей XX века. Здесь Достоевский безнадежно отстал. Человек у него не суть производное от своей сексуальной ориентации. Газин — злодей не потому, что он гомосексуал, равно как и не потому, что — татарин. «Уклонисты» Достоевского несводимы к своим «уклонениям»: они не менее *социальны*, чем и его «натуралы». Их аномалии не есть проекция его подавленных грез. Автор отнюдь не благоговееет перед своими романскими красавцами (как, впрочем, и перед их прототипами), а твердой рукой указывает им место в творимом его писательской волей художественном пространстве. И если его герой, как пушкинская Татьяна, «учудит» что-то для самого автора неожиданное, не нужно слишком всерьез воспринимать авторское недоумение. Достоевский *владеет* своим художественным миром — и зло здесь названо злом,— даже если оно пытается сохранить «осанку благородства».

«...Иной, высший даже сердцем человек,— говорит Митя Карамазов,— и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны <...> Что ему представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота?»

Содом — концентрированное воплощение зла, претендующего на эстетическое признание. Автор «Карамазовых» имел случай *лично* соприкоснуться с Содомом — причем именно там, где идеал Мадонны запечатлен с немеркнувшей мощью и красотой.

Под небом Италии

В 1873 году В. В. Тимофеева (О. Починковская) служила корректором в редактируемом Достоевским журнале «Гражданин». Ей приходилось вести долгие беседы с писателем. В своих воспоминаниях она приводит один его монолог:

«— *Они* там пишут о нашем народе: «дик и невежествен... не чета европейскому...» Да наш народ — святой в сравнении с тамошним! Наш народ еще никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неаполе, мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения — юноши, почти дети. Отвратительные, противестественные пороки — и открыто при всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому что для *нашего* народа тут смертный грех, а там это — в нравах, простая привычка,— и больше ничего».

Достоевский говорит — «в Риме, Неаполе». Он приехал из Рима в Неаполь 24 сентября 1863 года и пробыл там неделю — до 1 октября. Больше в этот город он не возвращался никогда.

Рим и Неаполь — пункты его безумного — вместе с Аполлинарией Сусловой — путешествия по Италии. Тогда, после парижской катастрофы, покинутый любовник, он предлагает ей, тоже брошенной ее новым возлюбленным, совместный вояж. Они отправляются в путешествие «как брат с сестрой»: это взаимное дорожное истязание вполне в духе автора «Игрока».

Надо полагать, «гнуснейшие предложения» делались Достоевскому в отсутствие дамы. В дневнике Сусловой вскользь упоминается об их ссоре в Неаполе. (Любопытна причина: «Дело было из-за эмансипации женщин».) Можно предположить, что эта размолвка была не единственной. Что, естественно, влекло Достоевского к одиноким прогулкам — в расположении духа, как можно догадаться, не лучшим. В момент, когда все его попытки восстановить status quo (надо признать, довольно неуклюжие) отвергались жестокосердой подругой, вряд ли он мог утешиться признанием своей сексуальной привлекательности, сделанным к тому же в такой затейливой форме.

Больше всего его потрясает то, что авторами «гнуснейших предложений» являются «юноши, почти дети». В жутком сне Свидригайлова сновидцу подмигивает развратным глазком совершеннейшее дитя: «Как! Пятилетняя!» (Знаток сексуальных перверсий, конечно, услышат здесь: «*пятилетний*».) «Дети странного народа, они сняты и мерещатся»,— сказано в «Дневнике писателя»: глава называется «Мальчик с ручкой».

О неаполитанских «мальчиках с ручками», которые «кувыркаются перед вами, развертывают свои лохмотья и показывают голое тело», говорит и А. Сулова в своем дневнике. Про «гнуснейшие предложения» Достоевский, очевидно, предпочитает ей не сообщать. Зато 23-летнюю Тимофееву-Починковскую он не щадит: «И эту-то «цивилизацию» хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней воевать буду с ними — не уступлю».

Когда собеседница Достоевского (близкая в то время к «прогрессивным кругам») позволяет себе робко возразить, что цивилизацию хотят перенести вовсе *не эту*, Достоевский вскипает: «Да непременно все ту же самую! <...> Потому что другой никакой и нет. Так было всегда и везде. И так будет и у нас, ес-

ли начнут *искусственно* пересаживать к нам Европу. И Рим погиб оттого, что начал пересаживать к себе Грецию... Начинается эта пересадка всегда с рабского подражания, с роскоши, с моды, с разных там наук и искусств, а кончается содомским грехом и всеобщим растлением».

Именно осенью 1863 года у автора «Преступления и наказания» возникают первые замыслы будущего романа. И, может быть, после Неаполя он впервые сопрягает коллизию, которую можно условно обозначить как «художник — Миколка» с нравственным выбором России и в конечном счете с ее судьбой.

Но вернемся к нашим Кандавлам.

Следственный эксперимент

(К вопросам методологии)

Один из героев «Бесов», бескорыстно уюкошив другого, в отчаянии восклицает: «Не то, не то!» Тихон в том же романе на удивленный вопрос Ставрогина, какие еще изменения надобно сделать в его претендующем на абсолютную искренность документе, смиренно отвечает: «Немного бы в слог».

Так вот. Допускаем, что в собственные намерения автора «Одоления демонов» входило «не совсем то». Ее могли даже несколько покоробить чересчур *откровенные* парамоновские радиопохвалы. Но так ли уж виноват Б. Парамонов, не пренебрегший возможностью перевести кокетливые авторские иносказания на свой терминологически внятный язык? Один пронизательный интерпретатор в «Братьях Карамазовых» тоже по-своему «расшифровал» тонкие философемы брата Ивана. (Излишне объяснять, что пример носит чисто функциональный характер.) Вопрос, кто есть «главный убивец», имеет в настоящем случае сугубо академический интерес.

Так страшные «демоны» обращаются на наших глазах в золотушных бесенков «с насморком» — что, впрочем, и было предречено.

Поучительно, однако, взглянуть на историческую действительность по-парамоновски¹.

В начале 1860-х годов, трудясь над переработкой «Двойника», автор сделал следующий черновой набросок:

«Мечты старшего (Голядкина.— И. В.): мы бы жили, близнецы, в дружбе, общество бы умирительно смотрело на нас, и мы бы умерли, могилы рядом.

— Можно даже в одном гробе,— замечает *небрежно* младший.

— Зачем ты заметил это *небрежно*? — придирается старший».

Нельзя ли усмотреть здесь мотив *гомогенной некрофилии*? (Дарим термин всем желающим вполне бескорыстно.)

«Робби,— говорил «божественный Оскар» одному из самых верных своих «мальчишек»,— мне бы надо иметь большую гробницу из порфира, чтобы и ты там когда-нибудь почил. А как зазвучит труба Страшного Суда, я перевернусь и шелпу тебе на ухо: притворимся, Робби, будто мы не слышим».

Да, к автору «Двойника» следует приглядеться попристальнее. И, между прочим, задуматься о том, какими истинными причинами вызвано его сожительство под одним кровом с красавцем Григоровичем — во время написания «Бедных людей». А участие в сугубо мужской бекетовской «ассоциации» (совместное проживание плюс ведение общего хозяйства)? Все это, видимо, неспроста. Да и вообще: задуманный им в юности роман из венецианской жизни — не носил ли он по случаю имя известной новеллы Томаса Манна?

Демоны, однако, преследуют не только того, кто так и не порадовал нас

¹ В одной из недавних своих работ Б. Парамонов с приличествующей грустью объявил, что Достоевский «кончился вместе с коммунизмом» и что темы «Достоевского-мыслителя ныне, думается, утратили актуальность» («Звезда», 1997, № 12, с. 235). Еще недавно нас пытались уверить в том, что Достоевский как мыслитель «кончился» с падением самодержавия и крушением капитализма, а некоторый общественный интерес представляют только его «непрезвзойденные» художественные картины. Тут Б. Парамонов полностью сходится с автором статьи «Партийная организация и партийная литература»: недаром выше было замечено, что он (разумеется, Б. Парамонов) — настоящий марксист.

еще одной «Смертью в Венеции». Распространим наш мысленный эксперимент на то злонамеренное сообщество, к которому имел неосторожность принадлежать автор «Двойника».

Антонелли доносит: «Известное лицо (т. е. Петрашевский.— **И. В.**) заметил, что оно было любимо многими женщинами, но что оно само никогда не позволяло себе увлекаться...» Если «известное лицо» и заводило интригу, «то чисто с политической целью, чтобы увлечь ту женщину своими идеями» (прямо будущий нечаевский «Катехизис»!) — и эта затея почти всегда удавалась, ибо оно (т. е. известное лицо) «встретило более двадцати человек мужчин, которые вышли из школы увлеченных им женщин с совершенно человеческими идеями». Полагаем, наш знакомец Кандавл был бы совершенно доволен.

«Особенно замечательна привязанность Петрашевского к Толю,— продолжает доносить Антонелли,— когда он, будучи чрезвычайно воздержан, согласился один выпить целую бутылку шампанского, для того чтобы Толь после ужина оставался дома, а не ехал куда-нибудь кутить». В доме у Петрашевского прожигают несколько тихих и безответных существ мужеского, разумеется, пола. (Они будут привлечены к делу, но по слабости вины, как-то: разливание чая во время ночных собраний — вскоре выпущены на свободу.) С другой стороны, попытку Петрашевского явиться во храм облеченным в женское платье (о чем уже говорилось выше) тоже можно трактовать в специфическом смысле.

Впрочем, подозрительны и другие. На вечере, устроенном Антонелли, они забываются до того, что не только поют и хохочут, но, как сообщает бдящий агент, даже танцуют друг с другом. Что за странная пара — живущие вместе Кузьмин и Белецкий? А известная нам уже тройца — хозяйка квартиры, где собираются дуровский кружок? И на каких таких основаниях уже после каторги Дуров, полуослепший и, как сказано в «Мертвом доме», «без ног», находит приют в гостеприимной Одессе — все у того же красавчика Пальма? Зачем на следствии Львов пытается выгородить Момбелли? (Нравящееся Достоевского к Спешневу было усмотрено в попытках аналогичного рода.) Не тот ли это разговор, который тоже *пропал*?

Мы не зря упомянули о следствии: оно идет своим чередом.

Глава 8. ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕРНОЙ ПРОЗЫ

«Требовать явки обвинителя...»

Кто больше всех поражает Комиссию (и вместе с ней — будущих историков) — так это сам Петрашевский.

В письме Белинского к Гоголю, которое было оглашено Достоевским на вечере 15 апреля, говорится, что для России явилось бы благом исполнение хотя бы тех законов, которые уже существуют. В отличие от автора письма, не питающего иллюзий на этот счет, Петрашевский тщится привести указанную мысль в исполнение. Дотошный знаток русского гражданского и уголовного права, имеющий за плечами ценный, хотя и не очень утешительный тяжёлый опыт, главный обвиняемый тотчас указывает Комиссии на ряд допущенных ею грубых процессуальных нарушений. Не смущаясь отказом предоставить ему для справок Свод законов, он по памяти восстанавливает дарованные ему права и изъясняет следователям их обязанности.

Петрашевский настоятельно требует, чтобы в соответствии с законом ему и его товарищам было в кратчайший срок предъявлено формальное обвинение. Он не признает в действиях, повлекших его арест, состава преступления и именуется все дело *procès de tendences* (суд над намерениями). Она считает, что пал жертвой злостного политического навета: настаивает на том, чтобы ему назвали имя доносчика и предоставили копию самого доноса. Мало того, дойдя до последних степеней вольномыслия, этот первый русский правозащитник требует отвода «штатского» члена Комиссии (то есть — князя Гагарина), приняв его по

неосведомленности за представителя III Отделения и корыстного инспиратора всего дела¹.

Надо ли говорить, что подобный, не отмеченный доселе в российских судебных анналах способ защиты поверг «господ почтеннейших следователей» в глубочайшее изумление. И одновременно — вызвал у них чувство острой моральной тревоги. Они не могли допустить, чтобы в государстве самодержавном законы трактовались столь *непосредственным* образом. Дух был для них гораздо важнее буквы, а он, этот дух, решительно восставал против мелочных казуистических придинок впавшего в непозволительную гордыню узника, который мог, по их мнению, просить только об одном: о снисхождении.

Презумпция невиновности не входила в круг юридических представлений высоких следователей. Желание арестованного нарядить вместо уголовного следствия некий ученый комитет и заняться философскими прениями о достоинствах и недостатках социальной системы Фурье — это скромное пожелание могло представляться членам высочайше учрежденной Комиссии не только ни с чем не сообразным, но даже обидным.

Между тем узник переходит в наступление.

Отчаянная инструкция на русско-французском языке, зубцом от вентилятора запечатленная на кусках отбитой от стены штукатурки (за обнаружение которых бдительный страж рavelина был удостоен награды в 25 рублей) — эти *клинописные* улики окончательно утвердили следователей в их подозрении, что они имеют дело с лицом чрезвычайно опасным. «Требовать явки обвинителя... не отвечать на вопросы неопределенные, неясные, вкрадчивые... Задавать вопросы следователю. Стараться по возможности стать в положение нападающего...» — все эти наспех нацарапанные, но тщательно продуманные тактические указания доказывали, что за притворной искренностью заключенного № 1 кроется дьявольский расчет опытного конспиратора и интригана².

Уличенный автор великодушно признал свою вину «в порче казенного имущества» (и даже попросил отнестись окраску поврежденной стены на его счет), однако категорически отверг обвинение в незаконных посягательствах, сославшись, по обыкновению, на одну из статей уголовного кодекса, где, в частности, говорится, что «содержащиеся под стражей до объявления приговора акты совершать могут».

Он совершает *акты*: на протяжении всего следствия не дает следователям скучать. Он несколько раз меняет линию поведения. Убедившись, что его правозащитные аргументы падают в пустоту, он пытается воззвать не только к закону, но — к разуму: обратиться своих обвинителей в собственную веру. Когда же и это не удается, подследственный пытается возбудить в следователях дремлющую государственную жилку. Он разворачивает перед ними — с настоятельной просьбой довести эти мысли до сведения государя — ряд блистательнейших проектов, осуществление которых позволит, по его мнению, резко увеличить доходы казны. Так, в частности, отстаивается финансовая выгода невозбранного курения на городских улицах и подробно исчисляется сумма, которую сможет выручить правительство по введении этой, только на первый взгляд либеральной, но по сути вполне охранительной меры.

Далее следуют уже совершенные интимности. Выбрав, как говорится, время и место, Петрашевский открывает следователям сугубую тайну: доверительно сообщает им, что он — пишет стихи, и даже приводит образцы своих поэтических вдохновений. Можно, однако, предположить, что как раз такое *признание* мало обрадовало господ генералов.

Речь заключенного становится все бессвязнее — и в ней, как ни странно,

¹ Ошибку Петрашевского можно объяснить тем, что он был отделен от прочих арестованных, некоторое время находившихся в зеркальной зале III Отделения. Поэтому первое время он не догадывался, что доносчиком был Антонелли.

² Через много лет заключенный в Петропавловскую крепость и лишенный письменных принадлежностей С. Г. Нечаев будет выводить свои заявления и даже прошения на высочайшее имя на стенах камеры, откуда их аккуратно переписуют и подошьют к делу.

вдруг прорываются рыдающие интонации грядущей молодежно-сентиментальной прозы: «Вырастет зорюшка... Мальчик сделает... дудочку... Дудочка заиграет... Придет девушка... И повторится та же история, только в другом виде...»

И, наконец, на свет появляется документ, в котором завещатель, будучи «в полной памяти и уме», заявляет о своем неперменном желании вверить наследственные капиталы главе французских фурьеристов Консидерану, а свои будущие останки — анатомическому театру, причем из кишок или жил покорнейше просит изготовить музыкальные струны. (Схожий порыв романтического утилитаризма будет отмечен Достоевским в «Бесах», где капитан Лебядкин желает употребить свою кожу для барабанов Акмолинского пехотного полка.)

Завещание содержит также пункт в пользу больницы умалишенных. Это могло бы навести на мысль о тайной боязни завещателя сменить камеру рavelина на комнату в доме скорби. Некоторые из заключенных действительно были близки к подобной метаморфозе.

Ахшарумов и Достоевский свидетельствуют о бывших у них в крепости галлюцинациях; есть указания на начавшуюся у Дебу душевную болезнь. Двое из подследственных (В. П. Катенев и В. В. Востров) сойдут с ума и умрут в больнице, а один (Н. П. Григорьев) начнет впадать в «меланхолическое умопомешательство» (от которого он не излечится никогда) — еще до того, как его, привязанного к столбу, продержат несколько секунд под ружейным прицелом. Ахшарумов говорит, что им вслух зачитывали статьи закона, угрожающие смертной казнью (вид психологического давления не самый слабый). Вряд ли можно сомневаться в том, что большинство подсудимых за восемь месяцев одиночного заключения вынесли жесточайшее нравственное истязание. Что не снимает вопроса и о других методах воздействия.

«Пытка существует, вот горестное открытие, которое сделал», — обращается Петрашевский к Военно-судной комиссии; последняя, удовлетворившись словесными разъяснениями коменданта крепости, положила записать в протокол, что «извет Петрашевского оказался не имеющим никакого основания».

«Одно из самых темных и загадочных пятен в истории следствия — это проблема пыток...» — пишет Б. Ф. Егоров, добавляя, что «если пытка электрической машиной и ядами — плод воспаленного воображения узника, то успокоительные и усыпляющие лекарства, морение голодом и жаждой, угроза физической расправы — вещи, возможно, реальные».

И впрямь описанные Петрашевским симптомы весьма похожи на те, какие могут быть вызваны действием наркотических веществ. Естественно, судьи не обязаны были рассматривать подаваемые узнику медицинские пособия (дабы утишить его нрав и отклонить от совершения негодных поступков) в качестве средства для выпытывания нужных показаний. Формально блюдя закон, воспрещающий пытку, тюремная психиатрия имела шанс обойти его, не нарушая приличий.

Забываясь о товарищах, Петрашевский указывает высокой Комиссии, что от длительного тюремного заключения могут пострадать наиболее чувствительные из них. В том числе — Достоевский, которому еще и до крепости «едва ли призраки не мерещились». Уповая на потенциальную интеллигентность великолепной пятерки, Петрашевский осторожно напоминает господам следователям о том, что природная одаренность есть достояние общественное, и добавляет в скобках: «талант Достоевского не из маленьких в нашей литературе».

Это единственная фраза во всем девятитысячестраничном деле, где упоминается о литературных заслугах автора «Двойника».

Сотворение имиджа, или Работа над текстом

Сам Достоевский касается своих литературных занятий вскользь. Он нигде не говорит о себе как об известном писателе. Очевидно, полагает, что это обстоятельство не укроется от внимания любознательных членов высочайше учрежденной Комиссии.

Во всяком случае, один из них, «энтузиаст» Яков Иванович Ростовцев, с

творчеством подследственного знаком. Генерал в молодости и сам был не чужд «высокого и прекрасного», что не помешало ему, как уже говорилось, *предупредить*. Бывший элегик, он не грозит заключенному земными карами, но полагает более уместным воззвать к его авторской гордости: «Я не могу поверить, чтобы человек, написавший «Бедных людей», был заодно с этими порочными людьми».

Хотя следующая за этим фраза — о том, что государь уполномочил Ростовцева объявить Достоевскому прощение в обмен на его, Достоевского, чистосердечие — не находит подтверждения ни в одном из известных источников, мы не рискнули бы настаивать на ее безусловной апокрифичности. Император Николай Павлович в уважение к литературе мог позволить себе подобную милость. («Тебя знает император...» — сказано в известном послании.) Хотя Комиссия «с радостным для русского народа чувством» поспешила отметить, что в среде злоумышленников «не является ни одного лица, стяжавшего себе не только значительность, но даже известность», ее более просвещенные члены могли бы догадаться, что автор «Бедных людей» — в общественном плане — самая «авторитетная» фигура процесса (правда, с *государственной* точки зрения соображение это представлялось совершенно ничтожным). Демонстративное отделение молодого дарования от малосимпатичных и к тому же никому не известных «порочных людей» позволило бы не только засвидетельствовать отеческую снисходительность верховной власти, но и произвело бы должный политический эффект. Спектакль, разыгранный Ростовцевым после отказа Достоевского от сотрудничества — с уходом в другую комнату и патетическими выкриками из-за кулис («не могу больше видеть Достоевского!»), — также вполне правдоподобен. «Благородный предатель» ищет союзников среди людей действительно благородных: их слабость оправдала бы его собственное прошлое.

Свою линию поведения Достоевский выбирает с самого начала и следует ей до конца.

Если Петрашевский апеллировал преимущественно к закону, то его союзник почти полностью игнорирует эту призрачную реальность. Причем не только в силу слабого знания своих юридических прав, но, очевидно, еще и потому, что трезво сознает их неосуществимость. Пребывая, если воспользоваться счастливым выражением Ю. Лотмана, «в военно-бюрократическом вакууме», он уповает главным образом на здравый смысл, на то, что, спокойно и беспристрастно вникнув в его показания, его обвинители сами убедятся в неосновательности своих подозрений.

Он не взывает к милости и не выказывает раскаяния.

Тщательно (можно сказать — художественно) он выстраивает собственный образ, равно как и образы других участников драмы. (Поправки, зачеркивания и вставки, которыми изобилуют его показания, свидетельствуют, что автор отнесся к этой работе творчески — *как к тексту*.)

Нет, он не старается убедить следователей, что, будучи человеком образованным, старался убежать от разговоров на жгучие политические темы. «Зачем же я учился, зачем наукой во мне возбуждена любознательность...» Он берет на себя *эту* вину, дабы, во-первых, заслужить следовательское доверие, а во-вторых, пользуясь достигнутым успехом, обойти обстоятельства более щекотливые.

«На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная». Разумеется, он не может оставаться равнодушным к этим событиям, но это вовсе не означает, что его интерес носит характер одобрительный. Что же касается до отечественных применений пагубного европейского опыта, то здесь он вполне тверд: «Не думаю, чтоб нашелся в России любитель русского бунта» («бессмысленного и беспощадного» — могла бы продлиться фраза; счастье, что другая — «а хотя бы и через восстание!» — застряв, как уже говорилось, в памяти мемуариста, так и не достигнет следовательских ушей). Он не жалеет резких слов в адрес цензуры и не страшится упомянуть о ее бессмыслен-

ных и жестоких придирах. При этом он тактично дает понять, что подобная, ничем не оправданная словобоязнь прежде всего не в интересах самой власти (и может быть даже «обидой правительству»). «...Литературе трудно существовать при таком напряженном положении. Целые роды искусства должны исчезнуть...» Не в позднейших статьях и не в «Дневнике писателя», а именно здесь, на тесном поприще тюремной словесности, он впервые говорит власти о ее собственных выгодах — о необходимости следовать идеалам справедливости и чести.

Он ненавязчиво втолковывает членам Комиссии, что фурыеризм — «это система мирная» и что она «очаровывает душу своею изящностью...» Но — тут следует очень характерное добавление — «эта система вредна... уже по одному тому, что она система». Он вряд ли лукавит: неприязнь к теоретическим отвлеченностям сохранится у него на всю оставшуюся жизнь.

Итак, образ почти сотворен. Перед лицом мужей государственных, призванных отделить добро от зла, выступает человек искренний и доброжелательный, вовсе не скрывающий своих сокровенных убеждений. Он даже готов признать, что «если *желать лучшего* есть либерализм, *вольнодумство*, то в этом смысле, может быть, я вольнодумец».

Так строится самозащита. Не менее искусно проводится и защита других.

Уже приходилось говорить, что Достоевский не сообщил следствию ни одного компрометирующего кого-либо из его товарищей факта. Он упоминает только о том, что уже известно. Но даже и в этом случае он пытается смягчить возможный следовательский удар.

Он категорически отрицает, что Головинский утверждал, будто освободить крестьян нужно бунтом. И после словесных настояний Комиссии задумчиво добавляет, что, по-видимому, говоривший «выражал эту идею как факт (то есть как объективную возможность.— **И. В.**), а не как желание свое», ибо он, Головинский, всегда был «далек от бунта и от революционного образа действий». Его, Головинского, лишь сильно занимает сам крестьянский вопрос, но при этом он, безусловно, предпочитает меры мирные, а отнюдь не сокрушающие. «Вот с какой стороны я знаю Головинского».

Тимовский? «Его поразила только одна изящная сторона системы Фурье». (Опять упор на социальную эстетику!) Мало того: Тимовский показался вопрошаемому «совершенно консерватором и вовсе не вольнодумцем». (Вспомним, что относительно самого себя Достоевский позволяет более рискованные формулировки.) И вообще Тимовский «религиозен и в идеях самодержавия».

Дуров? О, это человек самый незлобивый, но, к несчастью, болезненно раздражительный. Поэтому «в горячке» способный иногда говорить «против себя, против своих задушевных убеждений». Сами же убеждения не должны вызывать у следователей никаких опасений.

Филиппов? В нем масса прекрасных качеств (следует перечисление). Он, правда, еще очень молод и оттого горяч и самолюбив (приводится трогательный анекдот о Филиппове, который в доказательство своей неустрашимости холерой молодецки съел горсть зеленых рябиновых ягод). Отсюда предоставляется сделать вывод, что если Филиппов даже и предложил литографию, то это был такой же мальчишеский жест, как и описанное выше гастрономическое безумство.

С особенным чувством говорит Достоевский о брате (Михаил Михайлович был взят 5 мая — «в обмен» на выпущенного наконец брата Андрея Михайловича). Он самым решительным образом отрицает хотя бы малейшую прикосновенность его к делу. Это он, младший брат, виновен во всем: ввел Михаила Михайловича к Петрашевскому, на «пятницах» которого брат, впрочем, не проронил ни слова. У брата осталась на воле семья — совершенно без средств, и поэтому «арест должен быть для него буквально казнию, тогда как виновен он менее всех».

«*Совершенно откровенных* сношений не имел ни с кем, кроме как с братом моим...» — скажет Достоевский, отвечая на вопросные пункты: нет основа-

ний ему не верить. Думает ли он меж тем о главной опасности, которая может обнаружить себя в любую минуту и погубить его?

Пора вспомнить *о типографии*.

Глава 9. «ГДЕ НЕ ЛЮБЯТ ГУТЕНБЕРГА...»

Злоключения актера Бурдина

В Государственном архиве Российской Федерации (чье новое каркающее название ГАРФ немногим благозвучнее, чем старое цокающее ЦГАОР) хранится дело, озаглавленное по форме: «О помещике Николае Спешневе». Однако эта находка вовсе не та, которую втайне ждешь, то есть не то большое следственное делопроизводство, задолго до крушения империи загадочным образом исчезнувшее из императорских архивохранилищ. Документы, отложившиеся в ГАРФ, принадлежат III Отделению: в них зафиксированы результаты его собственной деятельности. И результаты эти — ошеломляют.

Итак, вновь обратимся к архивам.

31 июля 1849 года Леонтий Васильевич Дубельт предписывает подполковнику корпуса жандармов Брянчанинову «отправиться завтра 1-го августа в 6 часов утра в квартиру служащего в Министерстве внутренних дел Николая Александровича **Мордвинова**, сына сенатора, квартирующего в доме Кокошкина на Воскресенской улице, арестовать его, опечатать все его бумаги и книги и онья с ним вместе доставить в III Отделение Соб. Его В-ва Канцелярии». Хотя имя Мордвинова известно едва ли не с первых допросов, с приказом о его задержании начальство, как видим, не поспешало.

Следствие движется к концу; главные фигуранты давно в крепости, мало замешанные — уже выпущены на свободу. Новых берут более для очистки совести. Тем не менее арестование, как всегда, должно происходить на рассвете. Политических оппонентов предпочтительнее захватывать сонными.

«Если же по большому количеству бумаг и книг,— добавляет Дубельт обычную в таких случаях канцелярскую формулу,— невозможно будет немедленно представить их в 3-е отделение, то запечатать их в квартире как окажется удобным и доставить одного только г. Мордвинова» (ГАРФ, ф. 109, эксп. 1, оп. 1849, д. 214, ч. 140).

Не приходится сомневаться, что подполковник Брянчанинов был готов точно следовать данным ему инструкциям.

Но увы: ни самого Николая Мордвинова, ни бумаг его не оказалось в наличии. То есть бумаги скорее всего имелись, но интересоваться ими в отсутствие хозяев не сочли деликатным. Как-никак «сын сенатора» живет не отдельно, а в доме своего сановного родителя. 1 августа подполковник Брянчанинов отвечает непосредственному начальству, что подлежащего арестованию лица «здесь в С.-Петербурге нет, а находится он, как по разведываниям моим оказалось, в деревне вместе с отцом своим, Псковской губернии, верстах в 250-ти отсюда, о чем Вашему Превосходительству имею честь доложить».

Это была чистая (хотя для Дубельта, может быть, и не столь неожиданная) правда. Позднее, письменно отвечая на вопросы Комиссии о его сношениях «внутри Государства и за границей», Мордвинов не будет скрывать, что ездит иногда в имение отца своего в Псковской губернии; с заграницей же никаких сношений не имеет.

В деревне сына сенатора решили не беспокоить. (Хотя технически это было легко исполнимо: Черновитова, например, срочно вернули в Петербург аж из Томской губернии.) И только 2 сентября, по окончании летних вакаций, Дубельт извещает генерала Набокова, что имеет честь «представить при сем в распоряжении Вашего Высокопревосходительства арестованных сего числа чиновника Николая Мордвинова и актера Бурдина» (РГВИА, ф. 801, оп. 84/28, 4 отд., 1 стол, 1849 г., св. 387, № 55, ч. 107).

Обнаружив в скучной служебной бумаге имя Бурдина, автор этой книги ис-

пытал странное чувство. Он вспомнил, что его первая аспирантская работа (впрочем, так и не увидевшая свет) называлась «Достоевский и Бурдин». Один из ее героев, актер императорских театров, в начале 1860-х годов был жестоко руганем журналом братьев Достоевских «Эпоха» за не одобряемую редакцией манеру игры. Особенно усердствовал в этом отношении Аполлон Григорьев, придумавший в качестве синонима театральной напыщенности поносительный термин «бурдинизм». Разобиженный лицедей (кстати, задушевный приятель драматурга Островского) написал Достоевскому довольно-таки резкое письмо: оно-то и стало нашей первой архивной находкой. Мы ухлопали на выяснение всех обстоятельств этой склочной истории добрых полгода, хотя, как ныне догадываемся, могли бы провести это время более удовлетворительным образом.

Тогда мы не ведали, что Федор Алексеевич Бурдин подвергался аресту в 1849 году. И что сохранился рассказ о его кратком пребывании в здании у Цепного моста.

...Он был ни жив ни мертв, когда его длинными коридорами ввели в особую комнату, где предложили, впрочем, переодеться и отужинать. Всю ночь 22-летний узник не сомкнул глаз. Хотя, по его словам, обхождение было вежливое и ласковое, а сама комната — чисто меблирована и вообще обладала признаками комфорта. «Просто барская квартира в сравнении с моей каморкой», — не без удивления добавляет скромный труженик сцены. Были поданы кофе, сигары и папиросы. Принесли также газеты и журналы. *В одно прекрасное утро*, повествует Бурдин (что, видимо, как и *бессонная ночь*, не более чем риторическая фигура: Федор Алексеевич, если верить документам, не задержался в III Отделении свыше одного дня), жандармский офицер пригласил его к Леонтию Васильевичу.

«— Наше вам почтение, российский Колло д'Эрбуа, — встретил он меня, насмешливо кланяясь, — ты-то как в эту гнусную историю попал?»

С актером императорских театров можно было разговаривать в подобном тоне¹: обзывать, хотя и в виде начальственной шутки, громкими революционными именами.

«Я только руками развел», — говорит Бурдин, не ведавший за собой никакой вины.

Дубельт меж тем вспоминает о «сказках» — все тех же секуциях, якобы производимых в этом гостеприимном доме. «...И тебя, Федька, — добавил он, — действительно стоило бы отпороть на обе корки. Ведь врешь, чтобы ты ничего не знал об этом дурацком заговоре?»

В ответ «Федька» истово божится, что он и в самом деле — ни сном ни духом. Иначе немедля прервал бы сомнительные знакомства.

«— Но не донес бы? — усмехнулся Дубельт. (Может быть, вспомнив другого — неудавшегося — актера, которому Бурдин, к счастью для себя, не успел попасться на глаза. — **И. В.**)

— Боже сохрани! Вы бы сами первый назвали меня подлецом.

— Что же нам делать с тобой? В Сибирь, в крепость, или на одиннадцатую версту? Что побледнел! Ну, ступай с Богом... — махнул он рукой.

Я вышел, не чувствуя под собою ног от радости».

Надо иметь в виду, что вышеприведенный рассказ не «принадлежит перу» самого Бурдина. Эпизод изложен П. Каратыгиным (родственником знаменитого трагика) в статье «Бенкендорф и Дубельт», которая была напечатана в октябрьской книжке «Исторического вестника» за 1887 год.

Существует возможность уточнить эту *театральную* версию.

Неопубликованный допрос Бурдина, хранящийся в РГВИА, занимает всего несколько страниц.

¹ Императорские театры были учреждением официальным: они подчинялись Министерству двора. Поэтому театральные рецензии (в отличие, скажем, от рецензий литературных, подлежащих общей цензуре) допускались в печать с веденья III Отделения. Это давало его первому (до 1844 г.) начальнику графу А. Х. Бенкендорфу (большому любителю театральных учениц) законную возможность влиять на судьбы своих избранниц.

На вопрос: «Не принадлежали ли вы к какому-либо тайному обществу?» — Бурдин с благородным негодованием отвечает: «Никогда не принадлежал и не имел ничего подобного в моих мыслях». С Данилевским, которому нравился его, Бурдина, «сценическое искусство», он познакомился случайно — в маскараде, имевшем место быть в Большом театре, а через сказанного — с Катеневым и Европеусом. Но об их «неблагонамеренных действиях» он ничего не знал.

Бурдин не отрицает знакомства с 26-летним Николаем Данилевским — лучшим в России знатоком фурьеризма. Их могла связывать только молодость и общее поклонение Мельпомене. Автор «Бедных людей» тоже встречался с Данилевским на «пятницах» в Коломне и у Плещеева. Зимой 1849 года оба они (вкупе, разумеется, с вечным искусителем Спешневым) толковали о возможности печатать за границей. Будущий автор «России и Европы» мог бы свести с Достоевским и молодого актера Бурдина. Может быть, критика в журнале «Эпоха» была бы тогда более сдержанной: редактор не имел обыкновения публично бранить старых друзей.

Но Данилевский знакомит Федора Бурдина с совершенно другими лицами. И на единственный серьезный вопрос — правда ли, что он, Бурдин, в апреле 1849 года «ходил в маскарад» с Катеневым, во время которого тот предполагал разбросать билеты, где было написано, что в Москве вспыхнул бунт и прибывший туда государь убит, Бурдин отвечает: « Действительно, я находился в Маскараде с Катеневым, точно как и с другими моими знакомыми, но он подобных слов мне никогда не говорил» (РГВИА, ф. 801, оп. 84/28, 4 отд., 1 стол, 1849 г. св. 387, № 55, ч. 109).

После чего неосторожный в своих знакомствах любимец публики был, как мы помним, отпущен на волю.

С ровесником Бурдина, 22-летним Мордвиновым, обошлись еще более гуманно.

Человек без особых примет

В этот же день, 2 сентября, генерал А. А. Сагтынский (тот самый, который «расшифровал» Антонелли) отправляет Набокову очередное секретное отношение. В нем сказано, что Комиссия по разбору бумаг, рассмотрев оные у арестованных коллежского секретаря Николая Мордвинова и актера Бурдина, не нашла в этих бумагах ничего «относящегося к известному делу, ниже обращающего внимание».

Собственно, этого и следовало ожидать. Вряд ли Мордвинов, чей дом был уже однажды почтен жандармским визитом, проводил лето 1849 года в беспечности и неге. Уж ежели, как сказывают, из его квартиры был незаметно вынесен типографский станок, что тогда толковать о каких-то бумагах...

Его архивное, тоже неопубликованное, дело (РГВИА, ф. 801, оп. 84/28, 4 отд., 1 стол, 1849 г., св. 387, д. 55, ч. 107) немногим толще скудного досье Бурдина.

На вопросные пункты Мордвинов отвечает кратко, но вразумительно. Он не скрывает, что мать его умерла, а отец, тайный советник, живет в Петербурге. И что он, их сын, имел честь окончить С.-Петербургский Императорский университет. На службу вступил осенью 1847 года, но штатного места не имеет; под следствием и судом не бывал. Недвижимым имением или собственным капиталом не обладает; не обладает и семейством; на пропитание получает средства от отца. «Кроме свои родных, ни с кем не имел особенно близких и коротких знакомств <...>», — пишет Мордвинов, не обременяя следствие сведениями о своих конфиденциях с членами типографской «семерки».

«Не принадлежали ли вы к какому-либо тайному обществу?» — вяло (более для порядка) спрашивает подуставшая за лето Комиссия. «Нет», — кратко отвечает Мордвинов.

Он не отрицает своих посещений дуровских вечеров, однако настоятельно подчеркивает, что «первоначальная цель их была музыкальная и литературная». То есть слово в слово повторяет показания других участников кружка, в том числе Достоевского: устойчивость формулы наводит на мысль о ее предва-

рительном обсуждении. Кроме того, Мордвинов мог получить консультацию у тех, кто уже имел удовольствие отвечать на указанные вопросы. Вспомним, что Михаил Достоевский был выпущен из крепости еще 24 июня, а, скажем, Н. А. Кашевский, вообще не подвергшийся заключению, допрошен 1 августа. И, наконец, тоже оставшийся на свободе Миллюков был призван к допросу 29 августа, то есть буквально за пару дней до ареста Мордвинова. Вряд ли последний пренебрег возможностью тщательно подготовиться к встрече, которой, как он понимал, уже нельзя было избежать. За пять месяцев *ожидания* он, несомненно, продумал тактику защиты и, по-видимому, был вооружен некоторым знанием следовательских уловок. Поэтому он действует крайне осторожно и взвешенно; повторяет лишь то, что уже говорили другие.

Можно, однако, представить, как напрягся Мордвинов, узрев невинный с виду письменный пункт: «Часто ли собирались к Спешневу вы и ваши сотоварищи, кто именно, чем занимались и какое вы принимали участие?» Спрашиваемый отвечает подчеркнуто бесстрастно, как бы не придавая вопросу (равно как и своему на него ответу) никакого значения: «Я у Спешнева бывал большею частью не один, для обеда или с визитами, но собраний у него не бывало».

Спешнев действительно избегал публичности. Он, как помним, предпочитал индивидуальный подход.

Надо заметить, что вопросы следователей носят достаточно общий характер. Они *обязаны* допросить Мордвинова, поскольку его имя упоминается в деле. Трудно, однако, избавиться от впечатления, что, формально следуя процедуре, дознаватели не хотят *углубляться*. И поэтому, устранив допрашиваемого протокольным требованием открыть злоумышление, «которое существовало, где бы то ни было», они готовы удовольствоваться благонравным ответом: «Мне ничего не известно». Видимо, уяснив из характера вопросов, что никаких серьезных показаний против него не существует, сын тайного советника отвечает твердо и с сознанием собственной правоты: «Либеральное и социальное направление считаю преувеличенным желанием изменить и уничтожить все несовершенства, которые постепенно, мало-помалу, уничтожаются и прекращаются стараниями Правительств, а потому не могу в себе признать ни социального, ни либерального направления».

После чего автор этих положительных объяснений с легким сердцем подписывается в том, что будет хранить в строгой тайне сделанные ему в Комиссии расспросы, а также торжественно обещает не принадлежать к тайным обществам и впредь не распространять никаких преступных социальных идей.

Да, пять месяцев, миновавших после весенних арестов, не прошли для Мордвинова даром. Он был освобожден в тот же день, 2 сентября. Его отец, сенатор и действительный тайный советник, мог вздохнуть с облегчением.

В деле Мордвинова сохранились и выписки о нем из допросов других фигурантов. Не может не броситься в глаза удивительное единодушие отвечавших. Все они, *словно сговорившись*, характеризуют Мордвинова как лицо, абсолютно ни в чем не замешанное и к тому же совершенно бесцветное. Во что трудно поверить, если иметь в виду его дальнейшую судьбу.

Еще в 1846 году Плещеев посвятил своему двенадцатилетнему другу следующие стихи (они стали известны сравнительно недавно):

И не походишь ты на юношей-педантов,
 На этих мудрецов, отживших в цвете лет,
 В которых чувство спит под пылью фолиантов,
 Которым все равно, хоть гини целый свет.

Ты не таков. В тебе есть к истине стремленье,
 Ты стать в ряды защитников готов,
 Ты веришь, что придет минута искупленья,
 Что смертный не рожден для скорби и оков.

Несмотря на то, что отмеченная в этих стихах готовность «стать в ряды защитников» не прояснена толкованием — *защитников чего?* — они дают некоторое представление о духовных качествах восплаемого.

Он водит приятельство со Спешневым и Плещеевым; он близок с Филипповым; он посещает Дурова. Нет ничего удивительного, что он упомянут Майковым *как посвященный*.

В показаниях Филиппова о Мордвинове есть одна любопытная фраза: «В рассуждении о домашней литографии один из первых согласился с мнением Достоевского (Михаила. — **И. В.**) насчет бесполезности и опасности этого предприятия». Как и братья Достоевские, Мордвинов должен был действовать именно таким образом. Литография «бесполезна и опасна» еще и потому, что может обнаружить подводную часть айсберга (то есть конспиративную деятельность типографов).

Если арестованные члены «семерки» («тройки», «пятерки») догадываются, что Мордвинов еще не взят (а они не наблюдали его среди ночных арестантов, собранных в III Отделении), они крайне заинтересованы в том, чтобы такое положение продлилось как можно дольше. Ибо Мордвинов — единственный из них, кто может уничтожить улики.

Действительно: из всех потенциальных типографов на свободе остались только двое — Милютин и Мордвинов. Но Милютин отъезжает из Петербурга еще до апрельской развязки и поэтому выпадает из игры. Если типографские принадлежности находились в каком-то известном только членам «семерки» тайнике, извлечь их оттуда (до того, как они попадут в руки властей) не мог никто, кроме Мордвинова.

Спешнев и Филиппов — то есть те двое, кто официально признал свою причастность к заведению типографии, не могли этого не понимать.

На вопрос: «Какое Николай Мордвинов принимал участие на собраниях, бывших у Дурова, Плещеева и у Вас?» — Спешнев отвечает: «Просто только посещал их по знакомству с одними господами и со мною — с Плещеевым он вместе воспитывался и много был дружен. Речей никаких не произносил никогда, и вообще ни резкого ничего особенного не говорил и никаких социальных мыслей не разделяет, да, собственно, и не знает».

Может быть, с еще большей настойчивостью, чем другие, Спешнев пытается создать впечатление, что роль Мордвинова совершенно ничтожна. Тот, положим, и рад бы разделить «социальные мысли», однако попросту их «не знает». Какой с него в этом случае спрос?

«Следует обратить внимание на то, — говорит видевшая в архиве мордвиновское дело В. Р. Лейкина-Свирская, — как старательно выгораживали его (Мордвинова. — **И. В.**) Спешнев и Филиппов». Мы можем прибавить к этим двоим еще одно имя: Федора Достоевского.

«Объясните, какое Николай Мордвинов принимал участие в собраниях у Плещеева?» — спрашивает Комиссия. Достоевский с готовностью отвечает: «Николай Мордвинов, как мне известно, старый знакомый Плещеева и товарищ его по Университету, он приезжал к нему как близкий знакомый. Но он всегда был молчалив. Я ничего не заметил особенного».

То есть надо понимать так: связь у Плещеева и Мордвинова сугубо приятельская и не включает в себе никакого политического оттенка. Они просто старые друзья.

«Я ничего не заметил особенного», — говорит о Мордвинове Достоевский, как бы обобщая высказывания всех остальных. «Особенное» в Мордвинове не подлежит ни малейшей огласке. Только тогда он имеет возможность тайно вынести то, что было тайно приобретено — из своего ли дома или из дома Спешнева.

Но тут мы сталкиваемся с новым поворотом сюжета. С таким, признаться, какой мы ожидали меньше всего.

Тайный визит
(Еще одно потрясение Дубельта)

Вспомним: о существовании типографии упомянул впервые Павел Филиппов — на допросе 4 июня. В Журнале Следственной комиссии имеется об этом четкая запись.

Филиппов показал, что во исполнение вышеупомянутого замысла он «занял у помещика Спешнева денег и заказал для типографии нужные вещи, из коих некоторые уже привезены были Спешневу и оставлены, по его вызову (т. е. инициативе.— И. В.), в квартире его». И, сделав это, как сказали бы ныне, сенсационное заявление, подследственный добавляет: «Сей умысел не касается никакого кружка и никаких лиц, кроме его, Филиппова, и Спешнева, ибо оба они положили хранить это дело в величайшей тайне».

Филиппов говорит, что он «занял денег» у Спешнева, то есть как бы относит к себе и все финансовые издержки. Во что, конечно, верится плохо: вряд ли здесь предполагалась *отдача*. Надо полагать, этот «долг» мучил одолженного значительно меньше, нежели Достоевского.

Неожиданное признание Филиппова тут же повлекло за собой цепочку следственных процедур. Они отражены в единственном и до сих пор практически неизвестном источнике: полицейском (не путать со следственным!) деле неслужащего дворянина помещика Спешнева¹. В отличие от большинства других относящихся к Спешневу бумаг, исчезнувших из архивов Военного министерства², эти документы не были потеряны (уничтожены? похищены? изъяты?). Они сохранились, как уже говорилось, в собственном делопроизводстве III Отделения. Если бы не рачение его архивистов, мы никогда не узнали бы о том, о чем сейчас пойдет речь.

Итак: ГАРФ, фонд 109, экспедиция 1, опись 1849, дело 214, часть 30.

Уже 5 июня, то есть на следующий день после признания Филиппова, один из членов Следственной комиссии товарищ военного министра князь Долгорукий пишет Дубельту: «Я не помню, просила ли Вас вчерашний день комиссия сделать распоряжение о взятии в квартире Спешнева домашней типографии, которая была изготовлена по заказам Филиппова. Мне кажется, мера эта была бы неизлишнею и что ее можно бы привести в исполнение, даже если бы о том определения комиссии еще не состоялось».

Дубельт не заставляет себя просить дважды. 6 июня он отдает полковнику корпуса жандармов Станкевичу, «состоящему по особым поручениям при шефе корпуса жандармов А. Ф. Орлове», следующее распоряжение: «За отсутствием г. Генерал-Адъютанта графа Орлова, предписываю вашему Высокоблагородию, испросив от Г. С.-Петербургского Обер-Полицеймейстера одного из полицейских чиновников, отправиться вместе с ним в квартиру, уже содержащегося в Санкт-Петербургской крепости помещика Николая Алексеевича Спешнева, состоящую Литейной части, в Кирочной улице, в собственном его, Спешнева, доме, и, отыскав там домашнюю типографию, сделанную по заказу студента Филиппова, доставить оную ко мне, с донесением об исполнении вами сего поручения».

Цель обыска указана с максимальной определенностью: захватить типографию. Выражена полнейшая уверенность, что типография есть. Никто не посмел бы упрекнуть Дубельта в халатности или преступном бездействии.

В тот же день князю Долгорукову за подписью Дубельта отправляется следующая бумага: «Спешу довести до сведения вашего Сиятельства, что я, признавая важность сообщенной вами известия, не ожидая требования следст-

¹ В печати известно лишь несколько обрывочных упоминаний этого дела, не связанных ни с его общим документальным контекстом, ни с тем сюжетом, который, как выясняется, в нем сокрыт.

² Все следственные дела, связанные с процессом 1849 года, оказались сосредоточенными в архиве Военного министерства в силу того, что петрашевцев судила военно-судная комиссия, а приговор утверждался генерал-аудиториатом. Об этом еще будет сказано ниже.

венной комиссии, уже сделал распоряжение к новому осмотру квартиры помещика **Спешнева** и взятию из оной домашней типографии».

Ни князь Долгоруков, ни Дубельт не сомневаются в успехе операции. Из запечатанной квартиры исчезнуть ничего не могло.

Спешнев был арестован вместе со всеми — в ночь на 23 апреля. Его досье открывается «типовым» отношением графа Орлова — на имя прапорщика столичного жандармского дивизиона Беляева, где предписывается арестовать Спешнева и «опечатать все его бумаги и книги и оныя, вместе со Спешневым, доставить в III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии».

Ни о каких посторонних предметах (научных или других приборах) в приказе Орлова, конечно, не упомянуто. Можно поэтому согласиться с версией Майкова: увидев в кабинете (конечно, не Мордвинова, как полагает поэт, а Спешнева) «разные физические и другие инструменты и аппараты», обыскивающие, на всякий случай, опечатали помещение.

Теперь, распечатав двери, полковник Станкевич должен был извлечь вещественные улики. Но вместо законных трофеев, сопровождаемых победной реляцией, Дубельту отправляется полковничий рапорт довольно скромного содержания.

Это ключевой документ. Неизвестный ранее, он сообщает всей «типографской» истории новый неожиданный интерес.

Станкевич — Дубельту 7 июня 1849 года:

«В исполнение секретного предписания вашего Превосходительства, сего числа **сделан был мною при местном помощнике квартального надзирателя самый строгий осмотр в квартире дворянина Николая Александровича Спешнева; но типографии не найдено**, при сем мать его объявила, что недели три или четыре тому назад квартира сына ее была отпечатана Действительным Статским Советником Липранди с Корпуса Жандармов Подполковником Брянчиновым и все найденное подозрительным взято им с собою. О сем донося вашему Превосходительству, имею честь представить составленный при сем акт».

Это невероятно.

Оказывается: не «родные Мордвинова», не домашние Спешнева и не какие-либо другие приватные лица, а персоны вполне официальные снимают печати с опечатанного помещения и преспокойно выносят из него все, что считают необходимым. Но самое удивительное, что они не ставят об этом в известность того, кому положено ведать о таких вещах в первую голову. И управляющий III Отделением узнает об этом событии лишь по случайному стечению обстоятельств — из служебного рапорта, который, надо думать, немало его изумил.

Непонятно: кто отдал распоряжение об этом *тайном* осмотре и принял на себя ответственность за него? Куда девался письменный на сей случай приказ? И где же отчет о совершении операции или на худой конец полицейский протокол?

Ничего этого нет. Ни в каких служебных бумагах (кроме, разумеется, *удивленного* рапорта Станкевича) не содержится и намек на происшествие.

«Где и что Липранди?» — вопрошал некогда Пушкин. А он, оказывается, недалеко — вот тут.

Но обратимся к акту от 7 июня, приложенному к рапорту Станкевича. Ввиду исключительной важности документа приведем его целиком:

«Вследствие предписания Господина Генерал-Лейтенанта по Кавалерии Дубельта от 6 июня № 1235-й Корпуса Жандармов Полковник Станкевич, прибыв Литейной Части 4 квартала Кировую улицу, в дом Г. Спешнева с Полицейским Надзирателем Чудиновым, делали самый тщательный обыск в квартире Г. Помещика Николая Александровича Спешнева, но при всех принятых мерах домашней Типографии не найдено: причем мать Г. Спешнева Поручица Спешнева объявила: что недели три или четыре тому назад в воскресенье в исходе первого часа дня, приезжали Действительный Статский Советник Липран-

ди с Корпуса Жандармов Подполковником Брянчаниновым, которые, распечатав квартиру Г. Спешнева, бывшею до того времени запечатанною, делали в ней осмотр и все, что нашли подозрительным, взяли с собою, квартиру же не опечатав, передали оную под росписку Матери Г. Спешнева о чем и положили составить Сей Акт.

Корпуса Жандармов Полковник Станкевич

Поручица Анна Сергеева дочь Спешнева

При обыске находил<ся> Литейной Части 4 Квартала Полицейск<ий надзиратель> Чудинов».

Когда состоялся визит Липранди? «Недели три или четыре назад, в воскресенье» — гласит документ. Нетрудно расчислить, что это произошло либо 8-го, либо 15 мая. То есть всего через две или три недели после апрельских арестов.

Дело еще только раскручивается. Ни Спешнев, ни Филиппов не дали пока никаких показаний, относящихся к типографии. Следовательно, повторный обыск (если только это был *обыск*) вызван обстоятельствами, не имеющими прямого касательства к ходу процесса. Заметим также, что никого из участников дела не обыскивали *повторно*.

Но почему именно Липранди? Мы помним его усиленную щепетильность при аресте Петрашевского (которого арестовывал лично Дубельт), когда Иван Петрович по соображениям служебной этики предпочел остаться в карете. Какие же капитальные причины могли заставить его теперь отважиться на это неслыханное, может быть, даже преступное самоуправство?

Еще раз зададимся вопросом: кто отдал приказ?

Министр Перовский? Вряд ли это возможно: *теперь* всем ведает III Отделение (именно оно производит обыски и аресты). Собственная несанкционированная инициатива Липранди? Это еще менее вероятно. И не только в силу известного нам характера Ивана Петровича, но и потому, что он явился для обыска не один. Его сопровождает подполковник Брянчанинов. Несмотря на то что действие происходит в воскресный день, вряд ли посещение квартиры Спешнева можно отнести к разряду частных досугов жандармского подполковника.

Кстати: нелишне вспомнить, *кто* 1 августа будет отправлен для ареста Мордвинова. Это все тот же подполковник Брянчанинов. Именно ему, причастному к тайной майской операции (и, может быть, обремененному неким излишним знанием), доверят обыскать другого типографа, которого, к счастью для последнего, не окажется в Петербурге.

Представить, что в мае Брянчанинов был подкуплен Мордвиновыми и уговорил Липранди тайно изъять типографию, соблазнительно, хотя выглядит это не очень правдоподобно. Подполковник корпуса жандармов все-таки не мелкая полицейская сошка. Ему есть что терять: он не может не понимать степени риска¹. Да к тому же зачем ему вмешивать в это авантюрное предприятие чиновника другого ведомства?

Не подкуплен ли тогда сам Липранди? В принципе это не исключено, но так же маловероятно. Ибо здесь дела посерьезнее тех, в которых просят его содействия взяточдатели-скопцы. И потом: зачем ему Брянчанинов — лишний свидетель?

Имеет смысл рассмотреть еще один вариант.

Об искусстве сокрытия улик

В до сих пор не опубликованном Журнале Следственной комиссии имеет запись под № 27 от 24 мая. Приведем текст:

«По важности обвинений, упاداющих на помещика Курской губернии

¹ Интересно: не приходился ли *этот* Брянчанинов родственником бывшему воспитаннику Инженерного училища, где некогда учился и Достоевский, подпоручику Брянчанинову (в монашестве игумену Игнатию, одному из самых выдающихся церковных писателей XIX века). Как, скажем, и сопутствовавший Станкевичу полицейский надзиратель Чудинов — братом или племянником майору С.-Петербургского жандармского дивизиона Чудинову, который в ночь на 23 апреля арестовал Достоевского? Или все это случайные совпадения, которые лишь подтверждают догадку о тайных шутках судьбы.

Спешнева, комиссия считает необходимым иметь сколь возможно подробные сведения о частной жизни его, о лицах, с которыми он был в ежедневных сношениях, о времени, когда он их посещал, и обратно, когда был посещаем ими. Для приведения всего этого в известность нужно допросить прислугу его, кучера или извозчиков, которые его возили, и вообще всех домашних слуг, но к производству таковых исследований самая комиссия никаких средств не имеет».

Ни к одному из участников процесса (даже к Петрашевскому) не подходили с подобными мерками. Исследовать частную жизнь Спешнева, со всеми ее волнующими подробностями, выяснить весь круг его знакомств (с хронометражем взаимных посещений), сделать предметом этих глобальных разысканий прислугу, кучера или извозчиков — все это столь же грандиозно, сколь и неисполнимо. Недаром Комиссия сетует на ограниченность средств. Но надо отдать должное ее изобретательности.

Комиссия вспоминает, что еще 5 мая с разрешения наследника цесаревича военный министр сделал представление графу Перовскому, дабы «со стороны полиции продолжаемы были секретные разыскания о лицах, бывших в сношениях» со злоумышленниками. А посему и в настоящем случае Комиссия полагает возможным отнестись к господину министру внутренних дел «с тем, чтобы он поручил, кому признает нужным, сделать без всякой огласки означенные расспросы как в отношении помещика Спешнева, так и на будущее время по всем тем случаям, кои при дальнейших розысках найдены будут нужными к раскрытию обстоятельств обвиняемых в преступлении лиц, и о том, что открыто будет, доставлять своевременно в комиссию сведения» (РГВИА, ф. 801, оп. 84/28, 4 отд., 1 стол, 1849 г., св. 387, № 55, ч. 4, лл. 91 об.— 92 об.).

Из этого следует, что Министерству внутренних дел даны полномочия продолжить свои секретные наблюдения. И, как можно понять из несколько туманных формулировок Журнала, даже проводить (негласным, разумеется, образом) кое-какие следственные действия.

Казалось бы, теперь хоть что-то можно было бы объяснить. А именно: Липранди — в рамках полученных его министерством полномочий — является на квартиру Спешнева, производит повторный обыск и т. д. Но эта гипотеза не выдерживает критики сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о том, что намерения Следственной комиссии были исполнены. Во-вторых, если бы даже Липранди действовал по ее поручению, где-то в архивах должен был обретаться его отчет о сделанных на месте открытиях. (Скорее всего на имя Перовского.) В-третьих, «мандат» Комиссии предполагал только негласные операции: проведение обыска (состоявшегося, заметим, при свете дня) трудно отнести к таковому.

И, наконец, хронология.

Комиссия, если верить ее Журналу, формулирует свои предложения 24 мая. Липранди же побывал у Спешнева 8-го или 15-го. Таким образом, его визит никак не связан с позднейшими записями в Журнале.

Повторим еще раз: всеми арестами и обысками занимается III Отделение.

Но тогда спрашивается: каким образом активность Липранди и Брянчанинова могла ускользнуть от внимания Дубельта? Это могло произойти только в единственном случае: если приказ о повторном визите к Спешневу отдавал не кто иной, как лично граф Алексей Федорович Орлов. Разумеется — через голову своего начальника штаба.

Собственно, кто-то другой сделать этого и не мог. Не высочайшее же тайное повеление исполняет Липранди! Да если бы даже и так, все равно высочайшую волю должен был сообщить исполнителям шеф жандармов.

Но, думается, император в данном случае *чист*. Приказ отдается непосредственно графом — причем втайне от его ближайшего помощника и конфиден-та. Ситуация, когда Дубельт был отстранен от тех разысканий, какими тринадцать месяцев занимался Липранди, повторялась с пугающей частотой.

Можно представить состояние Леонтия Васильевича.

Санкцию на повторный обыск (не ведая, что таковой уже состоялся) он дает в отсутствие графа Орлова. Но начальник может вот-вот вернуться. Предав огласке сведения, доставленные ему Станкевичем, Дубельт поставил бы шефа жандармов (но прежде всего, разумеется, и себя) в крайне неловкое положение¹.

Между тем 8 июня все тот же полковник Станкевич направляет Дубельту еще один документ: «В дополнение донесения моего от 7 июня за № 44 взяты мною в квартире дворянина **Спешнева** два ящика с доскою простою, белаго дерева, и два ящика, оклеенных ореховым деревом, запертых, которые по вскрытию там оказались пустыми; при сем вашему Превосходительству представить честь имею, докладывая, что чугунной доски и оловянных букв мною не отыскано».

Почему об этом сообщается «в дополнении»? Видимо, поначалу Станкевичу были конкретно указаны могущие встретиться при обыске предметы, как-то: шрифт, чугунная доска и т. д. Пораженный тем, что кто-то здесь до него уже побывал, Станкевич в первом своем донесении опустил сопутствующие детали. Теперь от него, очевидно, потребовали представить хоть какие-то вещественные знаки того, что миссия его состоялась.

Четыре найденных при обыске ящика, которые к тому же оказались пустыми, надо полагать, мало утешили Дубельта. Но в отличие от Липранди он не счел возможным утаить эту добычу от внимания высокой Комиссии.

9 июня Дубельт честно сообщает генералу Набокову о сделанных полковником Станкевичем находках и, препровождая оные, удостоверяет его высокопревосходительство в совершенном своем почтении и преданности.

Он посылает его высокопревосходительству пустые деревянные ящики, но при этом не упоминает о главном. Он не говорит ни слова о том, что в квартире Спешнева *уже побывали*.

Сколько ни поразительно, это так. Дубельт скрывает от членов Комиссии крайне важное (и к тому же официально задокументированное) обстоятельство. И тем самым фактически совершает должностной подлог. Более того, он как бы становится сообщником Липранди. Но недаром Леонтий Васильевич слышет за очень умного человека. Он прекрасно понимает, что самостоятельная, без ведома непосредственного начальства «раскрутка» этого дела могла бы повести к грандиозным последствиям. В конце концов он подчиняется графу Орлову, а не генералу Набокову. Как бы ему этого ни хотелось, он предпочитает не вести собственной игры.

На очередном заседании, не отрываясь от прочих дел, Следственная комиссия бодро записывает в своем Журнале (под номером 41), что вследствие сделанного дворянином Спешневым показания были произведены все описанные выше действия, которые, впрочем, повели лишь к тому, что генерал-лейтенант Дубельт препроводил в Комиссию «означенные два ящика и доску простого дерева».

Никто из высоких следователей (кроме Дубельта, разумеется) так и не узнает о тайном визите Липранди: эта информация будет погребена в бумагах III Отделения. Трудно сказать, какое употребление найдет Комиссия доставшимся ей трофеям — пустым ящикам, число которых во время их перемещений в пространстве — между квартирой Спешнева, зданием у Цепного моста и Петропавловской крепостью — почему-то сократилось до двух.

Что же, однако, кроется за всей этой загадочной историей? Ведь не подкупили же наконец и самого графа Орлова коварные заговорщики, дабы с его помощью уничтожить вещественные улики. Еще более дико предположение, что Липранди вдруг исполнился сочувствия к Спешневу и, рискуя карьерой (а мо-

¹ Недавно мы взяли на себя смелость указать на ошибку в одной работе, где Дубельт поименован *начальником* III Отделения. За что и были обруганы упомянутым выше г-ном Кувалдиным, который искренне полагает, что между Орловым и Дубельтом нет никакой существенной разницы, ибо «два сапога — пара!». Оно, возможно, и так, но неплохо иметь в виду, что указанные «сапоги» — весьма неодинакового размера.

жет, и головой), решился ему помочь. (Хотя такая *романтическая* версия, безусловно, устроила бы тех, кто желал бы оправдать в глазах потомства неразборчивость молодых пушкинских дружб.) И все-таки Липранди был послан не для того, чтобы что-то найти, но скорее — чтоб скрыть. Судя по всему, с этой задачей он справился блестяще. И если бы не откровенность типографов, вынудившая начальство послать Станкевича туда, где уже и без него обошлись, о миссии Липранди мы не узнали бы никогда.

Впрочем, в *деле* этой информации и нет. А все документы, могущие вызвать нежелательные вопросы, оказались *во внутренней переписке*.

Между тем для самого Липранди находка типографии могла бы стать важнейшей личной удачей и сильнейшим козырем в затеянной им игре.

17 августа 1849 года, на исходе следствия, он направляет в высочайше учрежденную Комиссию свое *особое мнение*. Тот, кто по истинной совести мог почитать себя главным открывателем преступных деяний, внушает Комиссии, что расследуемое ею злоумышление гораздо серьезнее, нежели члены Комиссии полагают. Он приводит в подкрепление этого своего тезиса массу примеров, рисуя устрашающую картину тотального, охватившего едва ли не пол-России заговора. Но о том, что могло бы самым существенным образом подтвердить справедливость его опасений, он почему-то умалчивает.

Более того: в собранных и сохраненных им бумагах, где тщательно зафиксированы мельчайшие подробности его участия в петрашевской истории, нет ни единого намека на его воскресный, совместно с подполковником Брянчаниновым, визит в дом на Кировной улице. Жестоко обиженный III Отделением и никогда не упускавший возможность указать на его промахи и огрехи, он применительно к данному случаю ни разу не употребит известный ему *компромат*. Он не пожелает открыть эту тайну даже после смерти графа Орлова. Ибо сознает: его, Липранди, собственное участие в той давней истории сокрушит его репутацию безукоризненного служаки и истового блюстителя государственных нужд. Он предпочитает молчать.

Но знает он гораздо больше, чем говорит.

В своей «итоговой» рукописи «Грустные думы ветерана великой эпохи с 1807 года» (она не опубликована до сих пор) 88-летний Липранди твердо называет главной фигурой процесса не Петрашевского, а Спешнева. Впрочем, и здесь он не вдается в подробности.

Еще осторожнее он в публично оглашаемых документах. В одном из его позднейших примечаний к уже упомянутому особому, от 17 августа, мнению (в 1862 году этот текст был опубликован Герценом в «Полярной звезде») сказано: «Впоследствии, как я слышал, открыто комиссиею, что была заготовлена и тайная типография, долженствовавшая скоро начать работу и действовать, конечно, для удобства распространения идей, а может быть, уже и для печатания воззваний». «Как я слышал...» — туманно замечает Липранди. Автор записки вполне мог это и *видеть*. Но он не позволяет себе углубляться в предмет.

Однако какими мотивами руководствовался тот, кто, как мы подозреваем, отдал приказ?

Изо всех причин, способных побудить графа Орлова (даже при всем высоком его положении) решиться на этот крайне рискованный шаг, можно с большей или меньшей уверенностью назвать только одну. Это просьба очень влиятельных и очень высокопоставленных лиц. Одного Мордвинова-старшего тут недостаточно. Очевидно, были «задействованы» еще кое-какие связи — родственного или бюрократического порядка. Не приходится сомневаться, что все совершалось деликатнейшим образом — посредством вздохов, намеков, мимических знаков и эвфемизмов. Графу Орлову оставалось *поддаться*: он, говорят, был человек незлой. Приказ о повторном обыске у Спешнева, судя по всему, носил устный характер и был сформулирован в выражениях неопределенных. То есть Липранди и Брянчанинову могли только намекнуть на необходимость изъятия (сокрытия) тех или иных предметов, а внешне все предоставлялось обычной полицейской заботой.

Во всяком случае, вряд ли можно сомневаться в том, что неофициальному визиту (а мы вынуждены, пока не будут предьявлены доказательства противного, считать его именно таковым) в дом Спешнева двух сугубо официальных лиц предшествовала сложная многоходовая интрига. Но дать ей первоначальный толчок мог только один человек: оставшийся на свободе, скромный, ничем не приметный Мордвинов-младший. Тот самый, за которым его арестованные друзья дружно не замечали никаких особых достоинств.

Попробуем теперь (хотя бы вчерне) восстановить общую картину событий.

Типографские принадлежности, купленные Филиповым, находятся на квартире Спешнева (возможно, какая-то часть — на квартире Мордвинова). Их не обнаруживают во время апрельских арестов. Далее события могли развиваться по двум сценариям.

1. Домашние Спешнева снимают опломбированную дверь в его кабинете и выносят печатный станок. Это же — разумеется, с согласия тех же домашних — мог сделать и Николай Мордвинов. Прибывший в половине мая Липранди с коллегой не обнаруживают ничего.

2. Липранди и Брянчанинов, распечатав дверь, увозят все, что нашли, подозрительное. Естественно, к этому времени Мордвинов уже избавляется от улик, которые частично могли находиться и у него.

Все это, разумеется, лишь гипотезы. Трудно судить, что на самом деле происходит за сценой.

...Когда-то, в самом начале своей литературной карьеры, Достоевский задумал сочинение со странным названием: «Повесть об уничтоженных канцеляриях». Теперь он, пожалуй, мог бы сочинить «Повесть об уничтоженных типографиях». Правда, у этого фантастического произведения не было бы шансов пройти сквозь отечественную цензуру.

Что ж: дело благополучно замаяли. Конечно, успех этой акции выглядит едва ли не чудом. Из политического процесса выпало самое «криминальное» звено. В едином и, казалось бы, неделимом бюрократическом пространстве возникла некая «черная дыра», которая сделала видимое невидимым, а бывшее — небывшим. «Чудовищно, как броненосец в доке», дремавшее государство было предано своими же «личардами верными»: точнее, его просто *обошли*.

Боимся, это был не единственный случай.

«Читал я один...»

Спальня как секретный архив

Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, будущий граф и знаменитый покоритель горных хребтов, в молодости посещал Петрашевского. (Имя его несколько раз мелькнет в деле, но сам он, по склонности своей к путешествиям, как раз в 1849 году отправится изучать российские черноземы, почему не будет ни арестован, ни даже опрошен.) В своих позднейших воспоминаниях граф приводит один, казалось бы, малозначительный эпизод.

Однажды на собрании у Петрашевского была прочитана «составлявшая в то время государственную тайну» записка А. П. Заболоцкого-Десятковского. Записка была посвящена «возбужденному Императором Николаем вопросу об освобождении крестьян».

Чиновник Министерства государственных имуществ Заболоцкий-Десятковский отправился с тайной миссией в различные области России — «для исследования отношений помещиков к крепостным». Взыскательный ревизор из столицы, он придет к выводам настолько неутешительным, что начальник его, граф П. Д. Киселев, не осмелится представить их на высочайшее усмотрение. Ибо с 1848 года в государе было замечено «сильное охлаждение» к собственным, а тем паче чужим эмансипационным прожектам. Записка, таким образом, осталась тайной для императора, не говоря уже о всех остальных. Именно этот документ, по уверениям Семенова-Тянь-Шанского, был найден при обыске в квартире В. А. Милютина.

Названо имя еще одного из членов типографической «семерки».

Правда, тут есть одна неувязка. При обыске у Владимира Милютина ничего найдено быть не могло. Ибо не было самого обыска. Владимир Милютин, чья «девка», как помним, сыграла роль зловещей Кассандры, отсутствовал в Петербурге. Он тоже весьма вовремя отправился в экспедицию. И вряд ли оставил на попечение угадливой «девки» такого рода бумаги.

Между тем очень возможно, что записка Заболоцкого-Десятковского действительно была найдена у кого-то из членов дуровского кружка. И что добыта она была из недр Министерства государственных имуществ не кем иным, как чиновником Департамента сельского хозяйства этого министерства Владимиром Алексеевичем Милютиным.

О Милютиных нужно сказать подробнее.

Владимир Милютин не доживет до тридцати лет. Он умрет (точнее, покончит самоубийством) в 1855 году, будучи молодым профессором Петербургского университета и Александровского лицея. Через полвека после его кончины о нем вспомнят Лев Николаевич Толстой:

«Помню, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку нам объявил открытие, сделанное в гимназии. Открытие это состояло в том, что Бога нет и что, чему нас учат, одна выдумка (это было в 1838 г.). Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное».

Автор «Исповеди» вспоминает Володеньку М. в очень любопытной связи. Видимо, тот в совсем еще юные годы обнаруживал склонность поражать окружающих сведениями совершенно секретного рода.

Двадцатидвухлетний (в 1849 году) Владимир Милютин — член знаменитой семьи. Его старший брат, Дмитрий Алексеевич, — профессор военной географии и статистики в Военной академии; через двенадцать лет, в 1861 году, он станет министром и одним из авторов радикальных военных реформ. Он пробудет в должности руководителя вооруженными силами России два десятилетия — до насильственной смерти Александра II. Девяностопятилетний фельдмаршал окончит свои дни накануне первой мировой — в 1912 году.

Средний брат, тридцатилетний Николай Алексеевич, служит под началом графа Перовского, в Министерстве внутренних дел. Рассказывают, что он обратил на себя внимание начальства своей запиской о неурожаях в России и был по сему поводу вызван «наверх». «Идя в кабинет министра (им был тогда граф Строганов. — И. В.), Милютин в душе готовился уже к путешествию в Сибирь или в Вятку», — говорит современник. Но все закончилось благополучнейшим образом. Правда, у министра зародилось сомнение в том, что двадцатидвухлетний юноша действительно автор записки. Тогда в виде испытания министр заставил Милютина тут же, в своем кабинете, составить проект железных дорог в империи (пока что в империи действует только одна — между Петербургом и Царским Селом). Милютин блестяще справился с этим заданием. С тех пор он был на хорошем счету. В 1847 году он войдет в первый секретный комитет по крестьянскому делу. Он сделается со временем статс-секретарем и тоже прославит свое имя в годину Реформы. Но это будет еще не скоро.

«Современники утверждали, — замечает его биограф, — что многие речи Перовского в государственном совете и в других собраниях составлялись по черновикам Милютина и доставили министру репутацию резкого и умного оратора».

Министр Перовский доверял Николаю Милютину. Тот, надо полагать, доверял своему младшему брату. Теперь не приходится удивляться, почему «девка» последнего владела государственными секретами.

Брата Владимира поминают на следствии в числе посетителей «пятниц». Он навещал Дурова. Его принимал Спешнев. Майков говорит о его причастности к замыслу типографии. Его «девка», как сказано, фигурирует в деле. При этом он не был даже допрошен.

Тут следовало бы добавить: братья Милютины — родные племянники министра государственных имуществ графа Павла Дмитриевича Киселева. Для кого не было бы благодетельно такое родство?

Но вернемся к записке Заболоцкого-Десятковского. Если даже она была найдена не у Владимира Милютина (как утверждает мемуарист), след все равно тянется в эту семью.

«На семейном совете Милютиных,— пишет П. П. Семенов-Тянь-Шанский,— решено было постараться получить как-нибудь записку обратно, чтобы она не попала в руки следственной комиссии». Но как незаметно извлечь из рук правительства уже захваченный им документ? Теоретически его можно выкрасть или уничтожить, подкупив какого-нибудь мелкого канцеляриста. На практике же проделать такое довольно сложно. Надо точно знать, где в настоящую минуту находится требуемая бумага, зафиксирована ли она в описях, кто имеет к ней доступ и т. д. и т. п. Братья Милютины пошли по другому пути.

Поручение *вернуть* записку «было возложено на самого осторожного и осмотрительного из семейства» — Дмитрия Милютина. Будущий фельдмаршал, а пока всего лишь полковник главного штаба, «отправился к очень уважающему графа Киселева князю Александру Федоровичу Голицыну...». Князь, напомним, возглавлял особую Комиссию по разбору бумаг, взятых у арестованных, в которую входил и Липранди. Так что предмет посещения был выбран довольно удачно.

«К счастью, князь Александр Федорович был страстный любитель редких манускриптов,— продолжает Семенов-Тянь-Шанский.— На предложенный Д. А. Милютиным в самой деликатной форме вопрос о том, не встретился ли князю в делах государственной комиссии манускрипт записки Заболоцкого о положении в разных губерниях России крепостных крестьян, кн. А. Ф. Голицын не ответил ни слова, но пригласил Милютина в свою спальню и, открыв потайной шкаф, показал ему лежавший в одном из ящиков шкафа манускрипт со словами: «Читал я один. Пока я жив — никуда отсюда не выйдет».

Таким образом, опаснейшая улика хотя и не подверглась уничтожению, но была по меньшей мере нейтрализована. Уважение князя Голицына к министру Киселеву простиралось, по-видимому, и на его любимых племянников. Почтение к письменным раритетам (особливо секретным) также сыграло свою благодатную роль. Милютин-младший, как и младший Мордвинов, был выведен из-под дамклова меча. Злополучная записка осталась в интимном хранилище князя.

Все-таки родство — ни с чем не сравнимая вещь. В России это капитал не-вещественный, но весьма ощутимый. Племянников устраивают на службу; племянниц выдают замуж; троюродным теткам выпрашивают пособия, их детям — покровительство и чины. Не будь питаемых с детства родственных чувств, государство в своем каменном законоусердии проглотило бы всех. Но вот некто надевает свой парадный мундир и едет к N.N. Тогда появляется *шанс*.

«Цельный заговор пропал»,— скажет Достоевский. Интересно: знал ли он подоплеку?

Но существует еще одна трактовка происшествия. И она вдруг странным и неожиданным образом смыкается с той историей, в которой, казалось, мы только что успешно разобрались: с «повестью об уничтоженных типографиях».

Так где же Липранди?

Сохранился один мемуарный набросок, принадлежащий перу Павла Васильевича Анненкова. Он озаглавлен: «Две зимы в провинции и в деревне (с января 1849 по август 1851 года)». Этот текст не вошел в широкоизвестное «Замечательное десятилетие» и был опубликован только по смерти автора.

Анненков упоминает о чтении Достоевским письма Белинского к Гоголю. Сюжет небезразличен мемуаристу: ведь письмо сочинялось летом 1847 года в Зальцбрунне, в его, Павла Васильевича, непременно присутствии. И первым

слушателем письма был, разумеется, именно он. В связи с этим бесспорным историческим фактом Анненков замечает: «Как нравственный участник, не дошедший правительству о нем (т. е. о письме.— **И. В.**), я мог бы тоже попасть в арестантские роты». Иначе говоря, мог вместе с Достоевским отправиться в Мертвый дом. И хотя вероятность такого развития событий не очень велика, нельзя отказать *единственному свидетелю* в праве на эту гипотезу. Но гораздо важнее другое. Воспоминатель вдруг делает заявление, к которому в свете того, что нам ныне известно, следовало бы отнестись с величайшим вниманием.

Анненков пишет: «Так же точно, или еще счастливее спасся Николай Милютин... Заговорщики назначили его в министры, но свидетельство о нем, по связям Милютина с Перовским и Киселевым, было утаено или, как говорили, даже выкрадено известным И. Липранди, следователем, который на других выместил эту поблажку».

Это совершенно поразительное признание. Конечно, как часто бывает у Анненкова, здесь могут быть перепутаны кое-какие подробности¹. Но нет ничего невозможного в том, что члена секретного комитета по крестьянскому делу (и при этом противника крепостного состояния) товарищи его младшего брата прочили на министерскую роль. (На такую же «должность», как уверяет дочь Достоевского, заговорщики прочили и ее «смирного» отца. Относительно «хищного» Спешнева такие сведения отсутствуют.) Не ошибается Анненков и говоря об утаенной бумаге. По-видимому, он «транслирует» отзвуки той истории, о которой на склоне лет поведает Семенов-Тян-Шанский.

Но при чем тут Липранди?

К *этой* истории Иван Петрович, как кажется, не имеет никакого касательства.

Правда, сохранился один мемуарный рассказ об их с Николаем Милютиным разговоре. Однажды, находясь у Липранди (они — сослуживцы по Министерству внутренних дел), Н. Милютин был приглашен ознакомиться со знаменитой библиотекой хозяина. «Ник<олай> Ал<ексеевич> ответил, что по надписям на корешках он уже познакомился с содержанием книг, но опасается — не спрятаны ли за ними шпионы».

Ответ не столь остроумный, как, очевидно, мнится мемуаристу, если допустить, что Иван Петрович и впрямь оказал когда-то своему гостю поистине неоценимую услугу. Но Липранди скорее всего этого не делал. Впрочем, он прекрасно осведомлен о предмете.

В его неопубликованных бумагах мы обнаружили следующую запись:

«Умалчиваю здесь о найденной подлинной, совершенно секретной записке Заболоцкого-Десятковского, поданной графу Киселеву, где яркими красками описывается несчастное положение помещичьих крестьян, с обильным числом примеров жестокости, действительной или вымышленной; но не менее того записка эта, о которой только слышали, возбудила много толков. Найденная записка эта в бумагах одного лица была взята князем Голицыным и возвращена по принадлежности». И, поведав об этой пикантной и в то время еще ни в каких мемуарах не отраженной истории, Липранди многозначительно добавляет: «Далее не распространяюсь» (РГБ, ф. 223, к. 221, ед. хр. 3, л. 27).

Липранди не называет имени «одного лица», в чьих бумагах был найден «совершенно секретный» текст. Он не открывает также, кому же именно был возвращен «по принадлежности» рискованный документ (если верить Семенову-Тян-Шанскому, он-таки остался у князя Голицына). Но можно не сомневаться: причастность к этому делу семейства Милютиных не является тайной для него.

Может быть, Милютины не названы им из чувства признательности: как-

¹ Об «ошибках памяти» у П. В. Анненкова и его причастности к некоторым касающимся Достоевского литературным сплетням (за которыми, впрочем, просматривается кое-какая фактологическая основа) см. подробнее: «Родиться в России», с. 411—419, 529—538.

никак именно их родственник, граф Киселев (бывший наместник в Молдавии), рекомендовал некогда Липранди графу Перовскому.

«Далее не распространяюсь», — удерживает перо Липранди. Но в самом его тоне различим как бы *немой укор*. Он вовсе не одобряет тех, кто способен пренебречь своими обязанностями и долгом. Мог ли тогда он решиться на то, что сам же и осудил — изъять (по каким бы то ни было побуждениям) важный для следствия документ? Нет, в этой, как выразится Анненков, «поблажке» Липранди не виноват. Но ведь недаром он упомянут мемуаристом именно *в этом* контексте! Анненков утверждает: что-то было *выкрадено* Липранди. Значит, слухи такого рода имели место. «Выкраденное» могло относиться и к членам «семерки». И носило оно, это выкраденное, так сказать, сугубо гутенберговский характер.

Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гутенберга
И находят вкус в г...—

скажет в 1857 году некогда приветивший Достоевского поэт: он не догадывается, что тот был готов — даже ценой собственной гибели — опровергнуть этот горький укор. (Мы разумеем нелюбовь к Гутенбергу.)

Анненков прав, говоря о «поблажке»: если, конечно, иметь в виду историю с типографией. «Поблажку» эту, понимаемую нами теперь как изъятие и сокрытие улики, Липранди действительно постарается выместить на других. В упомянутом выше особом мнении от 17 августа он в меру своих сил и талантов изобразит опасность, грозящую государству, и предложит вернейшие способы к ее отвращению. Но при этом он умолчит о главном.

Он не скажет о найденной типографии — о том, что могло бы сильнейшим образом подкрепить его аргументы. Он понимает, что сильные мира сего далеко не безгрешны. Он не желает наживать себе могущественных врагов.

Да: он знает гораздо больше, чем говорит.

Но он также не забывает старых обид. Уже удаленный от дел, он позволяет себе выпад против одного высокопоставленного лица.

С некоторым опозданием Липранди доносит потомству: в бумагах, взятых у Петрашевского, была обнаружена «надпись, строчек в пятнадцать, рукою Я. И. Ростовцева». Будущий член Следственной комиссии якобы посылал будущему главному злоумышленнику речь, которую он, Ростовцев, по какому-то торжественному случаю собирался говорить великому князю Михаилу Павловичу. «Составленный неизвестно кем проект этой речи ему (Ростовцеву. — **И. В.**) не понравился, — пишет Липранди, — и он, отсылая его к Петрашевскому и называя его «любезный Петрашевский! просмотрите речь» и пр<очее>; обстоятельство в сущности совершенно ничтожное, а показывает только то, что Петрашевский был не неизвестен Якову Ивановичу». Что же сделал с запиской Ростовцева столь ценящий редкие манускрипты князь Голицын? Документ этот князь положил в карман и потом возвратил Ростовцеву. «И здесь не распространяюсь более», — горько завершает Липранди.

Ну что ж. Если блистательный Николай Милютин составлял речи графу Перовскому, почему бы другому интеллектуалу не пособить генерал-адъютанту Ростовцеву? Пореккомендовать Петрашевского мог в принципе кто-нибудь из Милютиных: этот круг, как справедливо замечено, узок.

Почему бы и профессиональному литератору Достоевскому не испробовать себя в сочинении речей для высокопоставленных лиц? Надо полагать, он справился бы с этой миссией не хуже других. Но увы: ни теперь, ни в дальнейшем власть не додумается прибегнуть к его талантам.

Вернемся, однако, к теме исчезнувших из дела бумаг. О чем свидетельствуют эти высокопоучительные примеры? Только лишь об одном. Несмотря на государственную важность затеянного процесса, бдительность двух комиссий, рвение доносителей и, наконец, неусыпное внимание к ходу дознания наследни-

ка цесаревича и самого государя, существовали потенциальные возможности для маневра. При большой настойчивости и связях можно было добиться сокрытия тех или иных фактов или улик¹. Конечно, незаметно изъять из огромной массы бумаг единственный документ несравненно легче, нежели уничтожить типографский станок. Последнее, повторим, было предприятием фантастическим. Но, как выясняется, исполнимым.

Ибо в толще родственных интересов может увязнуть тупой государственный меч. Поэтому двое из потенциальных подследственных избегли грозивших им суровых взысканий: крепости, тайного и несправедного суда, смертного приговора. Их миновала чаша сия.

Другие, однако, испили ее до дна.

Глава 10. СОУЗНИКИ ЦАРЕЙ

Частная жизнь Алексеевского равелина

Анна Григорьевна занесла в записную книжку слова своего мужа, что он сошел бы с ума, «если бы не катастрофа, которая переломила его жизнь». Величайшее несчастье почитается благом. Ему не приходилось искать далеких примеров, когда он говорил о целительной силе страдания.

Катастрофа спасла его от безумия. Если это действительно так, стоит ли толковать о цене?

Какая же, однако, явилась ему идея, «перед которой здоровье и забота о себе оказались пустяками»? Мы можем о том лишь гадать — с разной степенью вероятия. Но тот духовный переворот, который обычно связывают с пребыванием в Мертвом доме, начался здесь, в камере Алексеевского равелина, когда в первый и последний раз в жизни он — не метафорически, а буквально — остался наедине с самим собой.

Речь, разумеется, идет не о перемене убеждений (до этого пока далеко), а о переоценке всех жизненных ценностей: самой жизни в том числе.

Нервный, вспыльчивый, раздражительный, пребывающий почти на грани душевной болезни (которая, заметим, могла провоцироваться постоянной угрозой ареста), он вдруг успокаивается. Несчастье свершилось; самое худшее позади. Вместо томительного и изматывающего ожидания наступила *определенность*. Это не значит, что он враз избавляется от своих комплексов и недугов. Вовсе нет. Но все это отступает на задний план: изменились пропорции. Рок стер «случайные черты» — и мир на поверку оказался подлиннее, проще, грубее. Добро и зло, совесть и долг, жизнь и смерть явили себя в своем беспримесном виде, в такой же нагой очевидности, как глоток воды и кусок тюремного хлеба. Именно здесь, в равелине, включился могучий механизм нравственной и физической самозащиты: его «завода» хватит на долгие десять лет.

...У него не осталось ничего своего: даже носовой платок и гребенка были изъяты из употребления. Его облачили во все казенное, старое, арестантское — чужое. Единственное, что еще принадлежало ему, — это он сам.

«...Хорошее расположение духа зависит от одного меня», — пишет он недавно выпущенному на свободу старшему брату. Он уже не надеется на впечатления внешние.

Отвезенный в крепость с шестьюдесятью копейками наличных денег, он, как всегда, занимает в долг. (В этом смысле соблюдены условия, существовавшие на воле, хотя на сей раз занимать приходится у кого-то из его крепостных стражей.) Ему позволены умеренные, но важные удовольствия — собственные табак, сахар и чай. Михаил Михайлович — с готовностью, но не всегда аккуратно — присылает ему потребные для этих надобностей суммы. Сам заключен-

¹ Как, очевидно, стало возможным в 1839 году сфальсифицировать дело о смерти отца Достоевского: убитый собственными крестьянами, он согласно официальной версии мирно почил. Правда, существуют разные точки зрения на этот вопрос, который все еще остается дискуссионным. Подробнее см.: «Родиться в России». С. 251—261, 312—323.

ный ни разу не напоминает брату о своих вещественных нуждах. Десятилетие назад терпеливо изъяснявший родителю свое неоспоримое право *пить чай*, он в настоящем случае избегает этой метафизической темы.

После того как были отобраны письменные показания и не стало надобности воздействовать на искренность узников с помощью *быта*, суровый поначалу режим несколько смягчается. Обитателю Секретного дома позволено читать и — что не менее важно — писать. Он пишет «Маленького героя» — произведение почти идиллическое.

Здоровье — тема для тюремной переписки вполне позволительная. Но она занимает в ней место меньшее, чем можно было бы предположить. «Я ожидал гораздо худшего и теперь вижу, что жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпашь», — этой своей особенностью он будет дивиться еще не раз.

Меж тем многомесячная изоляция дает себя знать — и вот уже пол камеры, словно палуба, колышется под ногами, и снятся «по ночам длинные безобразные сны»¹.

«Мне снились тихие, хорошие, добрые сны», — будет сказано через много лет Вс. С. Соловьеву; возможно, впрочем, что эти слова относятся к первым месяцам пребывания в крепости.

«Может быть, и не увидишь зеленых листьев за это лето», — пишет он брату 18 июля. Странная мысль, ибо прогулки разрешены. Видимо, подразумеваются *другие листья* — которые там, на воле: он все еще надеется на благоприятный исход.

Он насчитывает в тюремном саду «почти семнадцать деревьев»: это для него — «целое счастье». Природа, не слишком занимавшая его прежде, видится крупно и подробно сквозь решетку окна.

В крепости ему (как и Петрашевскому) исполняется двадцать восемь лет.

«*Частная* жизнь моя по-прежнему однообразна», — сообщает он в августе, прося Михаила Михайловича прислать ему «Отечественные записки», которые он «в качестве иногороднего подписчика» ждет с величайшим нетерпением. Усмешка не очень веселая, но все же усмешка: в такой ситуации она дорого стоит.

Он благодарит брата за книги: это его спасение. Находясь «как будто под воздушным насосом», когда вся жизнь уходит «в голову», он должен особенно остро ощущать нужду в собеседнике. «Но всего лучше, — пишет он, — если б ты мне прислал Библию (оба Завета). Мне нужно». Сказано, как если бы книга была нужна для работы. Впрочем, так оно, по сути, и есть.

Кроме того, последняя просьба — лучшее доказательство того, что узник смирился со своей участью и уповает лишь на милосердие Божие.

«Алексеевский рavelин... Филиппов — *бежать...*» — именно эти слова вдруг, через много лет, возникают в его рабочей тетради². Они могут означать только одно: тогда в рavelине Филиппов предлагал своему соседу план побега — оттуда, откуда ни до, ни после не смог убежать никто.

Они собирались бежать из Петропавловской крепости. Мысль не менее безумная, чем попытка завести типографию.

Между тем лето проходит. Дети Михаила Михайловича в рассуждении, куда подался дядя, ждут от него по приезде много конфет и подарков.

Да, лето проходит — и вот уже мятежник Гергей положил оружие к ногам России, и Петербург извещен об этом громом крепостных пушек, никогда не ведших огонь по настоящему неприятелю. (Бог весть, что подумалось им в казематах, когда они, не знавшие о венгерском походе, услышали эту оглушительную пальбу.)

Других развлечений не было никаких, если не считать похорон великого

¹ Эти факты могли бы заставить вновь вспомнить о сильнодействующих медицинских снадобьях, даваемых арестованным, если бы сами условия одиночного заключения не являлись достаточной причиной для возникновения разного рода психических расстройств.

² Это уже не косвенное, а прямое, от первого лица, подтверждение контактов двух узников во время следствия.

князя Михаила Павловича. Они могли бы состояться значительно раньше, если бы тогда, на Сенатской, Кюхельбекер тщательнее выбил снег из своего пистолета. Михаил Павлович спасся, чтобы теперь, через четверть века, как и все почившие в Бозе члены царского дома, стать вечным узником главной российской тюрьмы: покойников не смущают соседи.

Штабс-капитан генерального штаба Кузьмин, занимавший выгодную позицию в одном из крепостных бастионов, живо опишет погребальную церемонию — с прохождением генералитета, вспугнутыми салютационной пальбой лошадьми, грозно накренившимся катафалком. (Последняя деталь могла бы очень пригодиться иным историческим романистам — как символ кризиса всей феодальной системы. Но, не догадавшись об этой блестящей возможности, они лишь переадресуют наблюдения Кузьмина нашему герою: нужды нет, что окна рavelина не выходили на соборную площадь.)

17 сентября 1849 года Следственная комиссия завершила свои труды. В обстоятельном, с бюрократической честностью сооруженном докладе подробно исчислялись действия каждого обвиняемого.

Картина получилась довольно стройная.

А был ли заговор? (К проблеме инакомыслия)

С самого начала процесса всему расследуемому делу был придан государственный вид. Высочайше назначенная Комиссия должна была оправдать свой иерархический ранг важностью произведенных открытий. Но при всем старании ничего схожего, скажем, с заговором 14 декабря обнаружено не было.

Декабристов брали с оружием в руках. Это было открытое неповиновение, бунт на площади, военный мятеж. У мятежников существовали давние тщательно законспирированные организации, писанные уставы и т. д. В их замыслы входили государственный переворот, смена власти и — при определенных условиях — цареубийство. В их действиях — с точки зрения любого законодательства — наличествовал состав преступления.

На этот раз все обстояло иначе. «Заговор идей» не повел к настоящему делу. Вербальная оппозиция режиму не поколебала режим. О желательности тайного общества велись разговоры, но они кончались ничем. Поэтому для того, чтобы предать петрашевцев суду, необходимо было перво-наперво раздуть дело. С другой стороны, не следовало раздувать его слишком сильно.

Судьба *отдельных людей* оказалась в прямой зависимости от взаимоотношений *отдельных частей* государственного механизма.

И все же было бы опрометчиво полагать (как это делают некоторые мемуаристы), что III Отделение лезло из кожи вон, чтобы преуменьшить серьезность дела (чем, в частности, объясняют *ласковость* Дубельта на допросах). Это была бы вторая — и последняя — ошибка руководителей тайного сыска. К их счастью, ничего не надо было преуменьшать. Дубельт и его начальство могли испытывать удовлетворение уже от одной мысли, что никакого заговора нет и в помине и что сотрудники графа Перовского, желая быть большими католиками, чем папа, выглядят не очень солидно. III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии хотело бы намекнуть, что оно и уступило-то это дело Министерству внутренних дел только потому, что не усматривало в нем явной угрозы для безопасности государственной.

Дубельта абсолютно не волновало, какова будет мера наказания. Для него важно было подчеркнуть, что само явление, хотя и в высшей степени преступно, но все же носит локальный характер.

Именно поэтому особое мнение действительного статского советника Липранди, уличающего Комиссию в том, что она в благодушии своем не разглядела всеобъемлющего общерусского заговора (принятие этой версии повлекло бы цепную реакцию арестов и возникновение тысяч новых дел, что теоретически представлялось возможным, но практически бесполезным), — это мнение было изящно, с комплиментами по адресу обвинителя отвергнуто Комиссией,

которая в своем заключении недрогнувшей рукой записала: «Организованного общества пропаганды не обнаружено».

Но раз так, процесс заговорщиков превращался в судилище над инакомыслящими. Не обнаружив наличия преступных деяний (такowymi по необходимости были признаны чтение рефератов, произнесение речей и оглашение частных писем), следователи невольно констатировали чисто идеологический характер расследуемого дела. Криминальными были сочтены не поступки, но мысли. Согласно этой логике, Родиона Раскольникова следовало бы судить не за убийство им старухи-процентщицы, а за его газетную статью, где обосновывалось право на такого рода поступки.

Так — незначай — обозначилась тема, которую через семнадцать лет гениально разовьет один из нынешних обвиненных.

Правда, мечты о всеобщей гармонии, которыми вдохновлялись посетители «пятниц», имели мало общего с идефикс героя будущего романа. (Хотя, если вспомнить, Раскольников тоже печется *о благе*.) Довольно далеки эти мечты и от нравственной диалектики другого теоретика — Ивана Карамазова. Общее здесь лишь то, что во главу угла ставится теория.

В 1849 году была осуждена *идея*¹. Как и будущий автор «Преступления и наказания», судьи догадывались о ее потенциальных возможностях.

Был ли Достоевский революционером?

Во всяком случае, он совершил такие поступки, которые не оставляют сомнений на этот счет. Но нет оснований сомневаться и в его искренности, когда в своих показаниях он неодобрительно отзывается о перспективах «русского бунта».

Он хотел бы искоренить «вечные пороки» России — крепостничество, бюрократию, деспотизм. Он не может примириться с социальным неравенством. Но мы остереглись бы от утверждения, что он отвергает саму идею монархии — даже тогда, в 1849 году. Он желает совокупить русскую историческую власть с идеалами добра и правды, придать этой надчеловеческой силе иной — человеческий — облик (созидеть своего рода «самодержавие с человеческим лицом»). Не будучи правоверным фурьеристом, он поражен «изящной стороной» социалистических утопий, и эта тяга к красоте, неотделимой от истины, останется у него навсегда.

Принято считать, что после каторги он изменил убеждения. Не правильнее ли толковать о слиянии старого и нового душевного опыта — с сохранением все той же потребности мировой справедливости, все того же нравственного ядра?

В 1849 году он подверг себя «виселице», ибо хотел оставаться человеком честным.

(Продолжение следует.)



¹ В тексте приговора учение Фурье поименовано «зловредным». Однако справедливости ради следует сказать, что приверженность обвиняемых к этой системе не была поставлена им в юридическую вину. Преступными были признаны другие идеи — «клонящиеся» к изменению государственного устройства, уничтожению крепостного состояния, подготовке возмущения и т. д. При этом замысел был фактически приравнен к его осуществлению.

Светлана МАКСИМОВА

Силуэты мака

Мак

Как мне земле и небу
образ один явить,
Что растворен навеки
в тайной моей крови...
Как мне знакома эта,
та, что зову «она»,
Та, что берет на ощупь,
та, что идет со дна,
Перетекая смехом
в слово моей вины
Всей полудетской негой,
слабостью всей спины.
Там, где, как птица в ране,
каждый поет позвонок
И скорлупа белеет
прямо у наших ног,
Вот мы выходим,
вот мы
слышим прозрачный хруст.
Не обернувшись,
воды
прямо идут без русл,
Как силуэты мака,
мягко касаясь мха...
Если бы так открыться
миру
и я могла,
Как, открываясь слову,
грезит душа окрест,
На скорлупе зеленой
делая свой надрез,
Блещет крылом кровавым,
шерстью и чешуей.
И, как ребенок малый,
сорванный мак жует,
Копит слюну густую
под языком
и твердь,
Лепит гнездо из глины,
ищет на ощупь дверь,
Тычась в шершавый теплый
сладкий сыпучий мрак,

Что на груди расстегнут,
 как перезревший мак...
 Как от земли и неба
 образ мне этот скрыть —
 Тайный подкожный слепок
 острых слепящих крыл.

* * *

И вот я стала музыкой, А прежде я была Веселою и русою, Как белый свет, мила.	Но час пробил — из горла я Вдруг вырвала стрелу! Взорвалось сердце гордое — И стронуло скалу!
И я ходила, радуясь, По водам без труда. И хлеб делила надвое, А сердце никогда.	И сила несказанная Сквозь кровь мою прошла. И стала флейтой Пана я И лезвием ножа
И я любила вестника За радостную весть, И я любила грешника, Что он таков, как есть.	На бьющейся артерии, Где свой берут исток Все древние мистерии. И жертвенный поток
Не музыкой, не музыкой, А просто я была В ладошке чьей-то узенькой Свистулькою щегла.	Омыл мне горло тайное И голос раскалил... С тех пор в одном предании Припев мне детский мил:
Непризванной, незваною, Как самый тайный вздох. И прятал в сердце самое Господь мой шепоток.	Не музыкой, не музыкой — Свистулкой соловья В ладошке чьей-то узенькой Себя забыла я...

* * *

Сон о тебе...
 И кровью рот наполняется —
 «Нет!» —
 произносятся...

На ощупь в бездну плывет рука,
 чтоб оттолкнуть сердце свое...
 И вся

Страстно листаюсь —
 справа налево —
 с венца

Книгой,
 не помнящей девы —
 имени и лица

Там — в зазеркалье трехкратном,
 где переходит завязь
 в танец
 любви обратной,
 и черно-белый аист,
 в стороны разлетаясь,
 сам от себя летит —
 черным и белым зеркален

сам для себя...
И Каин
с Авелем мертвым спит
в чреве одном в обнимку...
И закрывают книгу,
будто бы два меча,
скрещенных в поединке —
в сердце и при свечах...
Сон о тебе... Сейчас...
Тысячу лет спустя...
Ласточка... Волк... Дитя...
— «Да,— только — да»— шепча...

* * *

Не отзывайся... Смейся... Безответствуй...
Мне все равно, как это отзовется...
Ведь я люблю таким глубинным детством,
Какими были на Руси колодцы,

Где в темноте — не вздохи и не всхлипы,
А над водою сохнувшие губы.
И дальний всплеск слепой подземной рыбы,
Что телом бьет в колодезные срубы.

Я детством говорю таким глубоким,
Таким глухим, где девочки похожи
На маленьких старушек синеоких
И так глядят порой, что дрожь по коже,—

С такую тайной — горестной и строгой,
Когда — «Ступай!» — и ничего не надо...
Но и звезда, и птица над дорогой
Не вдаль помянут, а вернут обратно.

И всякая дорога станет гиблой,
И ты очнешься вновь под этой кровлей,
Где прошлое в колодце бьется рыбой
И под платок девчонка прячет брови.



Любимовка

1

Мое хождение в драматургию началось неприглядным мартовским вечером, когда вместе с собратьями по перу — писателем и критиком — я возвращался из Перми. По контрасту с крикливой, яркой Москвой Пермь выглядела сиротливо и бесприютно: худо одетые женщины с серыми, безнадежными лицами, азербайджанские торговцы, нечищенные улицы, ранние сумерки в темном городе, и в этих сумерках — призрак трех сестер, заламывающих руки над высоким камским обрывом.

Очутились мы в этом заколдованном царстве по довольно странному случаю: нас троих пригласили выступить перед читателями в городской библиотеке и устроить пресс-конференцию с громким названием «Второе дыхание реализма». На улицах города нас встречали афиши на круглых тумбах, где с нашими именами соседствовали Лариса Долина и ее хит «Погода в доме».

Нас возили то на радио, то на телевидение; преисполненные собственной значимости, мы давали интервью и пресс-конференции; просторный зал юртинской городской библиотеки, куда некогда хаживал любимый мой литературный герой Юрий Андреевич Живаго, был переполнен; и даже то обстоятельство, что поселили нас в профилактории Пермского университета, где на столичных гастролеров недобро косились студиозусы и подозревали в покушении на своих смазливых подружек, где нас кормили по утрам манной кашей, а по вечерам злая бабулька-вахтерша не позволяла постояльцам сходить за новой бутылкой, даже все эти вопиюще противоречившие нашему статусу знаменитостей (попробовала бы она так поступить с мадам Долиной!) обстоятельства не могли омрачить нашего победного настроения. Мы были молоды и чувствовали себя на волне успеха, и чудесной казалась заснеженная, завьюженная Пермь, так что не хотелось уезжать ни в какую Москву.

Один писатель уверенно говорил про духовность и силу искусства, другой про свое неприятие фарисейского и продажного духа эпохи, критик похода расправлялся со всякими там приговыми, сорокиными и курицыными и воспевал скромное обаяние реализма. Однако стоило нам остаться одним, тон разговоров неудержимо менялся, и услышь кто-либо со стороны закулисные и страстные, но при этом угрюмо-однообразные, как глаза игрока в Лас-Вегасе, разговоры радетелей отечественной духовности про миллионы рублей за лист и размеры всевозможных премий, то, верно, имел бы все основания обвинить их в том самом лицемерии, которое они так яростно разоблачали в других.

Что делать — мы принадлежали к несчастному поколению литераторов, кто уже не мог жить только гонорарами и вынужден был подрабатывать где придется, но в душе все еще рассчитывал на объедки от пирога, кормившего наших старших товарищей.

Именно тогда более осведомленный в делах литературного мира критик, задумчиво приканчивая не знаю уже какую по счету бутылку (я непременно объясню впоследствии, почему делаю акцент на питейной теме), сказал, что, в сущности, мы последние писатели на русской земле, подразумевая наше все же

серьезное, хотя и несколько подпорченное отношение к своему ремеслу. В ответ чуть-чуть вялый после трехдневных выступлений и дискуссий прозаик неожиданно вскипел, как будто перед ним снова была целая аудитория, а не две утомленных физиономии, и гордо заявил, что писательство — «не ремесло и не профессия, а призвание, крест, который профессионально нести нельзя».

Критик поощрительно хмыкнул — он любил стимулировать в людях сильные чувства — и продолжил мысль о том, что следующие за нами более расчетливые и циничные молодые люди не отдают себя целиком литературе, но одновременно гуляют на стороне с кинематографией, телевидением, театром и журналистикой и, таким образом, куда более уверенно чувствуют себя в этой жизни и имеют больше дохода.

И вот тогда писатель, который при всем своем профетическом идеализме был не дурак зарабатывать деньги, вместо того чтобы уронить слово горькое и обличить словоотступников, набычился, призадумался и, поглаживая трехдневную щетину, поведал, что у него есть связи в Театре Советской армии. А в этом театре ему давно предлагают переделать его повесть в пьесу, но он-де не знает, как это сделать, и вообще ему некогда, но если бы кто-нибудь взялся... Критик тотчас же невероятно оживился и сказал, что он все это отлично чувствует, сделать из повести пьесу для него плевое дело, а денег она принесет несметное количество, ибо пройдет по всем городам и весям Отечества. Тут же они договорились поделить гонорар пополам, выпили за успех и оживленно стали обсуждать сладкую театральную житуху: молодых актрисочек, гастролы, премьеры, переводы и постановки на Западе.

Я чувствовал себя круглым идиотом. Мы были друзьями, насколько литераторы вообще могут быть друзьями, мы были единомышленниками если не в частностях, то в главном, хотя, как показывает жизнь, частности значат иной раз больше, чем главное. Мы любили друг друга и принимали близко к сердцу свои и чужие успехи и неудачи, но именно по этой причине между нами все же существовали определенное соперничество и ревность, и тот факт, что я оказался за бортом выгодного проекта и мне было обещано всего-навсего приглашение на премьеру, сильно меня опечалил.

Человека нельзя обижать, ибо и все хорошее, и все плохое в мире происходит оттого, что кого-то обидели. Наутро ни один, ни другой покоритель молоденьких актерок уже ничего не помнил. С похмелья ломило голову, за окнами свистел Курский вокзал. Праздник кончился, и надо было влезать в треклятую московскую жизнь, но Бог весть отчего этот разговор запал мне в душу.

Дело в том, что в ту пору у меня валялась в столе наполовину написанная пьеса, которую я начал несколько лет назад, да, так и не доделав, бросил. И вот теперь у меня шевельнулась мысль к этой пьесе вернуться. И даже не ради хороших артисток и больших денег.

В тот год я только-только закончил большой роман, выпивший из меня столько крови, что я боялся заболеть анемией на всю оставшуюся жизнь. После того постоянно приходилось заниматься несвойственными мне делами и среди прочего написать за два месяца диссертацию с мудреным названием «Апокалиптические мотивы в русской прозе конца XX века», а иначе б меня выгнали вшаей из университета, где я зарабатывал на хлеб. На хлеб все равно отчаянно не хватало, я бился с нуждой, похудел на десять килограммов, мозги мои опухли, в диссертации я на каждой странице цитировал по десятку философов, которых до этого в руки не брал по причине непреодолимого отвращения к науке наук. Я безмерно устал, мне требовалось срочное противоядие, и тогда в полном угаре и запале я невероятно лихо за несколько дней написал почти что заново пьесу, но...

Но самому мне она с самого начала не понравилась.

Вообще-то отношения между автором и только что написанным произведением — это особая статья. Хорошо ли, плохо оно получилось, в первые часы и дни все равно испытываешь к нему родительскую нежность, и оно кажется тебе лучшим творением, вышедшим из-под твоего пера (а нынче, точнее ска-

зять, курсора), однако тут в первый раз я почувствовал, что мне подсунили чужого ребенка. Это была не моя пьеса. Злая, раздражительная, лохматая — я не то чтобы совсем от нее отрекался, но в ней были такие вещи, которых я стыдился, однако и обойтись без них никак не мог. Я слишком много читал в ту зиму Розанова и Бердяева. А может быть, накопилось просто много желчи...

Но, поскольку пьеса была написана, с ней надо было что-то делать. К тому времени, наверно, и я стал превращаться в литературного дельца и рассуждал таким образом, что всякая работа должна быть оплачена. Когда, однако, я заикнулся в редакции, где ко мне благоволили, что, дескать, пьеса вот написана — не угодно ли посмотреть? — мне сразу сказали, что меня очень любят, но пьесу даже не станут читать, ибо это жанр маргинальный и толстыми журналами всерьез не воспринимается.

Со злости я уже хотел было засунуть ее куда подальше, но в середине мая в «Литературной газете», в разделе «Театр», который я сроду не читал, мне попала в глаза заметка. В ней говорилось о фестивале молодой драматургии в некой Любимовке, куда приглашались к участию авторы до тридцати пяти лет. До рокового возраста у меня еще было немного времени, и, не доверяя почте, я самолично отправился в Леонтьевский переулок, где находился Фонд Станиславского.

По своей благоустроенности фонд существенно отличался от всех редакций журналов и писательских союзов, где мне доводилось бывать. Шикарные мраморные лестницы, охранники, дубовые двери, все сверкающее чистотой и блестящее — тут, похоже, действительно вращались деньги — и немалые — и витал дух роскошных женщин с голыми спинами и западных антрепренеров с солидными контрактами. Я отнес свою пьесу в комнату к суровой и мрачной даме, которая нехотя согласилась передать ее куда следует. Это была настоящая театральная дама: она наметанным глазом умела различать людей, и я как будто вернулся на десять лет в прошлое, когда так же пренебрежительно меня встречали в редакциях журналов утомленные сотрудицы с длинными сигаретами и всем своим видом показывали, что много вас таких тут ходит.

2

Прошла неделя, и у меня раздался звонок.

Звонившая мне женщина вкрадчивым голосом сказала, что мою пьесу прочли и приняли к фестивальному показу. Все это было странно. Мероприятие в Любимовке проводилось под патронажем всевозможных фондов — от Станиславского до Сороса, а поскольку моя злая и неприличная пьеса была откровенно направлена против всяческого спонсорства и меценатства, то ставить ее было просто хамством и вызовом. Однако после долгих переговоров оказалось, что мой опус не просто приняли, а будет показывать главный режиссер известного театра, входивший, по моему разумению, в десятку лучших московских режиссеров. Единственное более или менее приемлемое объяснение, которое я мог дать этому факту: отечественная драматургия захирела до такой степени, что каждого, кто проявляет к ней хоть какой-то интерес, вербуют к себе, как в тоталитарную секту с последующим распылением личности, всякие там фонды с мраморными лестницами.

Вслед за этим мне позвонил актер, которому предстояло сыграть главную роль в спектакле, и я насторожился еще больше. Я не привык разговаривать с актерами, я не умел этого делать — они казались мне небожителями, они были людьми театра, и в этом было что-то магическое.

Помню, в студенческие годы у нас учился на курсе один довольно странный малый по прозвищу Пахом, который представлялся всем как заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (он показывал корочку) и солист балета Большого театра (правда, такой корочки у него не было). Что он делал в университете, было не совсем ясно, но однажды на картошке Пахом продемонстрировал задрогшим и одетым в телогрейки студентам несколько прыжков,

сразу предупредив, что здесь не те условия и у него не та одежда. Мы были плохими знатоками балета, но посреди картофельного поля, где лежала на ровных грядках крепкая крупная картошка (нас, помню, удивляло, куда она девается и почему в магазинах продается всегда полугнилая и мятая), так вот, посреди этого поля он смотрелся очень убедительно, и можно было вообразить и сцену Большого, и крики «браво!», и цветы, и даже конфеты «Рафаэлло», пусть они и из другого времени. Злые языки, впрочем, утверждали, что выдававший себя за солиста Большого и за заслуженного деятеля искусств БССР Пахом был просто клакером. Но нечто театральное в его натуре все же было неистребимо. Впоследствии, когда с театром у него разладилось и он стал подрабатывать на почте, то украл там бланк правительственной телеграммы и прислал самому себе поздравление с высокой наградой в крестообразное университетское общежитие на проспекте Вернадского. Дежурившие в общаге старушки были в шоке и все время спрашивали его: что, как, откуда?

— Завтра все будет в газетах,— сказал Пахом небрежно.

Видимо, юноша таким образом самоутверждался, но я свято ему верил, и он очень любил поучить меня жизни. В частности, Пахом много рассказывал про театральные нравы и свою добрую подружку Майю Плисецкую и среди прочего заметил, что в том мире не принято говорить никому правду. Там можно только хвалить в высших тонах: вы танцевали сегодня изумительно, ваша игра была блестяща, как никогда, королева в восхищении, королева в восхищении...

Он был, конечно, порядочное трепло, но теперь, слушая раскатистый, хорошо поставленный голос позвонившего мне человека, настоящего актера, а не самозванца, который несколько преувеличенно расхваливал мою пьесу, я, как назло, вспоминал картофельного балеруна и не знал, что говорить в ответ. Compliments казались мне не то чтобы неискренними, но в искренность их я боялся поверить. Да и к подобным похвалам я не очень-то привык — собратья по перу друг друга редко хвалят, чаще всего процедят сквозь зубы что-нибудь небрежно-поощрительное, и это считай высшей оценкой.

Все больше мною овладевало сомнение: стоит ли ввязываться в это странное мероприятие да и вообще пытаться проникнуть в чужой и совершенно непонятный мне мир, где надо будет опять начинать с нуля и Бог знает какие чудеса меня подстерегают? К тому же перед самой Любимовкой произошло еще одно событие, выбившее меня из колеи.

На фестивале я должен был ехать в понедельник, а накануне вечером я сел за руль. Миллионы людей ежедневно, ежечасно и ежеминутно садятся за руль, и ничего с ними не происходит, но есть на земле люди особенные. Если что в своей жизни я по-настоящему не любил, то вовсе не злоязычных рецензентов из пестрых журналов, не любознательных студентов-славистов, ровно дюжину лет тянувших из меня все соки, и даже не разнообразных жуликов, охмуривших мою бедную страну, а зеленый автомобиль «Жигули-2105». Всякий раз, когда мне приходилось садиться на переднее левое место, я переживал нечто вроде маленького апоплексического удара. Автомобиль это чувствовал, ведь известно, что он живая тварь, причем тварь, наделенная ярко выраженным мужским или женским характером (мой был бабой, причем бабой взбалмошной), и мстил мне как мог.

Я бы вообще сроду в него не сел, если бы этот автомобиль не достался мне от тещи, и так получилось, что, кроме меня, ездить на нем некому, ибо у нас не Америка и пожилые женщины авто не водят. Я ездил очень мало, в основном лишь на дачу, но автомобильный божок был ко мне безжалостен. Однажды на кольцевой дороге, возвращаясь до дня рождения своего сокурсника, человека очень богатого, в загородном доме которого собирались люди весьма обеспеченные и среди прочего рассказали анекдот про нового русского и прозаика (анекдот, прямо скажем, так себе и скорей всего с невероятно затрепанной бородой, но в той ситуации оказался почти пророческим: «прозаик на «Запорож-

це» стукнул на перекрестке «мерседес», оттуда выходит новый русский и спрашивает: «Ты кто-о?» — «Про-прозаик». — «Про каких еще заек?»), так вот, возвращаясь оттуда, я врезался на кольцевой дороге в зад впереди идущего, слава Богу, не «мерса», а «Москвича», еще более разбитого, чем тещин «жигуленок» 1984 года рождения.

Пикантность, однако, состояла в том, что это случилось на глазах у гаишника, который и был всему виной — он неожиданно остановил поток, и на сырой дороге я не успел среагировать, а у «Москвича» не работали тормозные огни. Но спорить было бессмысленно, ибо из «Москвича» вылез тоже милиционер, правда, тверской.

Тверской служивый, верно, чувствовал некоторую свою вину, и с ним можно было сойтись на нулевом варианте, но за ним следом выскочила страшно злючая баба, хорошо поставленным голосом стала качать права, и мне пришлось заплатить ему миллион за поврежденный зад, а потом выложить еще вдвое больше за замену и покраску своего крыла, бампера и фары.

Критик, самый авторитетный автомобилист в нашей маленькой компании, сказал по этому поводу, что я очень дешево отделался. Но у меня с той поры возникло стойкое отвращение к автомобилизму и четкое понимание, что я не своим делом занимаюсь, а на дачу можно и на электричке сгонять. Собственно, именно после этого я накатал злой антирыночный памфлет с привлечением богатых студенческих друзей в качестве персонажей пьесы, а про себя решил, что в машину ни-ни. И тут, как назло, законная владелица «жигуля» обварила руку и требовалось срочно отвезти ее в травмпункт. Все прошло благополучно, я ни в кого не врезался и ни на кого не наехал, но, когда ставил машину в гараж, расслабился и помял дверцу. Все это происходило на глазах у соседей по гаражу, и их презрительные взгляды были столь выразительны, что я понял, что вступил в полосу неудач, и мое собственное театральное амплуа показалось мне роковым заблуждением, сродни автомобильным прыжкам на картофельном поле.

3

Любимовка находилась совсем недалеко от Москвы, рядом со спартаковским поселком Тарасовка, и туда нас привезли на зафрахтованном Союзом театральных деятелей автобусе, который с изумительным филигранством въехал в узенькие ворота усадьбы основоположника Московского Художественного театра, показывая отдельным пассажирам пример, как это делается, когда за дело берутся не самозванцы, а профессионалы.

Мы вылезли посреди просторного имения. По нему были разбросаны летние дачки, большой дощатый павильон, где игрались пьесы еще во времена Станиславского, маленькая церковь и домик для причта. В церквушке основоположник венчался, и храм много лет пребывал в запустении, куда его не отреставрировали и не открыли заново. Внизу протекала речка Клязьма, а прямо за забором имения начинались недостроенные виллы для новых русских, которые, как оказалось позднее, стояли бесхозные уже несколько лет, ибо начавшая строить их фирма разорилась, это соседство странным образом доказывало, что искусство вечно, а новые русские — временны и тленны, и тем развеселило мое опечаленное сердце.

Драматурги, в среде которых негаданно-нежданно я оказался, жили на одной из больших старинных дач. Эта дача вполне подошла бы для отдыха respectable буржуазного семейства, но никак не для оравы театральных талантов. В душевных комнатах, рассчитанных на одного гостя, стояло по пять кроватей с казенными тумбочками, словно взятыми напрокат из районной гостиницы, и вся эта спартаковская обстановка несколько напоминала профилакторий Пермского университета с той лишь разницей, что не было ни злых старух на вахте, ни дружеского участия.

Поначалу я вообразил, что попал на ярмарку молодых театральных деяте-

лей, подобную совещаниям молодых писателей, проводившимся в свое время под эгидой ЦК ВЛКСМ, с которых и начались мои литературные похождения. О тех совещаниях я сохранил в душе самые теплые воспоминания и до сих пор считаю их чудеснейшими в своей литературной жизни. Несмотря на то что по меньшей мере наполовину они состояли из людей случайных, напоминавших беззаботную и пеструю абитуриентскую шарагу, приехавшую поступать куда-нибудь в МГУ, где на двадцать пять претендентов имеется только одно место, там все равно было жутко интересно. На них собиралось столько оригинальных физиономий, столько людей, которые еще по инерции застойных времен шли в литературу, потому что не знали, куда себя девать и что им делать со своей чудаковатостью. Их можно было бы назвать графоманами — если только не вкладывать в это понятие никакого дурного смысла, ибо я убежден, что без людей, подверженных этой замечательной болезни, существование литературы вообще невозможно. Но мероприятие в Любимовке ничем ни любительским, ни графоманским отмечено не было. Это был совершенно другой уровень.

Ничего странного в этом не было, пожалуй. Драматургия и графомания плохо подходят друг к другу: ведь, как ни крути, столь уважаемые мною графоманы чаще всего бросаются либо на романы, либо на стихи. Человек, пишущий рассказы, уже скорей всего не графоман, тот же, кто рискнет написать драму, вникнув во все ее хитрые законы, безусловно, лицо в литературе неслучайное. Такими вот неслучайными и были мои новые знакомцы, и, разговаривая с ними, я переживал нечто вроде культурного шока.

В первый же день по грубой маловоспитанности или приобретенной в редакционных коридорах испорченности я принялся цинично выяснять у самого бескорыстного служителя Мельпомены то, ради чего я, собственно, сюда и подался, а именно — сколько платят за напечатание пьесы. Оказалось, что ничего, — скажи спасибо, если напечатают, ведь театральные журналов почти не осталось. А сколько за постановку? Оказалось, что опять ничего, особенно в низших провинциальных театрах, которые вынуждены постоянно обновлять репертуар и оттого являются главными потребителями современной драматургической мысли. А если начнешь требовать деньги, то заработаешь репутацию скандалиста и впредь ни один театр не захочет с тобой связываться.

— Ну и зачем тогда это все нужно? — воскликнул я обиженно, и перед моими глазами, как на сцене с первого ряда партера, встал фирменный пермский поезд «Кама», а в нем похожий на ученого кролика хитроватый критик и ухмыляющийся, огромных размеров прозаик, и мною овладело недоброе чувство, как будто друзья меня разыграли, подставили и в очередной раз сделали лохом.

Драматург поглядел на меня непонимающими глазами.

Он был замечательный парень! Если бы я только читал его пьесы, то скорее всего не проникся бы к нему никакими чувствами: то, что он писал, было мне чуждо — какая-то заумь на философские темы, вроде продолжения моей диссертации в неимоверно концентрированном виде, — но, познакомившись с ним, я невольно его зауважал. Он был моим ровесником, а сколь разными были наши судьбы! Литература меня худо-бедно кормила уже который год, он же работал шлифовальщиком в частной фирме, по восемь часов в день у станка делающая изматывающую, вредную и однообразную работу, чтобы заработать денег и на эти деньги издать свои книги.

Потом я познакомился с другими ребятами и подумал: если и верно замечание нашего друга из Академии российской словесности о том, что мы с прозаиком — последние писатели земли русской, то драматургами она явно не обделена и выглядят последние куда здоровей.

Во-первых, это бросалось в глаза и обойти этот факт никак было невозможно: наши сородичи по литературе не пили, то есть не пили совершенно — несколько банок пива, пару бутылок сухого и две портвейна на компанию из четырех человек в расчет не шли. Во-вторых, они могли часами говорить о театре, пьесах, режиссерах и актерах, что в писательских компаниях, где, как известно, о литературе говорят в последнюю очередь, просто немыслимо. В-тре-

тых, у них не было этого идиотского, изматывающего деления на правых и левых и вообще каких бы то ни было истеричных разговоров о масонских заговорах и фашистской угрозе. Эти люди действительно служили театру, а не пытались заставить театр служить себе, и то обстоятельство, к стати, что антибукеровская премия в области драматургии была единственная, не запятанная себя никакими разборками (и, увы, вообще единственная в области драмы), само по себе весьма красноречиво, равно как и то, что оба раза моя любимая премия присуждалась авторам из Любимовки. Там же я понял: это мне только казалось, что нынче пьес не пишут. Их писали, и пьесы эти были замечательны — я читал их с еще большим увлечением, чем какой-нибудь роман, и думал о том, как не правы были все редакторы от Куняева до Чупринина, отвергая этот чудесный жанр.

Бог его знает — может быть, я все это идеализировал и все суждения мои были чересчур восторженны, поверхностны и безответственны, но для меня вдруг померк и стал терять очарование мир литературы, в который я так стремился войти когда-то. Что бы ни говорил большой писатель про несение креста, это был только труд, тяжелый, часто неблагодарный (написав почти одновременно роман и диссертацию, я хорошо знал, сколько сил ушло у меня на первое, до чего легко далось второе — и как по иронии судьбы до обидного наоборот они были оценены), но театр, театр был в моем понимании удивительной смесью волшебства, тайны, чуда и гениального холодного мастерского расчета. Драматурги были в самом деле цехом — и звонкая фраза моего сурового друга как-то обесценивалась на этой даче и в старом павильоне, где некогда ставил домашние спектакли великий основоположник, а теперь, век спустя, играли его насмешливые наследники.

Я хотел бы войти в этот цех, завести товарищей, но слишком много было к тому препон. По натуре человек довольно стеснительный, я плохо чувствовал себя в новых компаниях и с трудом сходилась с незнакомыми людьми. Мне требовалось время, для того чтобы привыкнуть к ним, отчего я вполне мог казаться угрюмым, нелюдимым и даже заносчивым. В сущности, на это можно было бы просто не обратить внимания, и обычно так и бывало, но тут за мною тянулась какая-никакая, а литературная, так скажем, предыстория, которая в данном случае скорее мне все портила. Она заставляла видеть во мне не застенчивого театрального неопита, каким я был на самом деле, но литературного сноба, снизошедшего до театральных подмостков и бездельницы ради написавшего пьесу, а теперь нахально задирающего нос и не желающего общаться с братьями по новому цеху. На обсуждениях спектаклей я чаще всего молчал, не считая себя вправе лезть с профанскими суждениями. Да и какой я был судья этим людям, если случайно, сам не пойми отчего, написал пьесу, не знал самых элементарных вещей (например, что такое реприза) и был кем-то вроде липового заслуженного деятеля искусств БССР, который морочил голову филфаковским девицам посреди картофельных грядок в деревне Клементьево.

Единственный человек, с которым я более или менее подружился, был актер — не тот, что мне звонил, а другой, но в актерах я чувствовал куда больше сродственного. Они весело и со вкусом, я бы сказал, по-писательски, пили, молодые актеры, о которых так мечтали мои друзья, звонко и призывно хохотали на всю округу, ходили купаться на речку Клязьму, и кончились их купания под луной тем, что однажды вечером, когда драматурги собрались в очередной раз обсуждать трудности жанра, на застекленную террасу имения нахлынуло несколько спартаковских поклонников из близлежащей Тарасовки. Интересно было их явно не искусство, и осада дачки походила на фольклорные экспедиции моей университетской молодости, когда под окнами наших деревенских пристанищ собиралась местная молодежь и горстка филфаковских мальчиков мужественно готовилась защищать своих легкомысленных барышень, которые истерично кричали, но при этом, кажется, не слишком хотели, чтобы их кто-нибудь защищал. Впрочем, на этот раз все обошлось, но ночью я все равно спал плохо: едва рассвело, один из драматургов встал и начал ходить по комнате,

шурша пакетами, бормоча и восклицая. Из-за него не спала вся комната, однако никто не сказал ему ни слова — в тот день шла его пьеса.

Фестиваль проходил следующим образом. Утром и вечером показывали по спектаклю, который либо играла, либо просто читала по ролям какая-нибудь актерская труппа, после чего пьесу разбирали, как на военном совете, сперва молодые авторы-семинаристы, а потом выносил свое суждение так называемый ареопаг, жюри, политбюро, черт знает как еще его назвать, куда входили почтенные люди из мира театра — режиссеры и драматурги, известные даже мне. Все это было жутко интересно, ведь самая слабая пьеса всегда спасается хорошей постановкой или актерской игрой, правда, здесь же существует и другая опасность — хорошую пьесу можно плохим показом завалить. Тогда, признаться, все эти мелочи мне в голову не приходили — я отдался, как ребенок, тому, что происходило в этом летнем павильончике, и то, что актеры были так близко, и то, что не было занавеса и условной казалась граница между сценой и зрительным залом — да, собственно, никакой сцены не было и в зале сидели только посвященные, — все это нимало не уничтожало тайну, но лишь больше восхищало меня.

Нельзя сказать, чтобы обсуждения этих спектаклей происходили гладко и мирно, — страстей и споров хватало и там, но эти обсуждения ни в какое сравнение не шли с тем, что мне доводилось видеть и слышать на комсомольских совещаниях творческой молодежи или же в литобъединении, куда я ходил десять лет тому назад. Мир драматургов в отличие от писательского мира, насколько, конечно, он представлялся мне, был не миром одиночек, но неким братством, и, даже когда здесь ругали чью-то пьесу, никто не стремился унижить автора и отвадить его от сочинения новой.

За неделю, проведенную в Любимовке, я посмотрел столько разных спектаклей, что этих впечатлений мне с лихвой хватило бы на полжизни; но я хорошо помню — когда все закончилось, я ощутил такую тоску по сцене, что в первый же день, вернувшись в Москву, отправился в театр на хороший спектакль, где играли очень хорошие актеры, и... был невероятно разочарован. С Любимовкой ничто не могло сравниться.

4

Моя пьеса должна была идти в предпоследний день.

Накануне премьеры я почувствовал, как лихорадка охватывает и меня, и, похоже, теперь мне настанет черед бродить взад-вперед по комнате, не давая уснуть моим более искушенным товарищам. Я вышел в сад. Была недолгая для июньской ночи минута, когда сумерки сгустились до такой степени, что невозможно было разглядеть ничего вокруг. Небо сделалось хмурым, тревожный ветер пригибал некошеную траву, и вдруг в тишине я услышал разговор двух женщин.

Они говорили обо мне.

— Завтра что?

— Какой-то мужик из Литинститута... Зачем взяли — непонятно.

— Испортит всю Любимовку.

Во мне вдруг все разом оборвалось: как? неужели? вот так? а я-то думал... Может быть, это не про меня?

Обмануться было нельзя — завтра был только один показ.

Но почему? С чего они взяли, что я испорчу Любимовку?

Я слышал, конечно, про неприязнь к Литинституту, но, помилуйте, я был вовсе не из Литинститута — откуда были мои друзья. И дело даже не в этом — я не хотел портить их Любимовку.

Конечно, я и сам мог додуматься до каких-то вещей. Попасть на этот фестиваль считалось большой удачей, имелось множество претендентов, которых отвергли, и так устроители взяли столько семинаристов, что иногда в день шло не по два, а по три спектакля. И куцые комнатки были переполнены по той же

самой причине. Любимовка была по-своему элитарной, и ко всякому новичку, кто туда попадал, присматривались. А моя заявленная на конкурс в самый последний момент пьеса к тому же была единственной во всей фестивальной программе, которую почему-то ставил известный режиссер, и тот факт, что именно он согласился ее взять, навевал странные мысли и вообще поглядывали на меня странно: кто такой и откуда взялся?

Но кому бы и как я стал объяснять, что не хотел никого огорчать и быть чьим-либо конкурентом, я не напрашивался на этот фестиваль и не искал никаких знакомств, чтобы меня сюда пригласили. Я явился в прямом смысле слова с улицы, но в эту июньскую сырую ночь я почувствовал себя так же скверно, как и в тот злополучный день, когда услышал скрежет автомобильной дверцы о ворота гаража, и опять пронзила острая мысль: не своим делом занялся, пользуясь именем, проник в этот мирок, где люди глотают пыль подмостков и почитают за счастье оказаться не для того даже, чтобы твою пьесу именитый режиссер ставил, а просто этим воздухом подышать. А я пришел, уселся в первом ряду и испортил Любимовку.

Я не спал всю ночь, и меня преследовал резкий женский голос, прозвучавший в темноте, — казалось, это говорила сама судьба, и мне хотелось одного — бежать.

С утра было пасмурно, собирался пойти дождь; на автобусе приехала из Москвы жена. Она поглядела на мое измученное бессонницей и еще больше похудевшее лицо и сказала, что я похож на домашнего ребенка, которого отдали на все лето в пионерский лагерь.

На этом же автобусе прибыл Режиссер с труппой. Я смотрел с испугом на этих людей, которые должны были перевоплотиться в моих героев, произнести мой текст, и мне не верилось, что это в самом деле случится. Они были самые обыкновенные — молодые, немножко вялые с утра, симпатичные и не очень, среди них выделялся актер, который мне звонил и который должен был играть главную роль.

Постепенно подтягивался народ, в зале устанавливали телекамеры — явление Режиссера было целым событием, и каждое его слово и жест должны были быть запечатлены. Вокруг него постоянно кружили какие-то люди, он ходил только со свитой, и я даже не знал, как к нему подойти да и надо ли мне высовываться. Он сам меня разыскал, держался очень просто и демократично и со мной был вполне милостлив. Извинился за то, что времени было мало и подготовить пьесу как следует они не сумели, но все-таки постараются показать то, что получилось.

Он ставил мою пьесу именно так, как и положено ее ставить в учебных целях, — впоследствии сведущие люди объяснили мне, что на показе был использован эффект прямой репетиции. Режиссер сам читал все ремарки, не изменив в них ни слова, кое-что комментировал и был едва ли не главным действующим лицом. От него же я получил несколько хороших уроков. Не знавший не только, что такое реприза, но и что такое на театральном языке «действие», я самонадеянно обозначил свой маленький опус как пьесу в трех действиях, и мой именитый постановщик добросовестно устроил два антракта, совершенно не нужные в полуторачасовом спектакле. Я пробовал было протестовать и внести по ходу дела изменения, но он был непреклонен.

— Если бы вы написали в трех сценах, тогда другое дело, а слово «действие» предполагает антракт, и менять я ничего не намерен. — И, чуть смягчившись, добавил: — Один антракт в спектакле необходим, чтобы публика могла сходить в буфет. Но на два буфета у нее никаких денег не хватит.

В Любимовке буфета не было, и я подозревал, что в ненужных перерывах публика просто разбежится, но она не уходила. Однако вокруг меня все же образовался странный вакуум — я в одиночестве курил, боясь встречаться глазами со зрителями и чувствуя, что мне достанется на орехи. Хотя на самом деле для меня все это, пожалуй, уже не имело значения: как только пьеса началась, мои страхи улетучились и я позабыл обо всем на свете.

Мне неловко в этом признаваться, но я был сражен и покорен тем, что увидел. Ни одно из своих творений я не возлюбил в эту минуту так, как эту несчастную пьеску. Я сам не верил в то, что это я написал, я хохотал, переживал, у меня схватывало дыхание и прошибало холодным потом, и, как бывает в детстве нестерпимо жаль, что кончается фильм с разбойниками, мне было грустно оттого, что все так быстро кончилось. Что говорить — я был счастлив в тот день, и, в сущности, все, что должны были сказать доброжелательные зрители, уже казалось лишним. Но обсуждение надо было вынести. И тут началась вторая спектакль — только эта пьеса писалась уже не мною.

Меня начали громить по всем правилам не драматургического, а писательского боя. На миг мне показалось, что я нахожусь не в доброжелательной Любимовке, а в лито на улице Писемского. Сперва вышла очень энергичная дама с лихорадочным блеском в глазах. Отвесив комплименты Режиссеру и его театру, дабы не принимал критику поставленной им пьесы на свой счет, она среди прочего сурово заявила — я запомнил эту фразу на всю жизнь: «Когда автор структурализирует процесс принятия алкогольных напитков в живой организм, он должен понимать иерархическую последовательность». То есть, говоря короче, принялась меня учить, как правильно водку пить. Голос ее звучал до боли знакомо... Конечно же, это была та самая дама, чей голос мне пригрезился накануне! На меня она даже не взглянула и закончила свое темпераментное выступление, процитировав слова Бальмонта, якобы сказанные им Ахматовой после того, как чтение стихов на каком-то приеме сминилось танцами:

— Почему я, такой нежный, должен на это смотреть?

Вслед за ней встала молодая критикесса, этакий немзер в юбке, но при этом очень хорошенькая, — ее вывод был еще лаконичнее: то, что ей показали, — борьба плохого с худшим. Потом поднялась еще одна и обвинила меня в марксистско-ленинском уклоне, от которого не может спасти, как она изящно выразилась, даже прибавочная стоимость в лице самого знаменитого режиссера.

Еще одна дама — известная публицистка из демократического лагеря, чье имя было у всех на слуху в перестройку, — оказалась чуть более снисходительна и сказала, что мою конъюнктурную пьесу можно считать прелюдией к чьей-то будущей хорошей пьесе, подобно тому как беспорядочные половые связи могут привести к большой любви.

Я почувствовал, что живым мне отсюда не выйти, как если бы, скажем, Владимир Сорокин случайно попал Восьмого марта в компанию ребят из «Нашего современника».

Однако поддержка пришла ко мне с мужской половины зала, что было удивительно. Мне всегда казалось, мою прозу больше читают женщины, я к этому привык и смирился с тем, что меня приписали к неосентиментализму. Но вышло так, что в драматургии я оказался полной противоположностью себе, и теперь мне было странно и даже лестно слышать, что, вступив на минное поле драматургии, я написал жесткую и темпераментную мужскую пьесу с крутыми социальными и личностными разборками. Другой выступавший посетовал на то, что показ оказался плохим и по нему нельзя составить впечатление о пьесе, ибо Режиссер гениально вскрыл все ее недостатки и утаил достоинства. Третий назвал мой опус нормальной советской пьесой, без которой картина современной драматургии была бы неполной, и порекомендовал в поисках спонсора обратиться за поддержкой на Баковский завод, выпускающий известные медицинские изделия.

В конце обсуждения поднялся глава ареопага — это был очень старый и заслуженный драматург, который прославился еще до того, как я появился на свет, — он был консервативен, резок в оценках и грошил большинство пьес и постановок, но меня неожиданно взял под защиту, и я понял, что во многом именно благодаря ему я сюда и попал. Но его покровительство было, видимо, вещью амбивалентной и лишь усугубило неприязнь ко мне тех, кто имел на него зуб.

На следующий день я прочел про себя в стенгазете стишок, самыми личными и необидными строками в нем были такие:

Сразу видно, что прозаик
И не любит коллектив.

Мне стало снова больно — за что? Неужели же им было мало того, что они наговорили на обсуждении?

Головой я понимал: надо относиться ко всему с юмором, и если новичка провоцируют, испытывают и проверяют, то, быть может, именно это, а не дурацкие комплименты — «королева в восхищении» — и есть норма театральной жизни. Да и, по правде сказать, сбить явную или мнимую спесь с моей физиономии с точки зрения любимовского общественного мнения следовало.

Но что поделать? Я был нетеатральным человеком, я был отравлен другим миром, от которого самонадеянно хотел отречься, и теперь мне стало по-настоящему стыдно за это свершившееся в моей душе отречение. Я отчетливо понял вдруг, что мое место не здесь и мне надо уходить из Любимовки, я сам себе твердил, что я попробовал, и ничего из меня не получилось, и из пьесы моей ничего не получилось, — я прозаик, а не драматург, пусть это не так интересно, как театр, пусть в литературе нет сцены и нет этой магии, пусть нет преданности, братства и бескорыстия. Значит, это все мне не по чину и, наверное, для того, чтобы я это понял, и нужна была в моей жизни Любимовка.

Я возвращался к людям, с которыми мог обсудить вопросы акционирования «Нового мира», гонорарную политику «Дружбы народов» и премиальную «Знамени», судьбу отдела «Искусства» в газете «Сегодня» и бондаренковский «День литературы», разборку двух мафиозных группировок — литинститутской и университетской, потолковать о том, кто поедет по писательской программе в американский штат Айова, и погадать, кто получит следующего «Букера» и уцелеет ли после всех своих испытаний «Антибукер» или его спонсору наконец надоест выкидывать деньги на скандалистов писателей. Я возвращался к критикам, которые с удовольствием и сладострастием отыскивали мои промахи, просчеты, выставляли их на свет Божий и полагали, что имеют на то полное право, ибо, как цитировал чьи-то слова в пермском поезде мой друг-зоил: человек, опубликовавший свой текст, совершил преступление и может быть публично казнен. Но к этим критикам я привык и ничего хорошего от них не ждал. Это был мой мир, в котором мне надлежало жить и выживать, и зарабатывать на хлеб, и кормить семью, и мучиться над неповоротливыми романами, этот мир жил по волчьим законам, и в нем я не раскрывался и никому не доверял, кроме двух-трех близких друзей, но другого мира у меня не было и не могло быть.

Мне, слава Богу, было куда бежать.

В сущности, на этом можно было бы поставить точку и тем завершить рассказ о покаянном возвращении блудного сына в большую литературу.

Но, когда я очухался после своих театральных странствий, когда отоспался и отвел душу в разговорах с друзьями, посидел с удочкой у воды, когда подружился наконец со своими «Жигулями» и не поскупился заменить на них коробку передач, научился въезжать в гараж с закрытыми глазами, с лихвой восстановил утерянные за год килограммы и негаданно-нежданно попал в американский штат Айова, по которому ездят на машинах столетние старухи, первое, что я сделал, очутившись в этих холмистых кукурузных полях, — принялся писать пьесу для следующей Любимовки.



Буддический город

*Ни кремлей, ни чудес, ни святень,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...*

Иннокентий Анненский

*Не такая ль ночь объемлет
Елисейские поля!*

Петр Вяземский

*Жилось легко, жилось и молодо —
Прошла моя пора.
Вон — мальчик, посинев от холода,
Дрожит среди двора.*

Александр Блок

Любое искусство имеет отношение либо к пространству, либо ко времени. Точнее: каждое из искусств о чем-то одном — времени или пространстве. Музыка — о времени. Проза — о пространстве; даже там, где проза прикидывается озабоченной временем (роман), время — не что иное, как мистически сервированное пространство. Я пишу прозу, потому что одержим пространством — и физически, и морально, и эстетически. Только пространство дает возможность разгуляться моей мизантропии; нигде я не чувствую себя так превосходно, как в мало- (не-) знакомом городе, пешком, без всякой цели. Или: у окошка пустого междугородного автобуса, где-то между Городцом и Бэнгором. Предметы, вещи и их расположение в пространстве, космические законы их повторения, разброса, взаимоотношения и взаимоотталкивания — вот что имеет пугающую власть над моим сознанием и волей. Определенное сочетание шпиля, угла газона, арки, изгиба набережной, инвалидного караула деревьев, дорожного знака, двух-трех фонарей и полусорванной рекламы приводит к полному растворению в этом куске пространства, к распаду сознания, воли, «я». Выпадаю в нирвану. Нет счастья большего для меня, потому и считаю себя истинно русским, тем самым «лихим человеком в ледяной пустыне», только вся лихость сводится к единственному *настоящему русскому желанию* — сгинуть как можно скорее и навсегда. Обзовите это буддизмом, я назову — «буддичностью», а места, где происходят со мной драгоценнейшие распады и растворения, назову «буддическими».

Возлюбленному Петербургу, буддическому городу моей жизни, я посвящаю этот текст.

I

Что лучше всего? В конце апреля или в начале сентября солнечным ветреным днем выйти из Московского вокзала, с каменной мордой мимо таксистов, к трамвайной остановке на Лиговке. Поставить нетяжелую сумку на морщинистый асфальт и почувствовать, как исчезает, словно чеширский кот, все вагонное и довагонное; свежий влажный воздух смывает железнодорожный пот со лба точно так же, как первая питерская затяжка отбивает вкус железнодорожной гастрономии (курица энд яйца). Ты один. У тебя нет, не было и никогда не будет семьи, карьеры, друзей, дома, родины, тебя самого. Кусками обгоревшей кожи слезают расшитые метафизическими позументами одежды твоего «я»: социальные, этические, эстетические. Голая экзистенция мнетя в предбаннике нирваны. И в этот самый момент,

словно забытый носок на левой ноге,— вспоминается: «Жалко, что я не католик, а то бы решил, вот оно — Чистилище, замерзшая античность!» Но куда уж там: приползает электрическая колымага и втягивает тебя в бесконечное петляние между Маратом и Рубинштейном, Достоевским и Правдой, Лермонтовым и Египтом. Плы-вешь то ли капитаном Немо по Окиану, то ли рыбкой в передвижном аквариуме. Будто прежние инкарнации вспоминаешь разом, перед тем, как забыть все. Стоп. Приехали. На остановке мнется замерзший Кирдянов. Только выходить уже некому.

II

Семидесятые пошиты из сиреневого вельвета, восьмидесятые скроены из ацетатного шелка попугайских оттенков. За две недели до смены моды в наш девятый «а» пришла завуч по внеклассной и заявила, что, несмотря на хулиганов (перст в арьергард рядов), на просто тупиц (взгляд возносится под потолок) и выпавших в пассив эгоистов (я заблаговременно занялся чисткой ногтей циркулем), ура, металлолома мы набрали больше всех и посему на зимние каникулы едем в Ленинград. Глазки долу и понижение интонации: «Сопроводжать вас поручили мне».

Как звучало оно, слово «Ленинград», тогда — семнадцатого декабря тысяча девятьсот семьдесят девятого года? На что намекало? Чем отзывалось? Маетная юношеская «лень» и тогдашний генсек «Леня» — так в ту неторопливую эпоху фонетийствовал для меня «Ленинград». О Лукиче, одарившем своей кличкой город Святого Петра, я и сверстники мои забыли намертво. Еще Ленинград проходил по разряду ближайшей из заграниц (то есть ближе Прибалтики) и был изукрашен заморскими словечками, вроде конфетных «Петергофа» с «Эрмитажем» и минерального «Ораниенбаума». В нем пьянствовали легендарные финны, а в магазинах продавали настоящую пепси-колу. Ходили слухи о труднодоступной Кунсткамере, где показывали голых уродов. Завуч по внеклассной (она же учитель литературы) помянула декабристов и «Медного всадника». Вот и все. По дороге домой я вспомнил, что у отца есть книжка «Город трех революций».

Мы ворвались в Ленинград через пять дней после того, как советские десантники ворвались в Кабул. Город пьяных финнов оказался тихим, оттепельным, пасмурным. Магазины открывались на час позже, чем у нас. Сосисочные соответствовали своему названию. Пепси-кола наличествовала. Надзирательница перемещала нас исключительно посредством метро, поэтому город в моем сознании имел вид некоторого количества дырок в мрачном декоре местной подземки. Сквозь эти дырки я наблюдал: вид с Аничкова моста на грязно-белую Фонтанку, забитую баржами и кранами, дворцы справа и слева придают панораме странную мультикультурность, на манер гринуэвской (шестнадцать лет спустя я такой же увидел Венецию); Площадь Искусств, Пушкин со снежной «московкой» на кудлатой голове, стайки воробьев и иностранцев, Русский музей, нежно-розовые голые бабы Кустодиева; очередь в Казанский; очередь в Исаакий; очередь (недостоянная; каюсь, до сих пор не добрался до прельстительных уродов!) в Кунсткамеру; очередь в Эрмитаж. О, Эрмитаж потряс меня! Никогда уже не выветрится впечатление, произведенное тогда широкой белой мраморной лестницей с псевдозолотыми перилами и псевдоантичными Венерами, Психеями и Аполлонами, дежурящими на ее площадках. Мой одноклассник Борясь, слывший за художника, так и застыл на одной из них. Он стоял, ковырял в носу, разглядывал мраморные гениталии и бормотал «Не реалистично!». Тем временем кое-кто из нас толпился у трона, другие с интересом изучали роскошные наборные двери. Но уже в районе Фра Анжелико мы стали маяться и интересоваться исключительно рамами и медными табличками. Помню, как я радостно оживился при виде хитроумных термометров и вентиляторов. После Рафаэля одеревеневшие ноги сорвались почти в бег, и — о чудо! — зал отдыха: жесткие, бобриком стриженные диванчики в окружении обжористых творений Снейдерса. И уже через двадцать минут — глоток никотина на влажном невском ветру.

Жили мы в спортзале местной школы у Техноложки, напротив какого-то кинотеатра, спали в туристических спальниках на гимнастических матах, вечером маялись от безделья, лазали по шведским стенкам, катались на канатах — в общем, вели жизнь, достойную приматов. За углом был бар «Пчелка»; там, скинувшись по червонцу, мы купили бутылку выпендрезного французского коньяка «Камю». Пи-

ли ночью, в темноте, на ощупь, из горла, с захлебам и всхлипами. В последний день я невесть как пробрался мимо швейцара к газетному киоску гостиницы «Ленинград» и купил свежий номер «Financial Times». Так на обратном пути, в жарко нагретом вонючем плацкарте, мы узнали о начале афганской войны. Ведь учился я в специальной английской школе.

III

Одно время я мечтал записаться в ложу любителей и знатоков питерской старины. О, сколько было приложено сил! Я чуть не разорился на перестроечных брошюрках улице- и домоведческого содержания, я ходил с книжечкой в руке и искал рябой дом Мурузи, учил хрестоматийные стихи, вышитые по гранитной канве адмиралтейской иглой, был водим по Коломне легендарным Владимиром Васильевичем Герасимовым... Но не выдюжил аскезы урбологоса, оказался на историко-культурную поверку слабаком, перепутал великого князя Александра Михайловича с великим князем Алексеем Александровичем, забыл морганатическую маму стихотворца Палея, не утер слезы в музее Анны Андреевны... Что делать, если почтенные сведения отлетали от меня, как плохая штукатурка со стены, пережившей пронзительно-влажную питерскую зиму! Но ворожили: разъезд трамваев у Новой Голландии; длиннейший проходной двор между Литейным и Моховой; улица Попова по левую руку от Каменноостровского; окрестности «Красной Баварии»; сочетание Никольского собора с советской пятиэтажкой напротив; деревянная сцена в Румянцевском саду; водонапорная башня у Таврического дворца; дорога от «Петроградской» до ЛДМ; чахлый сквер на площади Тургенева; как проплывает в вагонном окне Обводной, когда приезжаешь на Московский вокзал в 12.25. Есть еще одно место, быть может, самое главное в этом магическом ряду, но о нем особо.

Пеплом осыпается история с Камень-Града. Остаются ампирный гранит, индустриальное железо, постиндустриальные пластмасса и неон. Культура, вздыбившая этот город из чухонского болота, превратилась в Природу, Натуру. И я, словно буддийский монах, сидя в каком-нибудь уголку меж стеной, деревом и водой, впадаю себе потихоньку в нирвану. Это про меня напророчил самый петербургский из великих поэтов, это я маячу из астрала азиатской рожей. Какое уж там градоведение!

IV

Питер и алкоголь. Вот тема! Я неделями жил в Москве, не притрагиваясь даже к пиву. Но Питер! Этот город создан был Петром, чтобы пить там. И запирую на просторе. Сама архитектура родины «адмиралтейского пива» призывает отхлебнуть, глотнуть, нарезать, опрокинуть, потягивать, заложить, вонзить. Адмиралтейский и Петропавловский шпили вонзаются (один за другим) в неопределенность питерского неба точно так же, как две рюмки водки (одна за другой, между первой и второй перерывчик небольшой) — в смутность желудка кануна большой пьянки. Казанский расставляет свою колоннаду тем же веером, каким выставляет пиво на стол похмельный гонец. Логика «Перспективы» отражается в логике перехода от пива к водке, а извилистость пересекающих Невский рек намекает на возможность сделать финт ушами в сторону красненького. Арка Генерального штаба всасывает толпу, будто пьет из горлышка. В двенадцать бұхает пушка, оповещая всех, что адмиральский час наступил и пора браться за чарку. Тут опять кстати будет адмиралтейский шпиль с корабликом: он напоминает сияющую вилку, нацеленную в склизкий маринированный рыжик. Прыгают воробушки и чижики? И они согдятся: «Чижики-пыжики, где ты был?» Еще спрашивают?! На Фонтанке водку пил!

Уже второе мое путешествие в Ленинград было оркестровано алкоголем. Сама поездка так себе, пшик, увеселительная прогулка студентиков на зимних каникулах, из тех широко обсуждаемых развлечений, в которых особенно сильна невыносимая тупость любого корпоративного общежитства. Очнешься, бывало, где-нибудь на берегу Керженца (или Тиссы, не важно): маскулинная половина рубит ветки и обсуждает тонкости шашлычного дела, феминная часть споро строгавет салаты, хрипит касетник, непрременная романтическая сволочь задушевно настраивает гитару, а сам ты будто проснулся и вдруг: боже! где это я? что со мной? Где слог найду? Второе турне в Ленинград было из этаких. Среди немногочисленных его

приятностей стоит отметить лишь знакомство с местными букинистическими магазинами — на Литейном, на Невском, на Большом проспекте Васильевского, а также неожиданное обнаружение превосходного армянского портвейна в кондитерском магазине возле лютеранской церкви. Портвейн был густ, темен, души и сладок; он облагораживал душу и графически выстраивал мозговые извилины в виде загадочной фразы на армянском языке. Иногда после двух-трех бутылок мне казалось, что если я разгадаю эту фразу, то обрету полную власть над обстоятельствами: и мне отдастся вождельная одноклассница Лена, и зачет по строевой подготовке поставят, и свой запиленный семьдесят шестой «Цеппелин» я махну у Санька на новенького восьмидесятого Габриэля. Как видно, тогда вовсе не покой и воли хотелось, а власти. Сейчас, почти пятнадцать лет спустя, ничего мне не надо, только бы... Но об этом чуть позже. Итак, фразы армянской я, слава богу, не разгадал. Одноклассницу через год отчислили нетронутой, строевую я сдал с третьего раза, восьмидесятого Габриэля выиграл в карты у Караса в апреле восемьдесят четвертого и пропил с Дрюлей, Трофимом и Титькой в горьковском баре «Волга» в мае того же года. Что же до армянского портвейна, то он имел два важных недостатка: тяжелейшее похмелье и бирку «цена 5 руб.». Утро предпоследнего дня пребывания в городе трех революций гости встретили в неописуемом бодуне и с последним червонцем на всех. Оставив Лорис, Маньку и Диму Стрелкова складировать пустые бутылки, я направился почему-то в Эрмитаж. Моей квадратной голове соответствовал лишь кубический период Пикассо; там я и пристроился на диванчике. Было пусто. Через четверть часа герменевтического погружения в мир угловатых форм я обнаружил, что рядом со мной на вытертом плеше лежит кошелек. Благородное армянское воспитание еще не выветрилось, и я подождал с полчаса. Никто не шел. Я сел на кошелек и подождал еще десять минут. Пусто. Вижу себя судорожно заталкивающего кошель в карман и с фальшивой беззаботностью удаляющегося в мужской туалет. Сорок рублей и проездной билет до Нового Петергофа. Если человек, забывший кошелек в эрмитажном зале Пикассо восьмого февраля тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, сейчас читает эти строки, то я искренне прошу его простить меня. Бес попутал. Кубический франко-испанский бесенок Пабло. Тот же бес заставил меня купить на трофейные деньги бутылку коньяка и две бутылки бенедиктина. Прощальная пьянка была выполнена во французских тонах. О, бездарное время! О, время бездарных поступков!

А теперь — как обещал, о «только бы». Года три назад я прогуливался с поэтом Пуриным между Литейным и Фонтанкой. Было сыро, пасмурно и похмельно. Все слова были сказаны накануне. Тихий ангел накручивал километры вокруг наших меланхолических фигур. Благословенные «Воды Логидзе» приняли нас, мазуриков и мизантропов, даровав горечь стопки, сладковатую густоту томатного сока и забытый вкус советского бутерброда с салакой пряного посола. Восстановив равновесие, мы вышли и пристроились покурить на какой-то детской площадке. Я сидел на резном деревянном драконе лицом к торцевой стене дома. Грязно-зеленая стена была покрыта изумительной яркости фресками из жизни инопланетян. Такая стенопись есть только в Латинской Америке. Я сидел с тлеющей сигаретой в руке, с нее сыпался пепел, с трех сторон меня окружали инопланетяне на зеленых стенах. С четвертой дул ветерок, там, справа, стояли запущенная церковь, несколько домов, виднелся кусок Фонтанки. В этом ландшафте я «растворился» в первый раз. Когда я «вернулся», сигарета еще не дотлела. Нечеловечески спокоен был я. Я узнал, что такое «покой и воля». Точнее — «мир как воля и представление».

V

Город этот — все для глаза и кое-что для носа — уши оставляет праздными. Слух нужен здесь портативный, бытовой, кроме разве что тех мгновений, когда тревожно гудит морской порт или стреляет пушка. Аборигены из интеллигентных напропалую завидуют московскому малиновому звону, венецийским площадным концертам, шуршащей тишине лондонского Хэмпстеда. Да и вообще нирвана вряд ли создана для улаживания слуха. Есть, конечно, Мариинка, только музыка ее функциональна и несамодостаточна, так как составляет часть знаменитой триединой формулы (нет-нет, не «православия, самодержавия, народности»!): «Мариинка пляшет, Елисей торгует, Романов правит».

Здесь на бескрайних безмолвных площадях сдергивали шинели с трясущихся плеч. Здесь молча рубили в капусту старушек. Грозили меди кулаком. Бесшумно умирали от голода. За все это Питер решил отыграться на пасмурном закате совка; отыграться на гитаре и отпеться в микрофон.

Весной восемьдесят третьего появился Дрюля, хаерастый, исхудавший пуще прежнего, и поведал, что в Питере полный атас, сплошняк клевейшие чувачки, хиппаны, портвешок, все дела; что панки там прикинутые, как в Лондоне, что пилл лабаёт рокешник и команды есть кайфовые: поют на русском. Правят в Питере Боб, Майк и Цой. В доказательство Дрюля накручивал на моем магнитофоне километры пленок. Ни до того не слышал, ни потом не услышу подобного. То не спящий проснулся, а глуховатый и безголосый город заговорил, завыл, запричитал, забормотал, блуждая в корявых аккордах, как в бесконечных проходных дворах. Впервые в жизни я столкнулся с настоящим *современным* искусством; с искусством, которое делалось в соседнем бараке родимого концлагеря. Мне, выращенному на кухоньке позднесоветского сентиментализма под песенки из «Иронии судьбы» и шуточки из «Гаража», казалось, что все искусство (впрочем, как и история) уже сделано. Остается его потреблять. Ан нет, вот тебе ангелоподобный демон Гребенщиков, привывающий: «Минус тридцать, если диктор не врет, моя постель холодна, как лед», скрипящий аутсайдер Майк Науменко: «Я сижу в сортире и читаю „Роллинг Стоун“, Виктор Цой, эта корейская инкарнация Есенина, замогильный «Пикник», шизоидные «Странные игры»... «Россияне», «Санкт-Петербург», «Автоматические удовлетворители», «Тамбурин»... Наконец, совсем уже невозможная «Охота романтических их». Их! Их бин! Я емь, если все вышеперечисленное эст в восемнадцати часах и семнадцати рублях от меня. Поехали! «Зажав в руке последний рубль, уйдем туда, уйдем туда, где нам нальют стакан иллюзий и бросят льда».

Сентябрь восемьдесят пятого я провел в Питере, для меня уже не Ленинграде. Старый Питер бока повытер, да так в потертом камзоле вылез на сцену и сбцаал:

Сидя на красивом холме,
Я часто вижу сны,
И вот что кажется мне...

В этих снах я уже не видел ни финнов, ни пепси-колы, ни «Медного всадника», ни Эрмитажа с Русским музеем. Центром Вселенной была улица Рубинштейна, дом номер 13, крохотный совдеповский зальчик мест на сто пятьдесят, засранная сцена и на ней полубоги. Разговаривали мы с друзьями исключительно цитатами из песен; как герои этих песен, лакомились «Кавказом» и дымили «Беломором». Книги читались лишь те, что упоминал божественный Боб: Толкиен, «Похищение быка из Куальнге», «Дао дэ-цзин», учебники по буддизму доктора Судзуки. У меня сохранился экземпляр англоязычного «Хоббита», надписанный каким-то гребенщиковским приживалом. Некий Серега dixit: «Чтобы стать бессмертным, надо беречь две жидкости — слюну и сперму».

Белым шаманом — вот кем я хотел стать. Я ворожил, сидя на металлическом заборчике на Рубинштейна, за чашкой кофе в «Сайгоне», в полночь на Зимней канавке, в очереди за «Агдамом» в гастрономе на Владимирском, в тусовочном шурумбуруме на чужом флэте, в котлетной на углу Мойки и Невского. Чары деять, тихо ворожить. Обдолбанный живым искусством, я пытался обдолбать им окружающий мир; последний представлялся мне параллельным, ирреальным, жили там не люди, а силуэты; свои в этом мире опознавались с полувзгляда, впрочем, бабушка Гребенщикова тоже считалась своей.

В редкие минуты просветления мне было очень скучно и хотелось домашнего борща.

Я ездил в Питер по рок-н-рольной нужде еще в восемьдесят шестом и восемьдесят восьмом годах. Тем временем все стало можно. Всего (в смысле искусства) стало больше. Опитерился патетичный Шевчук. Неистовствовал гениальный эстет Курехин. Разыгрывался хитроумный «Аукцион». Все это опрометчиво обзывали «анти-тоталитарным искусством». На перестроечные сопли еще не завезли платков. Между тем любое искусство тоталитарно, иначе оно не искусство. К концу восьмидесятых мне надоело все: тоталитаризм, искусство, я сам. Хотелось ничего. Ничего. Вот тогда-то я и вернулся к Питеру, который прозревал всегда за сотканным из музеев, кон-

цетров и тусовки покрывалом Майи — к буддическому городу под северным небом католического Чистилища.

Каким осадком, растворившись почти без оного, наградила меня питерская рок-революция? Язвой; фразой о медитации на потолке, обликом дешевым вином; фрезой головной боли при произнесении славного имени Артура Рубинштейна; и, пожалуй, легким молодящим закосом под неформала. «Стареющий юноша в поисках кайфа». «Чтобы стать бессмертным...»

VI

Я вспоминаю свои питерские убежища, приюты, перевалочные пункты. Комнаты, комнатенки, кельи, койки, квартирки, квартиры, квартирищи. Бесконечные карманы, внутренние и внешние, накладные и потайные, застегивающиеся, запирающиеся и нараспашку, среди геометрически правильных складок вытертого в боках питерского камзола. Я перебираю их в памяти нежно и умильно, как нумизмат перебирает редкие монеты. Как и монеты, мои пристанища не от текучего и живого мира сего; они застыли, они мертвы, они есть артефакты, они от мира того. Для меня, конечно.

Чего только не было! Чего только не было? Не было много чего: квартир и комнат таких и этаких, начальственных, богатых, антикварных, артистических. Но много чего и было! Например: оставленная чьей-то услужливой тетей однокомнатная пещерка в новостроечной мгле, начинавшейся в тридцати минутах езды от «Академической». Упомянутый февраль восемьдесят третьего. Целую неделю наша гетеросексуально ориентированная разнополая компания обследовала эту берлогу на предмет уединения в укромном месте. Тщетно. Или: деревянный домик в Старом Петергофе в восемьдесят пятом. Каменистый берег Финского залива, холодный сентябрь, половина стекол выбита, отопления нет, впрочем, нет и горячей воды. Волны бушуют у крыльца. Что вокруг? Пожалуйста! Заброшенная база отдыха. Лес (в припадке недоедания ходили туда по грибы). Где-то там — зона. В тот сентябрь из зоны бежал зек с автоматом, прятался в округе. По пути со станции домой нас частенько шмонали взвешники с овчарками. А вот совсем банальная пристань «рок-революционной эпохи»: двухместный номер в гостинице ЛДМ. Человек двадцать спят вповалку. Рота пустых бутылок из-под «Шемахи» оцетинилась зелеными штыками горлышек. Россыпь кассет на полу. Наш сумбурный still life.

Но не буду уподобляться патлатому ветерану в джинсне. Уподоблюсь социологу. Как по-советски хороша была пролетарская двухкомнатная хрущевка в Автове! Там жило семейство работников Путиловского и попугай. Этот попка однажды, сидя на плече моей любимой, клонул ее в мочку уха. Попугая я зацепил-таки полотецем, а зардевшуюся мочку нежно чмокнул. Вот такая галантерейная социология... А что, если отведать антропологии? Году в девяносто первом жили мы с любимой (любимая у меня одна) в настоящем Гарлеме. Гарлем располагался на Васильевском острове, у Владимирского кладбища, и некогда был общежитием для иностранных студентов ЛГУ. К концу перестройки здание было заселено одичавшими неграми и почему-то осетинами. Альма матерью здесь не пахло. Зато пахло анашой и «зелеными». Заправлял всем фантастический жулик неправдоподобно маленького роста невозможной национальности: он, видите ли, помесь грека с айсором, родился в Одессе, а вырос в Армении. За двадцать пять рублей этот василиск давал на неделю ключ от комнаты, в которой мебель состояла из двух матрацев, двух гвоздей в стене и двух стульев. Полную симметрию разрушал стол. Для того чтобы жить там, надо было иметь: постельное белье, надувные подушки, одеяла, электрические лампочки, фонарик и ангельскую политкорректность по отношению к противоположной расе. Леви-Стросса, надо сказать, из меня не вышло.

Последние несколько лет я, как лесной клещ, забираюсь в самую потаенную, внутреннюю питерскую плоть. Меня можно видеть входящим в дома на Фурманова, Литейном, в Коломне. В Коломне, кстати говоря, я как-то обитал у главного, единственного и неповторимого буддиста этого буддического города — у Александра Михайловича Кондратова. Кондратов с детства занимал мое воображение: отец был дружен с Александром Михайловичем — и я представлял этого лингвиста-йогаспортсмена-историка-путешественника-археолога-литератора-богзнаеткогоеще каким-то жюльерновским героем; и не ошибся. Лет в тринадцать, роюсь в отцовском

книжном шкафу, я наткнулся на самиздатовские сборнички стихов Кондратова, точнее, Сэнди Конрада. Как ни странно, но именно эти эфемерные, криво нарезанные листочки со слепошрифтовыми «Горькими Максимками», «Некрасками», «Пушкинотами», «Толстовками» впервые зацепили мое рассеянное внимание за бесконечное зубчатое колесо отечественной словесности. Я все мечтал, что как-нибудь выйду к доске и прошилю в физиономию ненавистной училке-литераторше: «Писушкин, / Пирушкин, / Пичужкин, / Поюшкин — / наш ляжкин, / ннаш пьюшкин» и т. д. Не вышел, конечно.

Даже сейчас, в канун четырехлетия его смерти, нет резона специально описывать кондратовское жилище. Их много — таких келий питерских чудаков; только вот таких талантиливых чудаков было крайне мало, а может, и не было вовсе. Вспомню лишь, что унюхал мой нос. Сухой, деревянный, чуть тронутый кисло-сладким запахом комнаты Кондратова. Наверное, так пахнут холостяки из романов Диккенса. Александр Михайлович считал себя буддистом. Александр Михайлович был буддистом. Он верил в Ничто, в Блаженную Пустоту, в Безмятежный Абсолютный Нуль (не Ноль!). Веру свою он маскировал бешеной активностью и невероятной работоспособностью; никому в голову не пришло бы совмещать их с разного рода восточными наркотами в пересказе доктора Судзуки. Но разве в этом городе можно скрыть, что перевыполнение ткацкой нормы по производству покрывала Майи есть не что иное, как своего рода буддический гностицизм?

(Одна из самых свежих записей, снятых скрытой камерой.) Запросто, налегке, иногда с пакетиком, в котором позвякивает «Балтика № 3», с батоном или просто — руки-в-брюки, с босяцким бычком, прилипшим к нижней губе, я ныряю в мрачный подъезд. (Из экстерьера в интерьер.) В этих убежищах — больших темноватых пыльных питерских квартирах, где роль «Перспективы» играет бесконечный коридор, — я крутолобым младенцем вкушаю младенческий сон, а ближе к полудню пробуждаюсь, чтобы впасть уже в другой. Бесцельно брожу сумрачным коридором, пальцем вожу по мутному стеклу встроенного стенного шкафа, разглядываю фотографию чьих-то доблокадных родственников. Тихо, даже часы не стучат. Открою том шереметьевского издания Вяземского. Полнуюсь неведомыми мне французскими фразами. Захлопну. Послежу за испуганным пылевым облачком. Выключу свет. Включу свет. Подойду к окну. Там: проходной двор, жухлая клумба, осинка, блистающая последним листом, словно золотым зубом, бож полузаныривает в мусорный контейнер, бабуся в красном платке и грязно-бежевом пальто раскачивает на качелях внука. Скает воробей. Все. Здесь конец «Перспективы». Точка.



Праздник в чужом окне

Цветы для Пиаф

Это случилось в первую мою поездку на Запад, во Францию, в группе писателей. Были автобусные экскурсии в Шартр, Тур и другие города, а потом был сам Париж, где молодой хлыщ из советского посольства, заглядывая в бумажечку, проинструктировал группу номер такую-то (это нас), как себя вести, и куда можно, и куда нельзя ходить.

Мы записали все подробно: и Сен-Дени, и Пляс-Пигаль, и другие злачные, категорически не рекомендованные нам места, и, как только нас отпустили в город, ринулись на их поиски. Но об этом я еще расскажу.

А потом с нас собрали по несколько франков на цветы и привезли к знаменитой стене Коммунаров, где мы должны были положить по одной красной гвоздике, что мы и сделали.

Вторая гвоздика, как мы уяснили, предназначалась вождям компартии Франции, чьи могилы, роскошно оформленные дорогим мрамором, на фоне других, даже самых знаменитых, приплюснутых друг к другу, выглядели, как ныне бы выглядели захоронения каких-нибудь крестных отцов мафии.

А наша сопровождающая от фирмы «Транс-тур», красивая чешка, крашеная блондинка, простодушно объявила, что автобусы за неимением места будут ждать нас у противоположных ворот, так что нам поневоле придется пересечь все кладбище.

Мы, конечно, согласились, понимая, что благодаря этой маленькой хитрости сможем увидеть и могилы великих: Бальзака, Гюго и других.

И вдруг на пути — могила Пиаф, такая же маленькая, какой в жизни была она сама: сто сорок семь, что ли, сантиметров... Мы столпились вокруг маленького серого камня, такого драгоценного для всех нас.

Я уж не помню сейчас причину, по которой мне не захотелось отдавать свою вторую гвоздику богатеньким могилам коммунистов, у которых всего там хватало: и венков, и цветов. Правда, от делегаций, а не простых посетителей. Но тут я достал из-за спины скромненький мой цветок и пробормотал — и для стукачей, которые среди нас были, но больше для понимающих, — что вот-де Морис Торез, на могиле которого мы только что побывали, был при жизни прежде всего мужчиной, и, конечно, он бы одобрил, если бы узнал, что цветок, предназначенный для него, я отдаю этой великой женщине. Я вовсе не был уверен в этом: у коммунистов, в общем-то у любых, чувства так заморожены ихним марксизмом, что они и цветов-то не замечают. Но я так сказал, а потом положил цветок на серую плиту с датой смерти Пиаф — 10 октября 1963 года, — и вся группа вдруг мне зааплодировала. И стукачи аплодировали тоже.

Это был единственный тогда цветок на могиле Пиаф. Влюбленный в нее Париж не носит почему-то сюда цветов, хотя на уличных базарчиках и в магазинах их море.

Однако я тогда же дал себе слово, если нас еще выпустят в Париж, принести сюда букет роз.

Ночь на Монмартре

Эти слова вертелись во время поездки у меня на языке — про праздник, который в чужом окне. Но это правда, так ощущалось тогда все, что мы видели.

Ну, представьте, если сможете, замороченных, запуганных советских писателей, у которых и денежек-то наскреблось на эту поездку, лишь когда они залезли в долги, и которых, прежде чем выпустить за рубеж, пропустили через всевозможные мясорубки и фильтры, поставленные на их пути недремлющими органами; напоследок нам выложили — от щедроты души — по тридцать с чем-то франков, это, кажется, долларов шесть-семь... И произнеся нечто вроде: ежайте, смотрите, но берегите честь и помните, что вы советские люди, — отпустили наконец в Европу.

О том, что мы советские люди, мы не смогли бы забыть, если бы и захотели.

Когда мы вылезли из автобуса, в ожидании дальнейшей участи толпясь у подъезда какой-то гостинички, то сразу же, это понятно, уперлись глазами в витрину ближайшего магазина и вдруг поняли, что мы не просто бедные туристы, об этом мы догадывались, но что мы нищие туристы, которых в голом виде представили этой самой Европе. Ибо сатиновые трусики в витрине стоили больше, чем было у нас франков.

После этого иметь такие деньги расхотелось вообще.

Мой приятель рассказывал, что одной из поездок, самых-самых тогда первых, писательское руководство решило поощрить достойных, ну, скажем, тех, кто верно прислуживает, и с десяток писателей привезли сюда, в Париж.

Прилетели они ночью, разместились в какой-то гостинице, а утром, едва позавтракав, вылезли на белый свет и так же, как и мы, усталились на витрину магазина. И так долго ее рассматривали, что не заметили, как из дверей вышел сам организатор и вдохновитель поездки Виктор Николаевич Ильин, прежде генерал КГБ, а ныне оргсекретарь писательского Союза, имевший одну, но железную задачу: бдительно следить за чистотой не только рукописей, но и мыслей вверенных ему творцов.

В Париже тем более.

Неизвестно, долго ли он разглядывал тощие писательские зады и сверкавшую за ними и заполненную товаром обыкновенную для Парижа, но не для наших людей ту самую витрину, но вдруг раздался, как с небес, его возглас: «Бе-зо-бра-зи-е!»

Попробуйте услышать, когда вы ступили на чужую землю и чувства, и нервы до предела обострены и вы хотите что-то увидеть и понять с первой минуты, а это, конечно же, витрины магазина, без которых, как утверждал Герберт Уэллс, город — как человек без глаз... И вы впервые в жизни теряете ту самую осторожность, которая сопровождала вас всю жизнь в России и не давала смять вас и уничтожить, и в этот необыкновенный момент раздается, как небесный глас, знакомый до боли чуть скрипящий баритон:

— Бе-зо-бра-зи-е!

Относилось это не к писательской шантрапе, каковой ее числили про себя вышестоящие начальники, а к витрине магазина. Все вздрогнули и замерли в ужасе, а потом отпрянули, принимая должный для советского человека, то есть гордый и неприступный, вид... Дескать, что нам витрина, видали мы и не такие...

Но витрины города, да еще Парижа, на то и существуют, чтобы показывать, чем живут люди. И нетрудно понять, что, если даже нам демонстрировали Нотр-Дам или Орсе, или Александровский мост, мы все равно, скашивая глазок, замечали и остальное, то, что, возможно, нам и не полагалось видеть: туристские ларьки, развалы книг и уличные выставки-продажи с картинками Парижа, и многочисленные кафешки, где за чистыми стеклами восседали, словно на картинах Ренуара, всамделишные парижане и с несколько скучающим или задумчивым, или беспечным выражением лица попивали свой утренний кофе.

Это же я увидел и на Монмартре, куда пешочком, не очень близко, дошел, добрался, долез, все в гору да в гору, но, слава Богу, собор отовсюду виден, и не

заблудишься, пока топаешь, морщась от набитых мозолей, по узким и не очень даже знаменитым улицам светлой парижской ночью.

Почему — ночью, да потому, что днем была своя программа, ну хотя бы такая, как посещение квартиры, где жил Ленин, а ночь нам милостиво дарили наши организаторы для познания того Парижа, который мы сами хотели увидеть. Слава Богу, он и ночью был прекрасен, может, даже еще лучше, чем днем.

Забравшись на Монмартр по уходящим все вверх и вверх улочкам, а потом и многим, многим ступенькам, на которых, как на трибунах стадиона, сидели молоденькие парижане и, не обращая ни на кого внимания, целовались с парижаночками, я бродил по крошечному этому кусочку Парижа, как по необитаемому острову, ощущая себя в некотором роде Робинзоном.

Я был без языка, без имени (ибо паспорта у нас сразу же отобрали), без денег...

Можно считать, что как бы и не был вообще, и не было странным, что меня никто не замечал.

Но я-то был. И был там. И всей кожей ощущал это мое присутствие.

И если не был запечатлен тамошними бойкими глазастыми художниками, то в воздухе, в молекулах, в ионах, которые складывались на тот момент в особенной атмосфере Монмартра, где-то остался мой скромный контур, ибо ничто не исчезает совсем. В этом я уверен. И еще более уверен, что и во мне, в моей внутренней структуре, где-то отпечатался, может быть, чуть смущенно, робко, но четко по ощущению, этот особенный островок Парижа.

Я вошел в знаменитый белоснежный собор Сакре-Кёр, и была там, на мое счастье, ночная служба, и можно было присесть, и отдохнуть, и думать о чем-нибудь совсем прекрасном: о Монмартре, о Париже... о Боге... И немножко о себе.

Мешала мысль о стакане воды. Сперва я подумал, что это никакая не проблема — найти какой-нибудь фонтанчик да напиться, но фонтанчика на Монмартре не было. И туалета не было... Бесплатного, а платить было, понятно, нечем.

Так, умирая от жажды, почти как в пустыне, хотя в это трудно поверить, я между тем не оставил ни на минуту мой ночной Монмартр. Я твердо знал, что другой такой ночи у меня в жизни не будет. И бродил от кабачка к кабачку, и заглядывал в окошки, ощущая прямо-таки кожей, как хорошо быть парижанином и посиживать поздним вечером, коротая время за столиком и попивая, скажем, винцо. И даже (ох!) воду.

Я им не завидовал. Честное слово! Я наслаждался их наслаждением и веселился их весельем. Если меня как бы не было, то, значит, я был теми, кем я любовался.

Один лишь раз, но очень неожиданно, я услышал за спиной слова, произнесенные по-русски. Я даже не обрадовался. Я знал, что здесь никакой язык, а мой тем более не нужен.

Но я оглянулся и увидел двух подростков: парня и девушку.

И они почему-то догадались, что я свой, и спросили: «Вы русский?»

Я ответил, что я из Москвы.

Помню, они удивились. В ту пору москвичей здесь было, наверное, немного. Они же оказались теми русскими, которые живут в Париже. Их родители когда-то уехали из России, а эти молодые люди совсем не знают своей бывшей родины, но мечтают туда съездить и посмотреть. И им, конечно, интересно узнать: как там сейчас?

Я не знал, что им ответить.

Я сказал: «Нормально».

А они оживленно закивали, потому что они жили в нормальном городе и другой жизни, не такой нормальной, все равно не смогли бы представить. Наверное, они представляли, что в Москве так же нормально, как у них в Париже.

Но хоть и были они настоящие парижане, им тоже было, оказывается, интересно, как и мне, заглянуть в окно случайного кабачка тут, на Монмартре, чтобы увидеть, как там веселятся.

Мы даже обсудили изобретательного хозяина, который повесил под потолком какие-то, наверно, вышедшие из употребления ассигнации, так что посетители сидели прямо под деньгами... Шелестящими над головой.

А потом мы простились, и, встретив зарю, растворившую в белом сумраке огни лежащего внизу города, почти обесцветив его, я побрел вниз.

Что за странная деревня

Это поговорка такая: «Что за странная деревня, хлеба не на что купить!»

Примерно то же мы ощущали в Париже.

Нет, разговор идет не о тряпках, но о чем-то другом, без чего сама поездка становится как бы не совсем полноценной: памятной, скажем, открыточкой полюбившегося собора, путеводителя, билета в музей, не предусмотренного программой (таковым был почему-то музей Родена), да и просто стакана воды, без которого я тогда чуть не умер...

Господи, как же хотелось мне там, на Монмартре, пить!

Случилось, в Шартре, это был практически первый город Франции на нашем пути, после ужина, не позднего и относительно сытного в сравнении с очень экономной столицей, с невероятным количеством клубники, нам разрешили погулять.

Не хочется каждый раз объяснять, что слова такие, как «разрешили», «отпустили» и так далее, были нормальными для той, нормальной нашей жизни.

Мы ринулись на улицу с ощущением долгожданной свободы.

Были майские сумерки, и темная громада знаменитого собора четко прорисовывалась на фоне еще светлого, без звезд, неба своими башенками и куполами, будто горные вершины где-то в Коктебеле.

Мы уже были наслышаны, даже начитаны о нем, но еще не догадывались, какое нас ждет чудо наутро, когда мы войдем под его своды.

А сейчас мы обошли, задирая голову, темную махину, вдыхая особенный запах древнего камня и примешивающийся к нему сильный аромат неведомых цветов, и пошли бродить по улочкам, которые оказались почему-то в неподзвонный час совершенно пустынными.

Встречались на пути кафе или бистро, где через распахнутые двери можно было увидеть спины немногочисленных посетителей.

Однажды лишь в самом конце какой-то прямой улочки я увидел одинокую фигуру и обрадовался: значит, все же французы, которых мы еще не успели разглядеть, кроме радушного хозяина кафе — он накормил нас до отвала душистой клубничкой, — тоже гуляют по своему городу. Каково же было разочарование, когда предполагаемым французом оказался человек из нашей группы, забредший на ту же улочку, только с другой стороны.

Единственной приятной находкой оказалась коробка, обнаруженная у какого-то подъезда и набитая доверху газетами и журналами, выброшенными за ненадобностью.

Я тут же всю ее исследовал, всю перекопал и обнаружил несколько потрепанных номеров «Фигаро», которые я забрал на память, радуясь своей удаче.

Утром, за завтраком, я похвалился находкой.

Сидевший напротив Алик Ревич, чуть усмехнувшись, признался, что и он покопался в этой коробке, но, видимо, уже после меня, ему уже достались одни спортивные журналы.

А Игорь Минутко со вздохом добавил, что ему досталась только пара каких-то иллюстрированных еженедельников.

И тут мы все трое громко заржали, а смуглый алжирец, официант, нам безлозубо улынулся. Если бы он понимал, чему мы так глупо радовались!

Теперь, каждый раз вечером мы, почти как истинные французы, могли полистать на сон грядущий очередной номерок, рассматривая картинки со всякими там обнаженными девицами, рекламирующими какой-нибудь бюстгальтер.

Некое соприкосновение с массовой культурой — то же, что заглядывание в чужое окошко. За сердце не схватит, как Пиаф, но любопытно.

Однако случались подарки и другие. Так однажды в экскурсионном автобусе вышел из строя микрофон, по которому вещала наша прекрасная блондинка-чешка.

Вызывать мастера за двести километров от Парижа или заменять автобус было, наверное, не с руки и дорого, и бедная чешка надрывала голос, чтобы что-то нам по дороге рассказать.

И где-то на остановке, во время обеда, я вызвался посмотреть аппаратуру и тут же обнаружил мелкую неисправность: перетерся проводок, идущий к микрофону.

При помощи перочинного ножа и найденного у кого-то лейкопластыря я зачистил и соединил проводок, и микрофон снова заработал — на радость всей группе и, конечно, нашему гиду.

На следующей же стоянке она торжественно объявила, что фирма выражает мне как русскому самородку благодарность и просит принять небольшой подарок.

Это была бутылка красного вина «Бордо» и знаменитый, знакомый по каким-то книжкам сыр «Камамбер»: круглая толстенькая коробочка с яркой этикеткой.

Я думаю, что все это она купила на свои деньги.

Вся группа собралась взглянуть на драгоценный подарок; одни предлагали сразу же выпить и закусить, другие советовали везти в Москву и показать друзьям, чтобы и они увидели, что такое настоящее «Бордо» и настоящий «Камамбер»!

Несмотря на активные уговоры Игоря Минутко разделаться с заветной бутылкой тут, на месте, и почувствовать Францию в свете выпитого, я внял совету вторых.

Сыр, правда, не выдержал жаркой погоды и взбух до неприличия. Я не уверен, что мы смогли проникнуть в тончайшие вкусовые нюансы редкого сыра, он был противен, но мы его все равно съели.

А вино оказалось вполне приличным, но по отзыву моих друзей ничем было не лучше, чем какая-нибудь болгарская «Гамза», которую мы тут же добавили в большом количестве для полноты ощущений. Ведь не единой бутылкой жив человек.

На улице Мари-Роз

С детского сада мы помнили, что наш дедушка Ленин проживал в Париже, на улице Мари-Роз, где готовил для нас свою революцию.

Понятно, что по просьбе наших организаторов нам будет предоставлена редкая возможность посетить это святое для каждого россиянина место.

Ах, лучше бы придумали они посещение, скажем, могилы Бунина и других великих русских на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Но туда наших соотечественников почему-то не возили.

Еще в Москве, на одной из очередных проработок будущей группы, было нам задано купить в складчину сувениры, и в том числе непременно гипсовый бюстик Ленина и памятные значки для музея-квартиры на улице Мари-Роз.

Так мы и сделали, и кто-то из группы вез традиционную для подарка водку, а кто-то тащил гипсового Ленина. Его мы торжественно и преподнесли старичку пенсионеру, который показывал нам музей.

Старичок был еще бодрый, нарядно одетый, он встретил нас еще в подъезде и просил не слишком шуметь на лестнице, ибо жильцы, как бы это выразиться... не очень одобряют эти посещения.

Мы почти молча, друг за другом, поднялись на какой-то этаж и проникли в довольно просторную квартиру. Старик принял рассказывать что-то хрестоматийное об Ильиче, попросив не слишком ходить по квартире и не открывать одну из дверей, ведущую якобы в чужое жилье, а мы, кроме нескольких женщин, покорно выслушивавших все, что положено выслушивать, расползлись по квартире, заглядывая в окошко и трогая книги на полочке, которые наш вождь, судя по всему, читал на досуге.

Но книги Владимира Ильича оказались не книгами, а бутафорией, под обложками была пустая бумага.

Вскоре меня отозвал Игорь Минутко, который по скверной писательской привычке совать нос куда попало, конечно, сунул его туда, куда нам не рекомендовалось, а именно: в узкую дверку, ведущую, как оказалось, ни в какое не

жилье, а лишь в кладовочку, и таинственно сообщил, что советует мне туда заглянуть.

Я тихохонько ретировался в коридорчик, приоткрыл странную дверь и чуть не ахнул: там навалом, чуть ли не до потолка лежали сотни гипсовых бюстиков дедушки Ленина, всех размеров и фасонов.

Мне представилось, как бедный пенсионер, живущий на скромную плату, предоставленную советским посольством, и ненавидимый жильцами дома, нанимает по ночам грузовик и под покровом темноты грузит этих бесконечных одинаковых вождей, чтобы вывезти их на свалку.

Но возможно, что ему не совсем удобно по идейным соображениям вываливать на помойку в таком количестве вождей мирового пролетариата и он мутузит их сперва по головам железным ломиком, который я тоже заприметил в углу кладовой, неистово и зло превращая анонимные шедевры соцреалистического искусства в обыкновенные куски мела. А потом каждый раз вздрагивает от ужаса, когда очередная шумная группа русских туристов, вваливаясь в музей, извлекает еще один, ненавидимый ему, гипсовый бюстик. «Лучше бы подарили бутылку водки», — с тоской, наверное, думает он.

Мы простились с трогательным стариком, он стоял на пороге квартиры и, облегченно вздыхая, сверху смотрел на нас.

Мы благодарно помахали ему с тайной надеждой, что больше никогда сюда не вернемся.

Такие большие бульвары

Все началось с того самого краснощекого хлыща из советского посольства, который популярно нам объяснил про все значные места, которые надо обходить стороной.

Ровно через час после появления на улицах Парижа мы уже стояли на запретной улице под названием Сен-Дени, рассматривая бесконечные сексшопы, секскино и просто стоящих у подъезда «девочек» в одних колготках и легкой одежде до пояса, опытными глазами вылавливающих потенциальных клиентов.

К нам они даже не цеплялись; было очевидно (во всяком случае, для них), что мы не из тех, кто им нужен.

Проезжали машины, хотя улочка была тесна: в один лишь ряд и только в одну сторону, а рядом шумел просторный Севастопольский бульвар, и прямо из машин, через окошко начинался торг, и «девочки», которым повезло, оживленно вскакивали в приоткрытую заднюю дверь и исчезали. Их место тут же занимали другие.

А мы трое — Ревич, Минутко и я — с плохо скрываемой растерянностью озирали бесконечные, пестро высвеченные огненно-красные вывески и витрины с фотографиями обнаженных девиц, решая, в общем, неразрешимую для русских туристов задачу, как поменьше потратиться и побольше получить, то есть посмотреть какой-то из сексфильмов, показ которых, как нам шепотом успели разъяснить, по понедельникам стоит гораздо дешевле. И тут мы увидели совершенно необычную картину: по противоположному тротуару продвигались странным образом человек десять туристов, все из нашей группы, в основном женщины, во главе с бывшим полковником-отставником, нашим руководителем. Якобы он был военный писатель из какого-то провинциального городка.

Женщины, не вызывая ни малейшего интереса среди прохожих, кроме нас, шли по краю улицы цепочкой, крепко ухватившись друг за друга и испуганно оглядываясь по сторонам, так их, видать, здорово накачали по время беседований; да и сам полковник, хоть и вышагивал, как петух, впереди, но был настроен и лишь по временам, оборачиваясь к группе, выдавал по ходу дела мысли о социальном неравенстве и ужасе открывшейся классовой бездне от представших взору значных парижских мест.

Понятно, что таким образом смотреть Париж могли разрешить и свыше. Ведь славился своими репортажами один журналист в Англии, который вел их на фоне всяческих свалок. Кажется, его даже прозвали между собой коллеги Борька-помойка.

Нам было видно, как женщины согласно кивали и робко интересовались (это мне рассказали потом), сколько могут заработать такие парижские проститутки.

— Да крохи!— вещал бойкий полковник.— Не видите разве, что они голы?!

Группа скрылась, а мы, так и не решившиеся, кроме Минутко, потратиться на сексфильм, еще некоторое время бродили по улицам, потом вернулись в гостиницу на бульваре Монмартра.

Некогда, еще в самодеятельности, после поразивших всех нас простотой и задушевностью песен Ива Монтана я выучил из одной лишь любви к Парижу наизусть, да еще на французском языке, которого я, конечно, не знал, несколько куплетов из его песенки про Большие бульвары.

Убей меня Бог, если бы я знал, что на самом деле пою! Но я свято верил, что пою про прекрасный Париж и его Большие бульвары... Я старался грассировать почти так же, как знаменитый Монтан. И, говорят, у меня получалось.

Теперь мы прогуливались по Большим бульварам, переходя на одну сторону и на другую, удивляясь лишь, что они не такие уж и зеленые, какими представлялись в мечтах. Ну, бульвары как бульвары, единственно, что они не где-нибудь, а в Париже.

Помню, в Братске бытовала поговорочка: мол, у нас все, как в Париже, только асфальт поуже и дома пониже...

Но, лишь побывав здесь, начинаешь понимать, что асфальт тут ни при чем. И даже ровненькие ряды домов с литыми чугунными решетками на балконах и скверики с цветущими магнолиями и японской сакурой.

Гостиничка наша располагалась неподалеку от знаменитых бульваров, но номера были плохонькие, крохотные и без душа, лишь в холле, тоже небольшим, можно было посмотреть по телевизору настоящие парижские программы.

Однако это и правда не имело для нас никакого значения.

Вернувшийся после запретных развлечений Минутко живописал нам кадры из сексфильма, который он просмотрел в каком-то подвальчике, зато недорого, про девочек и мальчиков, которые через замочную скважину смотрят на сексуальные забавы взрослых, а потом пытаются им подражать.

— Но это хоть интересно?— спрашивали мы с неукротимым интересом.

— Да как сказать,— кисло отвечал он.— Разок посмотреть можно.

— Это за десять франков-то!

— За одиннадцать,— уточнил он. И добавил, как бы оправдываясь:— Одна живем...

— Одна,— вздохнули мы.

В городе Тур нас поселили на окраине, в мотеле. Наверное, это было дешево. После осмотра здешних достопримечательностей, вечером, нас завезли на автобусе в какой-то из кинотеатров, коротко пояснили, как вернуться в наш мотель, и мы — нас было человек десять — выбрали фильм, который, судя по рекламе, был одновременно и сексуальным, и фильмом ужасов. Таким образом, за один сеанс мы получали возможность увидеть все сразу.

Мы разместились в одном ряду, на стульях с непривычно высокими спинками, а посередине посадили Алика Ревича, единственного среди нас, кто разбирал по-французски.

Конечно, понять, что на самом деле творилось на экране, вряд ли могли даже авторы этого фильма.

Алик очень добросовестно старался всю эту галиматью переводить, он, например, говорил сидящему рядом: «Этот тип заявил: «Ты умрешь!» По цепочке эта фраза доходила до конца ряда, когда на экране появлялись уже другие эпизоды, и последний, кого достигала эта фраза, уже не мог понять, к кому она относится.

В самых сексуальных местах картины раздавались мяуканье и детский смех. В зале было много подростков. А в общем, мы поняли, что фильм этот дрянь, хотя можно было потом утверждать, что мы уже кое-что из этого жанра видели и знаем. Тем утешившись, мы пошли искать свой мотель и, конечно, заблудились.

Алик Ревич, который еще как-то мог переводить фильм, запутался в бесконечных улочках и, махнув рукой, стал искать кого-нибудь из прохожих, кто мог бы показать дорогу.

Но улицы в этот поздний час были темны и пустынные, лишь мимо на огромных скоростях проносились машины: подростки, мальчишки и девочки, с криками и визгами разъезжали по городу на папиных машинах. Тоже, если судить, жизнь в чужом окне... В чужом дворе. На чужой улице.

Однако нам повезло. Какой-то молодежавый мужчина, смуглый, худощавый, невысокий, с усиками, долго пытался объяснить маршрут, но, сообразив все, решил сам проводить нас. Оказалось, и впрямь далеко. Не менее часа ходьбы.

Ревич, человек общительный, дорогой заговорил с нашим спутником, а когда мы дружелюбно расстались, поведал, что наш спаситель — алжирец, но родился здесь и у него семья и маленький ребенок.

«Я спросил его, догадывается ли он, откуда мы,— сказал Ревич,— и стал ему объяснять, что мы из Москвы, из России... Он долго вспоминал и радостно сообщил, что он, кажется, слышал о нашей стране, это где-то рядом с Польшей...»

Свидание с прекрасной дамой

Свиданий в Париже у меня было несколько.

Одно — весьма неожиданное — с милой негритянкой, когда я заблудился в метро и пер против толпы, против течения, выворачивая при этом голову направо и налево и пытаюсь решить для себя, где же я нахожусь...

Она возникла прямо на моем пути, ослепительная белозубая мулаточка с крепкой торчащей из-под красной блузы грудью, и расставила руки так, что я в них, как в сети, и попал и встал как вкопанный от изумления и неожиданности.

Она же разулыбалась, задирая голову, и пошла, пошла себе дальше, лишь мелькнули в конце тоннеля ее точеные ноги и красивая узкая спина.

Встреч-то, совсем случайных, было немало, но именно эта мулаточка в красненьком осталась во мне навсегда, как лицо Парижа.

А еще была встреча в крошечном переулке, когда я рассматривал что-то в витрине и вдруг почувствовал себя неудобно. Я даже не понял, в чем дело, но, возможно, где-то в подкорке просигналило, что стало слишком тихо без проходящих за спиной машин.

Я машинально оглянулся и вдруг понял, что машины и правда не могут из-за меня проехать, но стоят и терпеливо ждут, когда же я выпрямлюсь.

Я в смущении отпрянул, прильнув к стене, а мимо меня неторопливо и даже, как мне показалось, величественно проплыла первая ярко-красная машина, в которой на водительском месте восседала совсем молодая женщина, яркая блондинка. Проезжая мимо, она приветливо помахала мне ручкой и понимающе улыбнулась. Как улыбаются только очень знакомому человеку.

Ну а еще встреча с одной моей знакомой по Москве, ее звали Мари Клод — полноватой девушкой со светлыми волосами, родом, кажется, из Голландии. Была она студенткой, но работала нянкой у детей французского посла, чтобы получить в Москве практику в русском языке. Отец ее был какой-то мощный бизнесмен в электронной промышленности, кажется, директор завода, а сама она снимала квартиру в Париже на двоих с каким-то парнем, которого она называла другом.

Все это я узнал от нее, принимая ее в гостях в Москве. Там я угощал ее лично приготовленной мной окрошкой под нашу московскую водку. И она с удовольствием, насколько я запомнил, угощалась.

Теперь же я смог ей позвонить, и она приехала на машине и предложила небольшую программу: слазить на Эйфелеву башню (ее в нашей туристской программе не было) и посидеть где-нибудь в кабаке. Так мы и сделали. И все бы ничего, но уже по пути на башню я заметил, что она не в духе, и тут же, у машины, громко отчитала случайного водителя, которому она же срезала дорогу.

— Ты же сама нарушила правила,— заметил деликатно я.

— Но он же мужчина!— возразила она.— Причем тут правила движения?

И после в каком-то очень дешевом и грязноватом кабаке, где собирались, как я понял, одни африканцы, она заказала мне стакан коктейля и терпеливо ждала, когда я закончу пить.

Нет, свидание это не удалось, хотя девочка в Москве мне понравилась. Просто в разных столицах она оказалась слишком разной. И мы расстались к взаимному облегчению, чтобы никогда больше не встречаться.

Теперь еще об одной встрече.

Наверное, это была самая важная для моей жизни встреча в Париже, хотя их было немало: и Нотр-Дам, где нам повезло услышать орган, и Версаль, и Центр Помпиду с выставленными в то время картинами Кандинского, и ночь на Монмартре — все это было как часть Парижа.

Но Мона Лиза была отдельно, это ни с чем не смешивалось. Только она и я.

К ней я и прихожу отдельно, минуя все остальное в Лувре. И даже так: попав в Париж, я считаю возможным при любой программе где-то объявить, что у меня на пару часов небольшое свидание. А потом стремглав бежать к ней. Неважно, что кто-то из дружков начнет подмигивать и многозначительно улыбаться.

Не так давно я попал сюда с девятилетней дочкой на каникулы, и в Лувре я, конечно, сразу повел ее к Моне Лизе.

Я рассказал дочке о том, что миллионы людей, не считая всяких там специалистов, веками ломают голову над тайной этой картины, созданной великим Леонардо. А вот я эту тайну знаю.

— Тебе кто-то сказал?— спросила дочка.

— Никто,— отвечал я.— Я сам догадался. А тебе, если хочешь, скажу.

— Но я ведь могу с тобой не согласиться,— вдруг заявила она.

И я ей открыл эту тайну, в которую верю.

Я сказал ей, что Мона Лиза у каждого человека, проходящего к ней, своя. Она такая, каков в это мгновение ее созерцатель.

И если, например, я приходил к ней в веселом состоянии духа, и ее улыбка была легка. А если я скорбел и мне в этот день было худо, она скорбела вместе со мной, и улыбка ее была горька...

Я был счастлив оттого, что посетил Париж теперь, может, и вправду в последний раз, и не один, а вместе с моим «поплавочком», как я называю своего детеныша, ибо она одним своим присутствием держит меня на плаву на этом свете.

Без меня она сюда еще придет, а вот со мной...

Странная, блуждающая улыбка Моны Лизы говорила, что счастье, пожалуй, все-таки существует, его не может не быть, если хоть раз в жизни удастся приехать сюда вместе с любимым существом.

Мы выходили из зала, и дочка произнесла:

— Ты знаешь, я почувствовала... То же, что и ты!

Ну а потом, когда мы пришли домой и сели ужинать, она подняла бокал с пепси-колой за наше пребывание в Париже, без которого, как она поняла, жить уже не сможет.

— Видела бы мама; как ты дуешь холодное пепси,— сурово заметил я.— Она бы тебе всыпала, невзирая на Париж!

— Но она же не узнает,— сказала дочка уверенно.

— Это почему же?

— Но мы же с тобой друзья!

Вот и это свидание — с собственной дочкой — тоже произошло в Париже. Через много-много лет.



Уильям САРОЯН

Т р и р а с с к а з а

СТУДЕНТ-БОГОСЛОВ

Студент богословия стал встречаться мне где-то с четверть века назад в пьесах русских писателей. Толстой, Достоевский, Чехов, Андреев и Горький редко обходились без того, чтобы не вставить в свою пьесу студента-богослова. Казалось, студент богословия — это сам автор, бросающий недоуменный, но восторженный взгляд на свою молодость. Это определенно славный малый, какого никогда не мешает иметь под рукой: молодой, импульсивный, бледноватый, прыщавый, ни капельки не хорош собой, несуразен, плохо одет, жаден до чая, начитан Слова Божия, земного и сатанинского, тем не менее способен значительно оживить действие, ибо в душе — дьявол.

Он неизменно находится в гуще отчаянной борьбы с пороком в виде неумолимой тяги целоваться с девушками, что несколько не поражает его и не смущает их. Кое у кого из этих девушек есть дети, причем постарше него. Этим женщинам он особенно по душе своей угловатостью, неопытностью и говорению невпопад, а значит — занятен. Скорее жалея его, нежели из любви, они позволяют ему тяжело дышать в своих объятиях, чтобы потом обнаружить, что он замыслил самоубийство. Его привычка кашлять им в лицо вынуждает их восклицать: «Ах, Александр Александрович!» — что он принимает за выражение любви. В компаниях он печально знаменит тем, что вечно высказывается в самый неподходящий момент, а также своим неумным стремлением вести себя как можно хуже.

И все-таки он был нужен этим писателям, ведь он, как никто другой, мог давать разъяснения на предмет того, почему человечество несчастно.

У Толстого студент-богослов винит во всех бедах человечества женщин, порой доходя до того, что указывает на определенные части женского тела, непреодолимое влечение к которым мешает человеку безраздельно посвятить себя служению Богу или сельскому хозяйству. А в других пьесах Толстого богослов находит иные причины.

В какой-то пьесе виноваты были железные дороги тем, что соблазняют людей на бегство. (От женщин, разумеется, хотя у автора упоминаются только плачущие дети и члены местной администрации, не способные радушно принять посетителя.)

А еще в одной пьесе, выпив всего-то чашку чая, богослов кричит, что человек — зверь, и все из-за желудка. И принимается расспрашивать присутствующих, не замечали ли они, как часто с недавних пор они садятся за еду, как много драгоценного времени теряется за этим занятием и всем тем, что этому предшествует, и какое это несчастье, когда желудок полон мяса, пшеницы, зелени, сыра, вина и воды.

Студент-богослов у Достоевского утверждает, что человек несчастен уже хотя бы оттого, что само его рождение есть нервное расстройство.

Однако самый лучший богослов — у Горького, потому что он ненавидит все, что делает нашу жизнь жалкой и ничтожной, и нет ничего на свете, что бы не превращало нашу жизнь в таковую. Естественно, что далее он пытается обвинить во всем Бога, в то время как вторая половина Горького, воплощенная в другом герое — старом хрыче лет шестидесяти, недавно прочитавшем книгу от корки до корки, — так вот этот тип выступает с нападками на правительство, обвиняя его за свой нынешний возраст, расшатанное здоровье, и делает глубокомысленное замечание по поводу того, что ведь когда-то ему было тридцать! Да нет, даже двадцать! А теперь? А теперь он старая развалина в старом черном плаще! (При этом бросает многозначительные взгляды в сторону Татьяны Львовны восемнадцати лет и замечает в ее глазах едва уловимые признаки восхищения.)

Познакомившись со студентом-богословом, я обнаружил, что он странная птица и немногим отличается от остальных персонажей, населяющих русские пьесы. Тогда я решил выяснить, чем же он занимается, что изучает. И вообще, где он учится, на дневном или на вечернем? Или же почему его зовут студентом богословия, может, просто по молодости лет? Ни у кого из драматургов я не нашел четкого и ясного ответа на эти вопросы, если не считать намеков на то, что единственно, к чему стремится студент-богослов, — это совершенство.

Короче, сам для себя я уяснил, что он читает книги по богословию, и решил заняться тем же.

В публичной библиотеке во Фресно книги по теологии целиком занимали небольшой мезонин с полками из толстого стекла. Подниматься по узкой лестнице в этот отдел библиотеки было все равно, что взбираться на верхнюю палубу небольшого и тесного кораблика. А когда я оказывался наверху, ощущение плавания становилось еще сильнее, казалось, читателей слегка лихорадит, как при морской болезни, и они делают над собой героические усилия, чтобы их не стошнило. У них явно кружилась голова из-за высоты, духоты и тесноты в проходах между книжными полками. Я присоединился к ним и начал изучать книги по теологии одну за другой.

За какую бы книгу я ни брался, она удручала. Но я опасался ставить книгу на полку, пока я не буду совершенно уверен, что она нелепа и в ней не скрыто где-нибудь то, что я ищу.

А что я искал? В то время мне это было неизвестно, в то время вообще мало что было ведомо кому бы то ни было, и это нужно просто признать. Мог ли я тогда выразить все это словами, не знаю, но совершенно определенно было то, что я искал такую теологию, какую я мог бы написать сам. То есть я искал единственно верную и истинную, по моему разумению, теологию. Вот так же Роберт Бернс как-то высказался насчет шотландской экономики, но замечания поэтов часто предают забвению. «А человек есть человек. И все такое прочее». Правильно сказано. А присказка намекает на то, что это говорится не совсем всерьез. Только я ожидал, что тема будет разработана подробнее.

Этого, однако, не произошло.

Сотни книг, миллионы слов — и сплошная бессмыслица. Несмотря на это, после каждого похода в публичку я приносил домой две-три книги по теологии в надежде, что они не окажутся совсем уж безумными. Я перелистывал книгу, пока не убеждался, что ее автор такой же зануда, что и студент-богослов в моих русских пьесах.

Ни один писатель не кажется столь жалок, как тот, кто жаждет написать что-нибудь заумное. То же и с теологией, вся суть которой состоит в создании чего-то запутанного. Если дело в вере, то почему нельзя просто верить, и дело с концом? Сведенборг, обливаясь потом, как лошадь, строчит пару миллионов слов, после чего у читателя на всю жизнь пропадает охота улыбаться. Это уже сам по себе теологический поступок, правда, более безыскусный и,

уж конечно, не более бессмысленный, чем два миллиона слов, которые накалтал Сведенборг.

Все это привело меня к сюжету этого рассказа.

Возвращаясь однажды вечером домой из библиотеки, на сортировочной станции я встретил чрезвычайно сложного и до самозабвения богословски настроенного человека.

— А знаешь ли ты,— прокричал он мне с двадцати метров,— что сегодня вечером наступит конец света?

— В котором часу? — прокричал я в ответ.

— Точно не знаю,— сказал он,— но сегодня вечером.

Он отряхнул грязь, налипшую, когда он упал, выпрыгивая из вагона.

— Ты только что приехал? — спросил я.

— Да. Но в этом городе я родился двадцать семь лет назад,— сказал он.— Готов ли ты встретить конец света? — продолжал он, отряхивая пыль с брюк.

— Я готов ко всему,— ответил я.— А ты готов?

— А, вот в том-то и дело, что нет,— сказал он.— Совсем не готов.

И тут он опять упал.

— Ты знаешь, где госпиталь неотложной помощи? — спросил я. — Прямо за полицейским участком, на Бродвее, напротив публичной библиотеки, но если не хочешь идти туда, можешь пойти в районную больницу. Она на той стороне бульвара Вентура, на Фер-граундз, но ты, наверное, и сам знаешь где. Я живу по пути в районную больницу и провожу тебя до своего дома. Может, тебя кто-нибудь подвезет.

Он оперся на мое плечо, и мы молча заковыляли мимо фабрики по упаковке сухофруктов. Переходя бульвар, он снова упал, и тут остановился какой-то автомобиль. Водитель вышел и подошел к нам.

— В чем дело? — спросил он.

— Во мне,— еле слышно ответил человек.

— Его нужно отвезти к врачу,— сказал я.— Он ранен.

Водитель помог мне посадить незнакомца в машину. По дороге в госпиталь он взял одну из моих трех библиотечных книг и раскрыл.

— Сёрен Кьеркегор, «Или — или» — прочел он.— Кто это?

— Не знаю,— ответил я.

— Этих людей надо знать,— сказал он.

И принялся читать. Когда мы подъехали к больнице, он так вцепился в книгу, что наверняка повредил ее. Библиотекарша в публичке посмотрит на повреждение, потом на меня, недоумевая, как это я умудрился так покалечить книгу, но промолчит.

Водитель сказал, что его зовут Август Бокбель. Я запомнил это имя на всю жизнь, вероятно, потому, что водитель, видимо, чувствуя, что незнакомец умирает, рассказал нам свою биографию и, между прочим, то, как из-за перочинного ножа он чуть было не убил своего старшего брата. Затем он помог перенести раненого в приемный покой и ушел, извинившись, сказав, что у него неотложное дело.

А я остался, потому что раненый по-прежнему читал книгу, взятую мною из библиотеки, и мне казалось, что при таких обстоятельствах будет невежливо просить его вернуть книгу. Читал он с невероятной быстротой. Когда раненому нужно было уходить в сопровождении медсестры и молодого человека в белом халате, который был мало похож на доктора, я последовал за ними, отчасти волнуясь за судьбу раненого и отчасти за судьбу библиотечной книги. У качающихся дверей сестра велела мне возвращаться в приемный покой. Я хотел попросить ее быть столь любезной и вернуть мне книгу, но вместо этого я сказал:

— С ним все будет в порядке?

На что она ответила мне суровым жестом, как бы говоря: «Не задавайте трудных вопросов в такой трудный момент».

Я вернулся в приемный покой и сел.

Когда я взялся изучать свои две библиотечные книги, то обнаружил, что мой читательский билет с фамилией и адресом остался в книге Кьеркегора, унесенной незнакомцем. Мой читательский билет был столь же важен для меня, как паспорт для путешественника. Я собирался подождать минут десять — пятнадцать, но, когда оказалось, что в книге мой читательский билет, я решил, что прожду хоть два часа, если понадобится.

Ждать, однако, пришлось, гораздо дольше. Я страшно проголодался, из-за чего меня подташнивало, и сильно разозлился. Сначала я злился на сестру, которая влетала в приемную каждые десять — пятнадцать минут в сильном смятении и замешательстве и не желала ни слушать меня, ни отвечать на мои вопросы о состоянии больного. Потом я рассердился на самого пациента, живого или мертвого, за то, что он так бесцеремонно увел у меня книгу, которую я поклялся вернуть в публичную библиотеку в том состоянии, в каком взял. И, наконец, я был зол на Кьеркегора, о котором я не знал ровным счетом ничего, кроме того, что он написал книгу со странным названием «Или — или».

Я прождал возвращения книги битых три часа с хвостиком, пока ко мне не подошла сестра. В ее поведении угадывалось явное намерение говорить со мной. Разговор начался с безнадежного коверканья моего собственного имени.

— Да! — отозвался я.

— Он умер,— продолжала она.— Доктор Хампкит (по крайней мере мне показалось, что она произнесла его фамилию именно так) сделал все возможное, но тщетно.

— Жаль. Я хотел попросить вас вернуть мою книгу.

— Какую книгу?

— Кьеркегора.

— Он сказал, что это была его книга. Во всяком случае, его читательский билет с его именем и адресом остались в книге.

— Читательский билет в книге — мой,— сказал я. — Вы все напутали. Я шел домой из публичной библиотеки с тремя книгами, когда встретил его на сортировочной станции. Он только что спрыгнул с поезда и ушибся, вот я и помог ему дойти до бульвара Вентура, там он упал, остановилась машина и подвезла его сюда. В машине он взял одну из этих трех библиотечных книг, и она осталась у него. Теперь он умер, и только потому, что в книге оказался мой читательский билет, вы присвоили ему мое имя. Кто бы он ни был, мне очень жаль, конечно, что он скончался, но я бы хотел получить книгу обратно.

— Он сам назвался этим именем,— сказала сестра.— И я вношу его в больничные списки. А книгу мы вернем в публичную библиотеку.

— Научили же вас в школе на свою голову,— сказал я в сердцах, потому что был зол и голоден, вышел из госпиталя и зашагал домой.

Когда я добрался до дому, то увидел на нашей улице уйму автомобилей. Дом кишел дядюшками, тетушками и кузенами, съехавшимися со всего города.

Первым меня заметил мой дядя Хосров, сидевший в одиночестве на ступеньках веранды и куривший сигарету.

Он вскочил и закричал что было мочи:

— Я же говорил вам, что это недоразумение! Вот же он, такой, как обычно, только очень голодный.

Все, кто были в доме, ринулись сломя голову наружу, а увидев меня, бросились обратно, накрывать на стол.

После того как я съел все, что мог вместить мой желудок, моя мама спросила меня ласковым голоском:

— Почему они приехали на карете «скорой помощи» и сказали нам, что ты умер?

— Если б я знал, что они собираются приехать на машине,— возмутился я,— я бы поехал с ними вместо того, чтобы отмахать пешком три мили в десятом часу ночи. Они не сказали мне, что собираются приехать на «скорой».

— Мы страшно волновались за тебя,— сказал мой дядя Зораб.

Это было больше, чем мог вынести дядя Хосров.

— Мы страшно волновались за тебя! — передразнил он.— Когда человек из больницы сказал нам, что ты умер, мы ужасно переживали, что ты не выздоровеешь.

Он повернулся к дяде Зорабу.

— Ну что за чушь ты несешь! — сказал он.— Как можно волноваться за того, кто уже умер?

Дядя Зораб нервно откашлялся и сказал:

— Я могу только сказать, что мы волновались. А теперь вот он, живой!

— Послушай,— вскричал дядя Хосров,— неужели ты так и не поймешь самую элементарную вещь? Не умирал он. И не собирался. Произошло недоразумение, как я и говорил. Ваши переживания не воскресили его из мертвых. Просто мальчик влип в типичную американскую историю. Если ты этого не уяснишь сейчас, Бог знает, с какими жуткими искажениями наш род будет передавать этот случай из уст в уста в будущем. Мальчик поужинал, теперь пусть он сам все расскажет, а потом мы разойдемся по домам. Кто бы ни был покойный, все мы в недалеком будущем составим ему компанию, и ничего в этом страшного нет.

Он повернулся ко мне.

— А теперь поведай нам, как получилось, что люди из больницы сообщили нам о твоей смерти в возрасте двадцати семи лет. Я пытался втолковать им, что это не ты, поскольку тебе нет двадцати семи, но они сказали, что ты, наверное, прибавил себе годов, чтобы произвести впечатление напоследок. Сколько тебе лет? Выкладывай.

— Мне четырнадцать,— признался я.

А затем рассказал им все по порядку, в мельчайших подробностях.

Моя тетушка Хатун принялась тихо оплакивать умершего молодого человека, уверяя всех, что он умер за меня, чтобы я продолжал жить. Эта теория разозлила маму, а мой дед покрутил усы и спросил:

— Все это очень хорошо, но кто же, черт возьми, этот Кьеркегор, что из-за него поднялся такой безбожный шум в этом заброшенном селении, которое пытается сойти за город?

— Он автор одной из трех книг, взятых мною сегодня в публичке,— сказал я.— Но это все, что я о нем знаю.

— Так-так,— сказал дед.— Хорошо. А теперь чешите-дуйте по домам. Если вы плакали по нем, так вот он, стоит, ковыряет в зубах. Домой, все домой!

Все принялись обниматься, как бы в честь моего воскрешения. Раздавался теплый шепот женщин. В гостиной маленькие мальчишки затеяли борьбу. И так, пока все не разошлись. Остались только старик и дядя Хосров. Они обменялись недобрыми взглядами, и дядя Хосров сказал:

— Я знаю, что ты хочешь у него спросить. Чтобы избавить его от лишних хлопот, я отвечу за него. Ты собираешься спросить у него: какого черта он каждую пятницу впутывается во всякие истории? И я отвечу за него, что он тут ни при чем. Некоторые приходят в это мир спящими и спящими из него уходят, ну да это их дело. А некоторые, вот вроде меня и его и моего племянника Арама Гарогляняна, приходят в этот мир спящими, но в одну прекрасную пятницу просыпаются и видят, кто мы есть на самом деле.

— А кто мы есть? — вежливо спросил старик.

— Армяне,— быстро ответил дядя Хосров.— Можно ли было придумать что-нибудь абсурднее? Англичанин правит своей империей. У француза — искусство, чтобы знать меру и задавать моду. У немца — армия, чтобы ее обучать

и бросать в бой. Русский носится с революциями. Швейцарцы управляют своими гостиницами. Мексиканцы играют на мандолине. Испанцы забавляются боем быков. Австрийцы танцуют свои вальсы. И так далее и тому подобное. Ну а мы? Что у нас-то есть?

— Луженые глотки, которые не мешало бы заткнуть? — предположил старик.

— А ирландцы? — продолжал дядя Хосров. — У ирландцев целый остров, чтоб на нем голодать и бедствовать. У арабов тьма племен, чтобы собрать их вместе в пустыне. У евреев — вундеркинды-музыканты, которых они возят на гастроли. У цыган — кибитки и гадальные карты. У американцев — хронический невроз, который они называют свободой, а что имеем мы, армяне?

— Ну раз ты настаиваешь. Так что ж мы имеем?

— Манеры, — сказал дядя Хосров.

— Ты что, спятил?! — воскликнул старик. — Нет на свете ничего более противоестественного, чем вежливый армянин.

— Я же не сказал «хорошие манеры», — возразил дядя Хосров. — Я сказал «манеры». Хорошие или плохие — нас не интересует. Вот чего у нас хватает, так это манер, а всего остального негусто. Ты хочешь спросить его, какого черта он каждую пятницу впутывается в историю. Так вот, ты спрашиваешь о его манерах. Ну так спроси. А я пойду в кофейню поиграю в нарды часа два. Мой уход — тоже манера.

— Перед тем как ты уйдешь, — сказал старик, — думаю, тебе не мешало бы знать, что я собирался попросить мальчика рассказать мне об этой книге, которую написал Кьеркегор, если он ее когда-нибудь прочитает. А теперь я пойду в кофейню вместе с тобой.

Старик встал и по-богатырски зевнул. В три приема. На тот манер, на какой пишутся симфонии: очень медленно, очень живо и, наконец, медленно и живо, попеременно.

Старик вышел из дому через парадную дверь, а дядя Хосров через заднюю. Хлопнули двери, и я пошел разжиться где-нибудь половинкой арбуза, потому что очень хотелось пить.

На следующий день я пошел в больницу и, затратив огромные усилия, обрел свое имя, получил свою книгу и понес ее домой читать. Неизвестный дошел до страницы 99. Угол ее был загнут, чтобы можно было легко найти место, на котором он остановился. После часа и сорока пяти минут чтения я тоже дошел до страницы 99 и решил, что мне не хочется больше читать. Я отнес книгу в публичку, и, как я и ожидал, библиотечка заметила повреждение, посмотрела на него, потом на меня, пока я что-то тихо насвистывал, но ничего не сказала. Я взобрался по крутой лестнице на мезонин и возобновил свои поиски той книги по теологии, которую надеялся найти.

Вечером я докладывал деду, что Кьеркегор, оказывается, был датчанин, родился в 1813-м и умер в 1855 году, после того как провел большую часть жизни в борьбе с дьяволом, церковью и теологической заумью.

— Умер сорока двух лет от роду, — сказал старик. — Борьба с дьяволом крайне изнурительна. М-да. Но, кто знает, если бы он не боролся, то, может, прожил бы всего двадцать два года и не оставил бы после себя даже одной книги. Ты прочитал эту книгу?

— Он написал их несколько, — сказал я. — Я прочел девяносто девять страниц из одной его книги, а потом она мне надоела.

— Что он говорит на этих девяносто девяти страницах?

— Я не могу сказать точно, но мне показалось, что он хотел сказать, что если у тебя есть все, то этого еще недостаточно.

— Так вот и бывает с теми, кто вечно борется с дьяволом, — сказал старик. — А этот несчастный, которого ты повстречал на станции, что ты узнал о нем?

— Он умер. Вчера для него настал конец света, как он и предсказывал.

— Как его настоящее имя?

— Ну, — сказал я, — я выписал тут одно имя из госпитального журнала, которое приписывается ему, но я уверен, что это еще одно недоразумение. Хотя то, что он умер, это точно. Он бы еще пожил, если бы не попал в руки столь самоуверенных людей, которые все делают с точностью до наоборот. Я уверен, что он не собирался умирать, — он загнул страницу в книге, чтобы потом дочитать. Вот имя, которое я выписал из журнала, — Або Могабгаб.

— Как такое может быть? — воскликнул старик. — У Або Могабгаба я покупаю одежду, он сириец, содержит магазин на Марипоза-стрит, к тому же старше меня. Вот, взгляни на подкладку моего пиджака, видишь ярлык, ну-ка прочитай, что на нем написано.

Я посмотрел на ярлык и прочитал вслух:

— «Або Могабгаб».

— Великолепный образчик американской практичности и теологической точности, — сказал старик. — Человек погибает, а пиджачный ярлык обретает бессмертие. И все же мы пока живы, несмотря на ужасную практичность и безукоризненную точность. Спасибо за рассказ о евангелии от Кьеркегора. Я и сейчас охоч до учения, но лучшее евангелие — это евангелие крестьянина. Лозу сажают так-то. Так за ней ухаживают. Так оберегают от кроликов. Так собирают виноград, а вино делают так. А изюм делают так. Зимой подрезают ветки, а весной поливают лозу. Ну, какое еще евангелие приятнее, если все это на свежем воздухе? И к черту все эти душегубки, в которых сидят бедные люди и вводят себя в заблуждение. Когда они заканчивают работу, разве они не идут домой и не съедают тарелку вареного изюма с ломтем черного хлеба, или выпивают стакан вина с бараниной, или съедают гроздь винограда с сыром и печеньем?

— Да, наверное, — сказал я и пошел домой.

Там я проработал целых три часа во дворе. Дядя Хосров сидел на ступеньках на заднем крыльце и наблюдал.

Наконец он поднялся и сказал:

— Ну, ради Бога, что еще на тебя нашло? Зачем ты мучаешь этот виноград? Ты и так его выморочил и измочалил так, словно он дряхлый старик, а еще недавно он был похож на прекрасного, мечтательного юношу. Красота материи в ее несовершенстве. Только глупцы стремятся к совершенству, которое есть не что иное, как смерть. Пусть совершенство само гоняется за тобой. Тебе не нужно его искать. А теперь иди в дом, садись и съешь половинку холодного арбуза. Ты — несовершенен, лоза — несовершенна, но ты можешь поесть арбуза и спустить воду, ну так вперед.

«Что за ерунду он несет?» — думал я, но по мере того как я поглощал арбуз, мне стало казаться, что дядя Хосров, быть может, и есть самый лучший на свете студент-богослов.

НАШИ ДРУЗЬЯ — МЫШИ

Несмотря на то что мы держали кота, в доме у нас водились мыши. По ночам, когда все вокруг затихало, выключался свет и мы укладывались спать, можно было услышать, как они выбираются из своих норок и затевают беготню по деревянным половицам на кухне. А если поднапрячь слух, можно было расслышать, как они попискивают. Ужасно забавно. Мне очень нравилось, что у нас в доме обитают эти робкие скрытные существа. Я относился к ним как к «нашим» мышам, то есть принадлежащим нашему семейному очагу, и соответственно считал, что они прочно вошли в нашу жизнь и стали ее неразрывной

частью. Они были воришки и питались тем, что им удавалось стянуть, и все равно они были такой же семьей, как и мы, и, поскольку они жили в нашем доме, я их страшно любил.

Иногда, прислушиваясь к мышиной возне, я чувствовал, что мой брат Крикор не спит и тоже слушает. Наши кровати стояли в одной комнате рядышком, и если мы просыпались вместе, то я всегда знал, что он не спит, потому что, когда он спал, все было по-другому. Я чувствовал, что он прислушивается к мышам вместе со мной, и говорил ему:

— Слышишь, Крикор?

А Крикор отвечал:

— Тихо. Они сейчас начнут играть.

Я чувствовал, что он не спит, потому что бодрствование в темноте имело для него особый смысл: если бы он спал, то лишился бы этого. Так что, прислушиваясь к мышам, мы постепенно пришли к осознанию собственного бытия. Мы поняли, что наше сознание постоянно в работе. Во сне оно отдыхает, но каждый раз пробуждается, и, если бы у нас не завелись мыши, мы бы не постигли всего этого так быстро и просто.

Слово «мук» на нашем языке означает «мышь». В нем нет ничего книжного или научного, оно просто обозначает крохотную форму жизни, которой свойственна настороженность и крайняя пугливость. Если ребенок мал и робок, его можно любовно наречь этим именем. Мы думали о мышах на нашем языке и представляли себе их застенчивый игривый характер. Нам и в голову не приходило думать о них как о врагах, угрожавших нашему здоровью и кладовке.

Да, действительно, по простоте душевной они могли погрызть что-нибудь там и тут, иногда оставляя после себя помет на полу, но это все, что можно было сказать о них плохого. Ни один из нас не заразился от мышей малярией. И, когда заходили разговоры на эту тему, Крикор возражал, что если бы мыши были малярийные, то они перемерли бы прежде, чем успели бы кого-нибудь заразить. Вот такая ненаучная у него была позиция.

Раза два мы видели нашего кота с пойманной мышью в зубах. Мы смотрели, как кот играет с мышью и в конце концов съедает ее. Нас потрясло то, что живое существо лишается жизни, мы приходили в уныние от хруста его косточек, и вместе с тем весь этот спектакль был поразительно справедлив, потому что все в нем было по правилам, законно. Котам нравится закусывать мышами. Так что пусть мыши сами заботятся о том, как им держаться подальше от котов. Кот, как и мышь, есть живое существо, только принадлежит другому роду и отличается размерами. Им обоим дана от природы сообразительность, поэтому вполне естественно, что коты используют свою смекалку для ловли мышей, а мыши используют свою изобретательность, чтобы не попадаться на глаза коту.

Все честно-благородно. И если мышь попалась в когти коту, то либо потому, что кот проголодался или ему вздумалось поиграть, и он проявил известную хитрость и сноровку, либо из-за того, что мышь по старости ли, а может, по крайней небрежности не проявила должной осмотрительности, и, следовательно, кот заслужил съесть мышь, а мышь заслужила быть съеденной.

Едва ли существует какая-нибудь другая удобоваримая точка зрения, и бессмысленно симпатизировать мышам и клеймить котов как отвратительных и кровосадных тварей или же воображать, будто у них есть какое-то преимущество, потому что, если призадуматься, все как раз-таки наоборот, и остается только недоумевать, как это котам вообще удается ловить мышей. Симпатизировать мышам совершенно несправедливо и плоско. Это свидетельствует о слабом понимании законов природы и этической стороны того, что значит быть котом или мышью. Я не натуралист, и я не знаю, как называются те тварюшки помельче, которых преследуют и поедают мыши, но могу предположить, что они все же питаются какими-то более мелкими существами. Если же это не так,

если они едят только то, что и люди, ну там, сыр или первые издания книг, тогда они заслуживают еще большего восхищения.

Мне приходилось прежде видеть мышеловки, но я никогда не присматривался к ним внимательно и, конечно же, никогда не задумывался над тем, что они могут иметь какое-то отношение к нашим мышам. И вот у нас появились три мышеловки, и моя сестра Люси была полна решимости избавить наш дом от мышей. Я взял мышеловку и стал ее изучать. Я отчетливо увидел упругую скобу, которая со страшной силой обрушится на мышь и придавит ее насмерть, и тугую пружину, которая приведет в действие эту скобу. Когда кот, изловив мышь, играет с ней, нетрудно представить напряженно-лихорадочное состояние мыши, ее страх и обманчивую надежду на спасение, безжалостно внушаемую ей желающим поразвлечься котом. И все-таки, как я уже говорил, мы понимаем, что все происходящее справедливо. Невозможно так же относиться к мышеловкам. Едва ли металлическая пружина и мышья инстинктивная сообразительность могут достойно соперничать друг с другом.

Я был против мышеловок с самого начала и поражался, почему это Крикор совсем не возражает против них. Он посмотрел на мышеловки и не потрудился выразить к ним хоть какое-то отношение. Я сказал по-армянски:

— Ну что вам сделали эти мыши? Ведь ничего же не сделали.

Моя мама сказала, что нашла мышь, утонувшую в банке с уксусом, и что весь уксус пришлось вылить в раковину. Она сказала, что глупо терпеть мышей только потому, что нам нравится слушать, как они резвятся по ночам.

Приманкой служил сыр. Мышеловки были взведены, и наутро мы обнаружили, что в две из них попались мыши, а третья, хоть и сработала, была пуста. Сыр, однако, из нее исчез. Маме это показалось очень странным.

— Мышь, видать, оказалась больно сообразительная,— сказала она.

Я же был ужасно рад этому обстоятельству, потому что одной из наших мышей удалось унести ноги, и я представлял, как она, вернувшись к своим, рассказывает: «Там у них мышеловки с сыром. Вы приближаетесь, чтобы взять сыр, и тут что-то обрушивается вам на голову и убивает. Теперь вы должны быть очень осторожны, смотрите в оба, не давайте себя обмануть при виде сыра, который лежит не там, где ему полагается,— на тарелке или полке. Если вы увидите проволоку на дощечке, держитесь от нее подальше, это западня. Она прикончит вас. Лучше уж остаться голодным, чем отведать сыру и быть убитым».

Мертвые мыши окоченели, по их лапкам было видно, какие муки они испытали перед смертью. Вечером моя сестра Люси снова зарядила все три мышеловки сыром, и наутро в одну из них попала мышь, а две другие хоть и сработали, но мышей в них не было.

Я почувствовал, что наши мыши быстро учатся, и преисполнился гордостью за них.

На следующую ночь я проснулся и стал прислушиваться. Я прослушал недолго, ничего не услышал и почувствовал, что и мой брат Крикор не спит. Потом я услышал, как сработала одна мышеловка, и подумал о раздавленной насмерть мышке. Не прошло и минуты, как сработала вторая ловушка. Я подумал: «Что это нашло на наших мышей? Почему они не научились держаться подальше от мышеловок?» Потом хлопнула третья мышеловка, и я подумал: «Если и дальше так пойдет, то через неделю у нас все мыши переведутся».

И уснул.

Утром оказалось, что все три мышеловки пусты. За завтраком мой брат Крикор сказал:

— Я читал где-то, что некоторые мыши разбираются в мышеловках и их так просто не проведешь. Они заходят с той стороны, где им не угрожает пружина, съедают сыр и сматываются. Наши мыши так и делают.

Вот какой у меня брат, Крикор. Вскоре он пришел и лег спать. Я бодрст-

вовал и так сосредоточенно думал о наших мышах и мышеловках, что Крикор сразу понял, что я не сплю. Мы стали перешептываться, и Крикор сказал:

— Я ходил к мышеловкам. Мы не хотим, чтобы они убивали мышей. Я положил сыр на пол, скоро они появятся, слопают сыр и уйдут. Мы услышим.

И мы стали прислушиваться. Через некоторое время мы уловили, как они вылезают из своих норок, и Крикор сказал:

— Врут они все про микробы. Мыши такие же чистые, как кошки. Просто, как и все живое, они испытывают голод. Я положил сыр перед их норками, и они его найдут.

ДУЭЛЬ

Паносу Башманяну здорово удавались публичные выступления, хотя искусством метания подков и фехтования он владел еще лучше. Он был также непревзойденный лихач — прыгнуть с высокой ветки для него было пара пустяков. Фехтование заключалось в истинном владении шпагой, чему его обучил один француз с Эл-стрит, неподалеку от нашего дома во Фресно. Этот француз добился у кого-то разрешения давать бесплатные уроки фехтования ежедневно с четырех до пяти, а по субботам — весь день, близ Калифорнийской детской площадки.

Однажды на доске объявлений появилось объявление, и Панос со своими приятелями португальцами и кузенами армянами, увидев в объявлении слово «бесплатный», на следующий день явились на свой первый урок.

— Я фехтовал всю свою жизнь, — заверил Панос француза, имея в виду дуэли на палках, которыми он увлекался в школе и сражался с каждым желающим.

Но француз достал пару настоящих старинных дуэльных шпаг, явно происходивших из его канувшей в небытие парижской жизни. И доказал им, что фехтование несколько отличается от размахивания метлой, что это изящный, хоть и смертельно опасный спорт, сродни искусству. Очень скоро Панос выбился в отличники, а его любимым выражением стало «К бою!».

Панос был настоящий друг, года на два — на три старше меня и, кроме того, приходился мне двоюродным братом. Для представителя рода Башманянов он был человек исключительно жизнерадостный. Например, его ничуть не воротило от собственного имени, кто бы его ни произносил. «Панос» вообще-то всего лишь невежественное американское прочтение его вполне приличного армянского имени — Степанос. Его первая учительница в школе Эмерсона не смогла осилить это имя, и так Степанос превратился в Паноса, а к восьми-девяти годам Панос и сам уже почти позабыл, что он Степанос. Ему шел тринадцатый год, когда он увлекся фехтованием, и к тому времени он уже прослыл чемпионом по метанию подковы. Он был всегда готов бросить подкову, особенно если ставка была один цент. В безрассудстве ему не было подобных в целом свете до тех пор, пока однажды после прыжка в мелкий канал Томпсона, близ Малаги, когда Панос чуть не переломал себе руки, он вдруг прозрел и понял, что уже который год он рискует жизнью безо всякой пользы. Спустя несколько дней он заявил, словно речь шла о смене рода занятий: «Хватит с меня трюков». И на этом дело было закрыто.

В то время, в 1919 году, ораторское мастерство почиталось за высокий талант во Фресно, и Панос был лучшим оратором в городе. Он выступал в школах, церквях, на пикниках и празднествах, посвященных Дню независимости. Если случалась какая-нибудь заминка, на него можно было положиться, чтобы заполнить паузу речью от пяти до двадцати минут длиной без подготовки. Говорил он не своим привычным голосом, а более высоким, и чем дольше он выступал, тем музыкальнее становилась его речь, словно он гудел или даже гово-

рил нараспев, а иногда и вовсе переходил на пение, дабы привести пример того или этого, что, по его мнению, нуждалось в примерах.

Панос способен был говорить на любые темы, зная, наверно, что все равно никто его не слушает. Так, во время выступления в парке у здания суда он вдруг сказал: «Вот почему мы празднуем День независимости»,— хотя перед этим он говорил про фургоны переселенцев. Мало того, тут же раздались аплодисменты. В манере народных трибунов Панос начинал выступление наудачу, уверенно направлял тему в неопределенное направление и, хотя речь его отличалась ясностью, ничего не говорил.

После того как Масур Франсуа (так было велено величать учителя фехтования) научил его владению шпагой, Панос во время выступления частенько делал классический выпад и отскакивал назад, никак не объясняя своих действий. Он также резко выбрасывал назад правую ногу раза три-четыре, и тоже без объяснений. Однажды, когда он проделал это в Лекторском клубе во время речи о гражданской гордости перед женской аудиторией, его слушательницы, жаждавшие просвещения, разразились радостными возгласами, сопровождавшимися аплодисментами, которые Панос отнес на счет сказанного им.

— Ты зачем лягался? — поинтересовался я у него по дороге домой.

— Ногу судорогой свело. Пришлось потрясти, чтобы сбить судорогу,— объяснил Панос.

— А фехтование?

— Какое еще фехтование?

— Раза три-четыре во время выступления ты делал фехтовальные выпады.

— Ну и как это было воспринято? — спросил он.

— Да нормально, я думаю,— ответил я.— Только зачем тебе это понадобилось?

— Так, чтоб приукрасить малость.

— Но ты лягаешься и делаешь выпады уже третье выступление подряд.

— Ногу сводит, вот я и лягаюсь. Мне нужно украшение, ну я и украшаю,— сказал Панос.

— А я думал, ты тренируешься перед поединком,— сказал я.— Как в старые времена, на полном серьезе. На рассвете, у реки, за честь.

— Это я и собираюсь делать,— сказал Панос.

— На настоящих шпагах?

— На настоящих.

— Seriously?

— Я это решу, когда будет поединок,— сказал Панос.— Я, может, буду драться до крови, но не насмерть.

— А когда?

— Масур Франсуа говорит, что для этого необходимы два условия,— сказал Панос.— Меня должны оскорбить. Затем я отхлещу обидчика перчаткой по щекам, и он должен принять вызов.

— А перчатка у тебя есть?

— Есть, бейсбольная.

— Ну, если ты стукнешь его по физиономии такой перчаткой, тогда он точно примет вызов,— заверил его я.

— Надеюсь,— сказал Панос.

— Кто это будет? — спросил я.

— А кто ко мне относится с неуважением?

— Мисс Клиффорд подойдет? — спросил я.

То была наша учительница в школе Эмерсона.

— Мисс Клиффорд ко всем в нашем шестом классе относится с неуважением,— сказал Панос.— К тому же это должен быть мужчина.

— Мальчик, ты хочешь сказать?

— Мальчишечьи оскорбления не в счет,— сказал Панос.— Стукнул по но-

су — весь разговор. Если я соберусь драться по-настоящему, то попрошу у Масура Франсуа его шпаги и пушу кому-нибудь кровь, а может, и убью. Так что это должен быть мужчина. Ну, кто говорит гадости в мой адрес за моей спиной? Среди взрослых мужчин?

— Никто, Панос,— ответил я.— Все тебя любят. Ты выступаешь с патристическими речами. Хорошо начинаешь, хорошо заканчиваешь: «Господин Председатель, госпожа Председательша, уважаемая мать господина Председателя, доктор Роуэлл, господин Сетракян, уважаемые члены Совета по просвещению, дамы и господа, мальчики и девочки»,— ну и все такое, что говорят вначале. А потом, в конце, ты говоришь молитву, от которой слезы выступают на глазах у многих: «Всемогущий Господь, помоги мне стать таким, как Линкольн, а не как Бут». Панос, а кто такой этот Бут?

— Грязная, ползучая гадина. Он застрелил Линкольна, вот кто он такой,— сказал Панос.— Послушай, а про тебя кто-нибудь распространял гадости за твоей спиной? Ведь ты мой младший брат.

— Не думаю, чтобы кто-нибудь, разве только члены семьи,— сказал я.— К тому же они всегда это говорят мне в лицо.

— Члены семьи тоже в счет не идут,— сказал Панос.— Подумай хорошенько. Кого я ненавижу?

— Никого, Панос. Разве только этого гада ползучего, Бута.

— Он сдох давно,— сказал Панос.— Я же знаю, что ненавижу кого-то, только никак не вспомню. Дай подумать. А нет ли кого такого, чтоб мы все не увидели?

— Только друг друга, время от времени, а так что-то никого не припомню.

— Это не то.

— А Масур Франсуа подойдет?

— Он мой друг,— сказал Панос.— Этот маленький француз научил меня всему, что я знаю о цивилизованности и воспитанности.

— Может, ты ненавидишь итальянцев? — спросил я.

— Конечно, нет.

— А немцев? Индейцев? Мексиканцев? Индусов? Японцев? Сербов? Китайцев? Португальцев? Негров? Испанцев?

— Нет. Я всех их люблю.

— Тогда тебе лучше забыть о кровопускании,— сказал я.

— При чем тут забыть — не забыть. Это дело чести,— сказал Панос.

— А что такое честь? — спросил я.— Ну, вот, вообще.

— Честь?

— Да, Панос.

— Н-ну, честь... это ты сам. Каждый Башманян преисполнен самим собой.

— Я никогда не слышал, чтоб кто-нибудь из них дрался с кем-нибудь на дуэли,— сказал я.

— Я — первый Башманян, который умеет это делать. Найди, кого я ненавижу, и дай знать, хорошо?

На следующий день он пришел к нам домой, а я уже его дожидался.

— Панос,— сказал я,— кажется, я нашел того, кого ты ненавидишь.

— Ну и?

— Турок.

— Точно,— сказал он.— Я же знал, что есть кто-то, кого я ненавижу. Вот теперь совсем другое дело.

Он подобрал обломок палки и принялся фехтовать с довольным видом.

— Кто у нас в городе турок?

— У нас есть ассирийцы, сирийцы, персы и, может, несколько арабов,— сказал я.

— Должен быть где-то в городе и турок,— сказал Панос.

— Есть Ахбуд,— сказал я.— Ты знаешь его. Я работаю у него по воскресеньям с шести утра до трех дня за двадцать пять центов и бумажный пакет еды. Подходит?

— Ахбуд? Звучит по-турецки,— сказал Панос.— Спроси у него и дай мне знать.

В следующее воскресенье я спросил у Ахбуда. Он посмотрел на меня как-то странно и сказал:

— Отполируй, пожалуйста, баклажаны. До блеска.

В конце дня он протянул мне четвертак и сказал:

— Насчет турок ты спрашивал для себя лично или в интересах правительства?

— Для себя лично, мистер Ахбуд.

— Я не турок,— сказал он.— Я араб.— И немного погода добавил: — Христианин.

— А вы знаете какого-нибудь турка? — спросил я.

— Зачем тебе?

— Мой кузен Панос хочет вызвать турка на дуэль.

— С какой стати?

— Панос любит всех, кроме турок,— сказал я,— а на дуэль вызывают только тех, кого не любят. Есть у нас в городе турки?

— Был один,— сказал Ахбуд,— да умер, от старости.

Я передал эти сведения Паносу, который только и сказал в ответ:

— Ты должен разыскать мне турка. Хватит, надоело. У меня идея. Жди меня дома в семь, сегодня вечером я возьму тебя с собой в Большой зал.

— А что там, матч по борьбе?

— Нет, у них там сегодня вечер для новых граждан. Может, среди них найдется турок наконец.

— Ты собираешься выступить?

— Меня могут попросить сказать несколько слов новоиспеченным американцам,— сказал Панос.

Когда он пришел в четверть седьмого и мы зашагали к Большому залу, я спросил:

— Речь готова?

— Пожалуй.

— О чем на этот раз?

— Если мэр Туми попросит меня подняться на сцену и поговорить минут десять, как это обычно бывает, то я скажу что-нибудь об истинном значении Америки.

— И что же ты скажешь?

— В Америке мы забываем про былую ненависть,— сказал Панос.— Отныне никто никому не враг. Мы все члены одной семьи. Мы все американцы. Как только мы приехали в Америку, мы перестали быть тем, чем были до этого.

Мне это было знакомо по школе Эмерсона, где я слышал это в классе раз шесть или семь.

— Ну, едва ли Башманяны-то перестали быть тем, чем *они* были,— сказал я.

Панос достал свою бейсбольную перчатку из заднего кармана брюк и посмотрел на нее, потом на меня.

— В чем дело? — спросил я.

— Ты первый человек, оскорбивший меня,— сказал он.— Меня, Паноса Башманяна, американского патриота. И ты мой собственный младший двоюродный брат. Я знаю тебя всю жизнь. И теперь не знаю, что делать.

— Только не бей меня этой перчаткой,— сказал я,— потому что я ничего не смыслю в фехтовании и если я тебя оскорбил, то нечаянно. И я извиняюсь.

— Слава Богу,— сказал Панос.— Извинение принимается. Никогда так

больше не делай... Ты даже представить себе не можешь, что со мною стало, когда ты произнес эти слова.

— А что с тобою стало?

— Во мне кровь закипела.

— Прости меня,— сказал я,— но я в самом деле удивился, когда ты сказал, что в Америке никто никому не враг, ведь ты же сам уже две недели ищешь по всему городу турка, чтобы сразиться с ним, и, может, даже насмерть.

— Ну и что? — сказал Панос.— Как только найдешь турка, дай мне знать, вот и все. А уж я что-нибудь придумаю.

В Большом зале мы сели в первом ряду, и прямо с самого начала у них что-то не заладилось, я, впрочем, не волновался. Без десяти восемь мэр Туми сказал:

— Доктора Роуэлла, который должен выступать на сегодняшнем вечере, задерживают неотложные дела, а мисс Шаке Такмакджян, которая должна была сыграть соло на виолончели, еще не прибыла, так что, к сожалению, наша программа нарушена. У нас есть в запасе несколько минут для того, чтобы наш молодой друг Панос Башманян вышел на сцену и... сказал бы нам что-нибудь.

Панос вылетел из своего кресла, взбежал по ступенькам и встал рядом с мэром Туми, как раз в тот момент, когда тот говорил:

— Леги и джентльмены, Панос Башманян!

Перекрестившись быстро, но деловито, как профессиональный служитель Господа Бога, Панос закатил очередную свою публичную речугу.

— Что есть Америка? — вопрошал он своим высоким, специально поставленным для этой цели голосом.

Больше ему ничего не требовалось для того, чтобы прославиться и заставить литься свою речь. Вскоре он высыпал еще ворох вопросов, на которые нет ответов, и продолжал свою плавную речь, прерывая ее неожиданными выпадами и подпрыгиваниями ноги. На двенадцатой минуте показалось, что Панос заканчивает выступление, но тут мэр Туми из-за кулис сказал ему:

— Панос, еще несколько минут.

И нотки заключительной части сменились в его голосе на интонацию нового вступления. Панос только-только разговорился вновь, как мэр Туми сказал:

— Закругляйся, Панос. Он уже идет.

Панос одновременно сделал выпад, дрыгнув ногой, на мгновение умолк, глянув под потолок, и сказал:

— Господь Всемогущий, помоги мне стать таким, как Вудро Вильсон, а не Генри Форд.

Все встали, зал взорвался аплодисментами. Наверное, от того, что на сцене появился первый гражданин города доктор Честер Роуэлл. Панос поклонился, но только один раз, спустился со сцены и сел.

По дороге домой я сказал:

— Ты так и сказал им, Панос.

— Что сказал?

— Ты сказал, что мы все братья, все-все, как учили нас Вашингтон, Джефферсон, Джексон и Карузо.

— Кто-кто?

— Я и сам не понял.

— Неужели я поставил Карузо в один ряд с остальными? — спросил он.

— Да. А зачем ты это сделал?

— Не знаю,— сказал Панос.— Но должна же быть причина.

— А потом ты пропел «O Sole Mio»,— сказал я.

— Ну вот, я же знаю, что должна быть какая-то причина,— сказал Панос.— Я это сделал для того, чтобы спеть песню с нашей граммофонной пластинки. Как у меня был голос?

— Хорош,— сказал я.

— А произношение было хорошее, когда я пел итальянские слова?

— Думаю, что да,— сказал я.— Мне твое произношение показалось вполне итальянским. Так, значит, ты не хочешь, чтобы я разыскивал для тебя турка?

— С чего ты взял?

— Так ведь ты сам сказал мне в своей речи, чтоб я больше не искал.

— Я сказал?

— Ну да. Как же ты не помнишь? Когда ты подходил к концу в первый раз, перед тем как мэр Туми попросил тебя протянуть еще немного, ты почти запел про всякую там всячину, загундосил себе что-то под нос и вдруг сказал: «Не ищи в этом мире турка, ибо ты не найдешь его здесь».

— «Не ищи в этом мире турка, ибо ты не найдешь его здесь»? — повторил Панос.

— Именно.

Мы долго шли молча. Наконец Панос сказал:

— Как ты думаешь, хорошая получилась речь?

— Очень,— сказал я.

— Такая же, как мои другие?

— Даже лучше,— сказал я.— Но теперь с турками покончено, да? Дуэли, кровопускания отменяются? «Не ищи в этом мире турка, ибо ты не найдешь его здесь». Это же твои слова, Панос.

— Ну и сморозил же я глупость,— сказал Панос.— Что же мне теперь делать с моим фехтовальным дарованием?

Все кончилось тем, что он заставил меня брать уроки фехтования у Масура Франсуа для того, чтобы по очереди исполнять роль турка в этом мире. И каждый из нас в глубине души побеждал и терпел поражение, чью бы роль он ни исполнял.

*Перевод с английского
Арама ОГАНЯНА*



Потом у нас «селлся» Троцкий, затем Ленин.

Я не встречал более самоотверженного человека, готового во имя семьи сделать сверх человеческих сил. Галина способна на подвижничество.

Тешу себя мыслью, что я все же смог сделать и для нее нечто, что позволило ей себя считать счастливой. Хотя бы иногда...

Она очень прямой человек. Может кому угодно (было даже — Горбачеву) сказать в лицо нелицеприятные вещи. Абсолютно нетерпима ко лжи.

Маленькая, хрупкая фигурка моего бесценного друга всю мою жизнь прошагала рядом, проявляя обо мне неистощимую заботу... Герой, опора семьи.

17.03.1993

Болезнь

В июле и августе 1991 года я перенес две тяжелейшие операции — оксфордские врачи удалили злокачественные опухоли в кишечнике и печени. Их сократили на одну треть. Госпиталь «Джон Рэндклиф» в Оксфорде дал мне надежду на завершение моих планов. Почти год я работал по 14—15 часов в сутки — в парламенте, Кремле как советник президента, председатель двух государственных и одной парламентской комиссий. Казалось, так будет всегда. Но осенью 1992 года врачи в Оксфорде и в Москве заподозрили неладное.

Меня пригласили в Вашингтон. Собрали деньги для дочери Оли, чтобы она могла поехать со мной в качестве помощника и переводчика. За легкие я был спокоен. Вспоминалась молодость, многодневные лыжные переходы, да и в двух московских госпиталях мне подтвердили, что легкие беспокойства не вызывают.

И вот — госпиталь армии США. Роскошный номер, в котором, как сказали, когда-то лежал президент Эйзенхауэр. А к исходу дня мне объявили приговор. Американский полковник-врач сухо констатировал: операцию на легких делать поздно и бессмысленно. В легких — четыре очага. Метастазы и в печени. Я обречен. Через два-три месяца можно провести химиотерапию, что должно продлить жизнь на несколько месяцев. Всего же, по его прогнозам, мне осталось жить семь месяцев. При самом лучшем исходе — десять месяцев, заявил врач.*

Я стал высчитывать, что успею: завершить книгу «Ленин», написать книгу «Сталинград», сняться в фильме о Ленине...

Мучительно жаль семью. Сам я за этот год обрел какую-то внутреннюю свободу, понимание, что скорое прощание с этой жизнью уже неизбежно.

16.02.1993

В зеркале моего «я»

Оглядываясь, видишь, лет пробежало уже немало. Но многое прожито, как выясняется, по совети ушедшего времени, а не праведности наступившего. Жили плохо, но и сейчас — едва ли лучше. Сын «врага народа», я смог стать ученым, генералом, депутатом. И тем не менее оглядываться в прошлое — горько.

Горечь понятна: долго, большую часть жизни служил целям, идеям, которые в основе оказались ложными. Убеждение в этом окончательно пришло еще лет десять назад. Возможно, в чем-то моя судьба типична для российской интеллигенции: умеренный сталинист (при расстрелянном в 1937 году отце, сосланной с нами, детьми, и умершей в ссылке матери), долгие годы — ортодоксальный марксист и где-то лишь с середины семидесятых — «человек долга» со смятенной душой. Нет, я изменился не тогда, когда написал «Сталина» (в 1984 году книгу закончил — опубликовать дали только в 1989-м).

Помню, на заседании кафедры марксистско-ленинской философии в Академии им. Ленина (был адъюнктом, в середине шестидесятых), выступая, заявил: не научно в философских работах использовать идеи, цитаты, положения политических деятелей (имея в виду Хрущева, Брежнева, др.). Генерал-майор Н. Ф. Сушко, начальник кафедры, тут же поняв, куда я клоню, оборвал:

— Говори по делу и не забывай о роли политики в философии.

Тем не менее я понял по-другому. Почти в трех десятках своих книг у меня, по моему, нет цитат ни из Хрущева, ни из Брежнева, ни из Андропова... В статьях не удавалось без них обходиться. Без этого не печатали (ведь я писал о войне, мире, конфронтации, армии, морали военных и т. д.).

В другой раз, при уточнении программы курса по историческому материализму, я всё пытался «всунуть» в тематический план тему «О демократии в современном обществе», пока тот же понимающее умный Сушко не оборвал меня еще раз...

Что-то в душе шевелилось, не мирилось с тем, что читал, что говорил сам, с тем, что видел вокруг.

Затем, когда попал в Главпур, пришлось бывать за границей, и не только в «соцстранах». Побывал на нескольких крупных конгрессах, научных симпозиумах.

* Думаю, дело не во врачебной ошибке, а в том непрерывном волевом усилии, с которым отец не поддавался болезни, боролся с ней. Его «держали» книги, которые надо было еще написать, дела, которые он хотел сделать, люди, с которыми ему необходимо было встретиться. Именно это, я абсолютно уверена, и помогло ему прожить еще три года, спутав все медицинские карты. — *О. Д. Волкогонова.*

Попутчики на жалкие крохи, что давали в качестве «командировочных», везли довольно дешевые джинсы, проигрыватели японские, а я привез за несколько «заездов» Мережковского, Бердяева, Деникина, Врангеля, Гиппиус, Розанова, Лосского, Керенского, даже Троцкого... Рисковал. Правда, выручал мундир, корочки документов — в 45 лет я уже был генералом... Был «на идеологии». Приходилось туго. Выступал на творческих съездах, упор делал на необходимость патриотического, гражданского воспитания, а главное — непримиримость к враждебной идеологии. Выгляжу сам в своих глазах сегодня (обращаясь к тому времени) несостоятельным. Но я до 1984 года верил, что система может «поправиться», «вылечиться», «реформироваться». Искренне верил. Потом — только *хотел* верить. *Заставлял* себя верить. Мучил, насиловал: неужели изначально, в 1917 году, была роковая ошибка? Но на Ленина «покуситься» еще не смел. Даже в «Сталине» написал традиционно и о Ленине, и об Октябре. Я не «созрел» еще и хотел, чтобы книгу опубликовали. Хотя, когда обратился к секретарю ЦК Зимянину с вопросом, могу ли написать книгу о Сталине (ведь без документов ЦК мало что нового можно сказать), он сразу же ответил:

— Время еще не пришло. Да и такую книгу надо писать целому институту. Разве одному справиться с такой задачей? — И примирительно добавил: — Ишь чего надумал...

Поддержала меня только моя жена, и я с конца 70-х стал исподволь собирать что-то о Сталине (в зарубежных изданиях, в подшивках газет за 20-е, 30-е годы. Потом помог А. Н. Яковлев, помог директор ЦГАОР*, рано умерший...).

«Созрелал». А между тем был вынужден «защищать» марксизм...

Говорила во мне не совесть, а еще живая ортодоксия... Я не каюсь, а хочу лишь сказать о «диалектике» прозрения, медленного освобождения от догматизма. Показался я в своих недавних книгах...

Не буду сейчас писать всего о том, как я освободился. Ни о чем так не жалею, как о том, что не смог этого сделать раньше, когда впервые почувствовал: мы в тупике и во власти огромной, греховно великой, но ложной идеи. Может быть, еще будет шанс написать об этом подробнее. Лишь несколько штрихов.

«Сталин» лежал в столе. Взял и послал году в 1987-м, не помню точно, кусок предисловия к книге в «Литературную газету», озаглавив статью «Феномен Сталина». Она вызвала невиданный интерес. Получил около пяти тысяч писем. Подсчитал, не поленился (ответить всем, конечно, не смог): около 30 процентов однозначно осудили меня за то, что «пнул мертвого льва» (так писал один автор), около 45 — были в растерянности: «Не все ведь было плохо, не одни репрессии были». Остальные выразили однозначную поддержку. Таким тогда был, пожалуй, показатель социального, идеологического барометра великой страны...

Вызвал на другой день начальник Главпура, генерал армии А. Д. Лизичев (были когда-то приятелями), сухо, не здороваясь, спросил:

— Кто санкционировал? Кто разрешил писать о бывшем лидере партии? Это прерогатива только ЦК... Неужели надо это объяснять?

Вскоре, правда, после того, как я уже в другом месте высказал мысль: придет время, и армию нужно будет поставить вне партийной политики, — со мной говорили иначе. Я рассуждал: армия — это инструмент государства. Вместо политорганов целесообразно ввести органы социальной защиты военнослужащих и информации. Решение Политбюро состоялось скоро. Меня быстренько убрали на должность начальника Института военной истории. Ступени на две-три (если мерить служебной лестницей) ниже.

Многое было и потом. Избирали на очередной съезд партии из центрального аппарата Министерства обороны. Я был на партийной конференции, где это происходило. Половина зала — высший генералитет. Кто-то предложил мою фамилию. Выдвинули 17 человек на три места. Мне не давали слова. Ругали за оппортунизм. Но я знал, что выиграю. Лизичев, наконец, после долгого гула зала предоставил мне слово. Среди немногих (что можно сказать за десять минут?) сказал, что «партия умрет, если не встанет честно на социал-демократические рельсы». Опять ругань генералов... Но я в первом же туре победил...

На съезде мне тоже не давали слова. Когда пробился на трибуну, после слов «такую партию излечить нельзя, она умрет, как все восточно-европейские компартии», — начался топот, захлопывание. После пяти-шести минут стояния за трибуной согнали.

В институте возглавил подготовку 10-томной «Истории Великой Отечественной войны». Убедил коллег написать о войне честно, без умолчаний и сокрытий.

Дважды обсуждали первый том. Полный разгром первой редакции.

Разгром второй редакции, хотя из 32 отзывов, полученных на него, 15 было положительных, а девять — спокойно критических.

Тон на обсуждении был задан генералами армии Кочетовым и Моисеевым: «Том антисоветский». Многие академики под благовидными предлогами не пришли (заступиться боялись, а ругать не хотели). Присутствовали маршалы, генералы, секретарь ЦК Фалин, главный архивариус, замы председателя КГБ и министра внутренних дел, другая подобная публика.

Был разнос. Варенников, Моисеев, Лизичев, Фалин, другие мастодонты большевизма оскорбляли, кричали: «Оппортунист! Перевертыш! Выгнать из армии! Не давать слова!»

* Центральный государственный архив Октябрьской революции.

Кое-как это слово получил. Я сказал:

— Мой голос будет одинок в зале, где идет не научное обсуждение, а судилище. Но судят не том и не Волкогонова, а правду о войне. Меня понуждают писать ложь, но лжецом я быть не хочу. Время расставит все по своим местам, и вам не удастся истину сослать на позвизненное заключение.

Мешали говорить, но я отвечал на обвинения в «очернительстве истории», отбивался вопросом на вопрос:

— Разве немцы не были на шестой день войны в Минске? Это очернительство? То, что в книге сказано о погибших, плененных под Вязьмой почти шестистах тысячах советских солдат и офицеров, — очернительство? Разве в сорок первом году три миллиона советских солдат и офицеров не попало в плен?

Бесполезно. Из АН СССР только член-корреспондент Новосельцев решился подать голос поддержки. Академики промолчали... Даже генерал армии М. А. Гареев, которого считал другом, громил меня...

Мое выступление было сорвано. Договорить не дали. Видимо, все ждали очередной лживой версии минувшей войны, но не правды о наших потерях и ошибках. Сняли прямо на заседании Главной редакционной коллегии.

Министр после совещания, испытав, похоже, запоздалый стыд, сказал мне тихо: «Не обижайся». Фалин, уходя, пытался пожать мне руку. Я ему своей не подал.

Пришел домой. Жена испуганно:

— Почему ты такой черный?

Судилище шло четыре часа. Мне их жаль, моих судей. Многие из них ни тогда, ни позже ничего не поняли.

Ушел к Ельцину, ставшему первым президентом России. Мы были немного и до этого с ним знакомы. Думаю, я был первый генерал, который открыто встал на его сторону. Стал его советником, часто бывал у него. Чувствовал и чувствую к нему духовную близость. Хотя сразу заметил, что у мятежного борца с КПСС не было хорошей интеллектуальной школы. Об этом, как и о самом Ельцине, думаю, еще напишу.

В августе 1991 года (именно 19 августа, в день путча!) оказался в Англии на операционном столе (помог мой близкий друг, профессор Г. Шукман, дома едва ли две раковые опухоли удалили бы удачно). Удалось через Би-би-си прямо из госпиталю дважды обратиться к россиянам с поддержкой демократии, призывом к армии: не поддерживать гэкачепистов. Удивительно: недавно в одном сборнике прочел это свое обращение — кто-то тогда записал.

Числа 25—26 августа послал Ельцину с оказией письмо. Предложил: без шума вывезти ядерные арсеналы из других республик. Чувствовал, что будут трения... Но тогда никто не придал этому должного значения.

В октябре 1993 года, вновь из больницы (из Онкоцентра на Каширке) приехал в Кремль, стал заместителем председателя Комиссии по ликвидации мятежа. Тогда все висело на волоске. Не решился Ельцин на крайние меры, очень непопулярные, — была бы гражданская война. В ядерной стране...

Но главное в моей жизни — мои книги. Трилогия. «Сталин» (еще в чем-то ущербная книга. Там Ленин и Октябрь — почти традиционно марксистски показаны), «Троцкий», «Ленин» — всего шесть томов — лучше всего говорят о моей эволюции, выстраданных взглядах. Надеюсь, они оказали свое посильное влияние на сознание общества.

Что сейчас? Опасно болен. Спешу сказать несказанное, вымученное, выношенное. Пишу «Семь вождей». Мучаюсь: демократы плохо использовали свои шансы. Коммунисты, националисты могут взять реванш. Печально... Ведь, кроме очердед, карточек, цензуры и ГУЛАГа, им нечего предложить.

Большинство друзей (старых), особенно из генералитета, покинули меня. Подвергли остракизму. Получаю угрожающие письма. Грязные звонки и оскорбления в спину. Я их понимаю: обруч примитивного догматизма сорвать с головы нелегко. По себе знаю. Знаю и то, что не только несправедливо жили раньше, но и сейчас живем далеко не так, как нужно. Ельцин совершает ошибку за ошибкой. Он не хочет понять: власть сама по себе не может быть оправданной. Семь десятилетий цепко держат нас до сих пор. Он недооценил это, как и все мы.

Лучшая награда мне — когда при продаже моей книги (меня приглашают обычно выступить, дать автографы) приходят *тысячи* людей! Абсолютное большинство — сторонники перехода к достойному свободному человеку существованию, чего хочу и я. Ни о чем не жалею, кроме того, что многое не успею.

10.12.1994

Москва

Мои «выдвижения»

В мае — июне 1990 года состоялся Первый съезд РСФСР. Его бурные перипетии уже стали достоянием истории. При выборах главы Российского государства (Председателя Верховного Совета республики) неожиданно в числе других кандидатов выдвинули и меня (всего было выдвинуто пять-шесть человек). При остром соперничестве Ельцина сначала с Власовым, а затем и с Полозковым я имел реальный шанс как «нейтральная фигура». Но я снял свою кандидатуру. Через два дня — новый тур: меня выдвигают вновь. И вновь я снимаю свою кандидатуру.

В перерыве Ельцин, ставший Председателем Верховного Совета, встретился со мной и предложил стать его заместителем. Отказался...

Но все же меня вскоре избрали заместителем Председателя палаты национальностей. Через четыре месяца я добровольно сложил с себя эти полномочия. Власть мне не нужна.

В октябре 1990 года Силаев (глава российского правительства в то время) пригласил меня для беседы и предложил стать министром (председателем Комитета) обороны и общественной безопасности России. Я тут же отказался, хотя разговор с уговорами шел более часа.

В ноябре 1990 года Ельцин предложил мне эту же должность. В долгой беседе я сказал, что готов помогать ему как эксперт, как советник, но... не как министр.

— Б. Н.! Своей головой я вам больше помогу, чем ногами. Возраст мой не для министра...

Ельцин, мне показалось, удивленно посмотрел на меня. Нет, нет и нет. Я не честолюбив.

Мои мотивы? В 60 лет поздно начинать сначала, тем более что я хочу написать еще несколько книг... Жизнь коротка, надо уметь выбирать главное свое дело. Для меня такое дело — это книги, возможность помочь людям по-новому взглянуть на свое собственное прошлое, а значит, и будущее. Грустно вспоминать, что в молодости часть своих сил я растратил зря...

10.12.1991

Строки из дневника

Бабушкины часы... Древние ходики с замками вместо гирьки бабушка использовала только для одной цели: сажая в печь хлеб, она, крихтя, становилась на облупившуюся табуретку и толкала скрюченным пальцем маятник. Спустя полтора часа она, так же крихтя, взбиралась и останавливала часы, затем вынимала хлеб. Я несколько раз незаметно от нее приводил в движение маятник, но стоило мне уйти, бабушка часы останавливала. На мой недоуменный вопрос, зачем она это делает, бабушка ворчливо ответила: «Хлебу-то надо знать свое время, а для меня нечего отстукивать да напоминать. Так-то незаметно и мое время приспеет...»

1960

Соломатка — деревенька в верховьях Агула, в предгорьях Саян. Печать заброшенности... Трудно рассказать о деревне в две сотни домов (в прошлом), где больше уже *никто* не живет вот уже четверть века... Лес поглотил жилье; болтающиеся на ржавых петлях двери и ставни, кустарник, опутавший сарай, колодцы; молодой ельник там, где когда-то скрипели колеса крестьянских телег... Человеческое гнездовье, оставленное людьми. Грустно мое возвращение на родину.

01.11.1980

В январе 1976 года в Главпуре была делегация из Эфиопии во главе с одним из высших армейских чинов Асдатом Дестой. Он много и гладко говорил о стремлении построить социализм и утвердить демократию в Эфиопии. А в феврале, меньше чем через пару недель, так и не «утвердив демократию», был убит в перестрелке, вспыхнувшей во время заседания среди присутствовавших армейских руководителей! Но наша помощь эфиопской армии от этого не прекратилась и не уменьшилась.

А недавно присутствовал при встрече А. А. Епишева с Менгисту Хайле Мариамом. Я смотрел на его смуглое лицо и думал: прежде чем он стал первым лицом в государстве, эфиопские междоусобицы унесли жизни тысяч людей, почти всех, кто заваривал революцию в этой отсталой стране... Что он чувствует, вспоминая тех, с кем начинал и кого сам позже не только убрал с политической арены, но и вычеркнул из жизни?

Вчера смотрел дворец Хайле Селассие, императора Эфиопии, и поражался. Золотые дверные ручки, дивные ковры, редкостного цвета мрамор... Великолепие и роскошь. А за стенами — чудовищная нищета. В деревнях не дома, а хижины, живя в которых трудно сохранить что-либо *человеческое*.

В Эфиопии я почти не видел стариков. До этого возраста не доживают.

26.04.1981

Аддис-Абеба

Я замечал, что многие люди живут главным образом *ожиданиями* — ожиданием обеда, конца рабочего дня, полочки, отпуска, повышения, праздника, поездки, новой квартиры, юбилея и т. д. Ожидание становится состоянием души, ослабляющим их деятельное начало.

21.06.1981

Много мне сейчас не надо. Только немножечко одиночества для работы.

1984

Высшее мастерство любого политика — уметь превратить поражение в победу, а победу в триумф.

Говорят: хочешь мира — готовься к войне. А может быть: хочешь мира — пойми, что такое война?

Судьбу часто считают какой-то внешней силой. Толстой в «Войне и мире» говорил о судьбе как о безличном роке, универсальном законе. Сегодня судьба — это власть власти. Быть или не быть войне? Реформам? Обновлению?

1984

Провидение учит нас, как тупых школяров, а мы все никак не можем взять в толк науку.

10 апреля в 7 часов утра загорелась триумфальная арка на одной из центральных площадей Бухареста, сооруженная в честь 20-летия избрания Н. Чаушеску генсеком. Огромный пластиковый монумент, сделанный «под камень», с огромным портретом и надписью: «Золотая эпоха Николае Чаушеску» — сгорел синим пламенем за полчаса.

Тщетно пытаться увековечить себя при жизни.

12.04.1987

Мне очень по душе интеллектуальный романтизм, хотя это теперь и старомодно. Ныне больше ценят рациональность. Рационально мыслящие люди, как правило, преуспевают. Но лучше быть белой вороной, чем изменять самому себе...

Во время одной из поездок в Афганистан был в одном из далеких гарнизонов. Через три часа отсюда должен был быть выброшен десант (рота) для перехвата каравана душманов с оружием.

Молоденький старший лейтенант (замполит роты) возбужденно докладывал мне, что все у них готово... Не в первый раз... Ребята — что надо... Вертолетчики — знакомые... Вечером будем здесь... Он, конечно, не знал, что через три часа будет убит и вечером я увижу его лежащим на плащ-палатке с бледным, изменившимся лицом. Все произошло, как в сентиментальном романе, только в жизни получилось страшнее и бессмысленнее.

09.06.1987

Думаю, тайна христианства заключается в страдании и слезах. Они сильнее бича, тюрем, костров. Внутренне это выражается в неодолимой вере, внешне — в прекрасном плачущем лице.

«Упраздняя» Бога, люди становятся склонными к тому, чтобы выдвинуть его из своей среды.

Не будь человека, вся драма мироздания разыгрывалась бы перед пустым залом.

Свобода веры — это и есть свобода сомнений.

12.08.1987

Можно допустить дерзость и даже ересь по отношению к непреходящим ценностям, но нельзя допускать кощунства.

14.08.1987

Гурзуф

27 апреля 1987 года я выступил на пленуме СП СССР с критикой белорусского писателя Алеся Адамовича за его концепцию одностороннего разоружения. Я, как мне казалось, убедительно показал ошибочность его пацифистской позиции. Мол, находясь на боевом дежурстве, офицер может надеяться на то, что ему никогда не придется нажимать кнопку запуска ракеты, но *готовность* к этому должна быть. Мир балансирует, но не теряет равновесия благодаря паритету ядерного оружия и мысли о том, что офицеры всех ядерных держав *готовы* нажать кнопку в ответ на нападение... Адамович сравнил мою позицию с позицией Тэтчер и не согласился с моими доводами: если мы не нанесем ответный удар, то у жизни еще останется шанс сохраниться где-нибудь в джунглях Амазонки или в пустынях Австралии...

Он был прав.

20.10.1987

Горбачев ездит с протянутой рукой, рассчитывая на благодарность своих сограждан. Но он плохо знает россиян: большинство было оскорблено.

Освободить других проще, чем освободить себя. Подобное я испытал: помогая многим очиститься от власти утопии, тоталитарного мышления, разных марксистских идолов, мне приходится и самому проходить через это чистилище.

18.11.1988

Иногда так хочется побывать в своем детстве. Оно было тяжелым, голодным, скорбным... И все же в душе остались какие-то солнечные пятна, щемящая тоска об отце, матери, сверстниках, снежных Саянах, быстром потоке Агула, кедровниках бескрайней тайги. Видимо, это грусть не только о безвременно рано ушедших близких, но и о самом близком в моей жизни общении с природой. Она нас кормила: рыбой, ягодами, кедровыми орехами, грибами. Если бы не она — нам бы, ссыльным, не выжить. С тех пор сохранилось неизбывное чувство благодарности к природе, потребность понимать ее, слушать. Думаю, что даже в мысленном контакте с тем, что мы называем природой, человеку дается возможность ощутить бесконечность и гармоничность мироздания.

11.02.1990

Понять историю — это, значит, пережить ее в душе год за годом. Многие годы моей жизни ушли на такое «переживание». Надеюсь, что приблизился к истине, хотя в истории всегда гораздо больше вопросов, чем ответов. Меня это радует — столько еще интересного и нового впереди, столько планов!

10.05.1991

Оксфорд. Уже десять дней, как мне сделали тяжелую операцию. Рак. Достаточно сказать, что разрез — на треть метра. На второй день сидел, на четвертый — пошел. Обаятельный доктор Мортенсон и его помощник Севиж — большие мастера. Теперь вопрос в том: просто это отсрочка или спасение? Знает только Бог...

Читаю, пишу заметки, делаю выписки из книг, которые мне приносит из библиотеки колледжа святого Антония Гарри Шукман. Живу — таков человек! — планами, задумками, надеждами. Часто смотрю с высоты пятого этажа госпиталя, стоящего на холме, на всю округу. Красивый пейзаж, старинные дома, вековой панцирь викторианской черепицы. За суетой современного университетского города стараюсь угадать глубь веков: династические катаклизмы и коллизии, крестьянские восстания и войны, колониальные захваты и рождение великих умов... Поток жизни — как кинолента, которую беспощадно заглатывает камера истории.

На моей палате надпись на табличке: «Д. Грин», как я понял, для конспирации (для администрации госпиталя непривычно, что русский военный чин может лежать в английском госпитале под своей настоящей фамилией). Молоденьких медсестер будоражит такая таинственная атмосфера вокруг первого русского генерала, которого им привелось встретить в своей коротенькой жизни. Забегают ко мне каждые полчаса. Вот так, под именем Дмитрия Грина, жду ответа у судьбы... И еще жду: скоро придут Галя и Оля, они так заботятся обо мне.

09.08.1991

Трагическая история России... Думаю, лучшие ее годы в XX веке приходились между 1906-м и 1914-м. Не будь злосчастной войны — Россия стала бы великой державой в полном смысле этого слова. Но с тех пор, как страшный октябрь 1917 года вторгся в российский жизнь, страна стала олицетворением страданий, жертвенности, насилия, угрозы, безразличия к судьбе личности. И все же все эти годы где-то подспудно жила вера в духовную миссию России.

Трагедией переворота Россия помогла всем, кроме себя. Таков ее *крест*. Мир ужаснулся увиденному и сделал все, чтобы это не повторилось.

01.12.1991

Вашингтон

Распался Союз. Печально. При всем том, что это была Империя, — грустно. Думаю, мы его могли бы сохранить как *конфедерацию*. Уверен, придет время — сами потянемся к интеграции.

Мы больше не «советские». А какие же? Русские? Тоже не осознаем. Кроме языка, все забыли. Да и языку досталось... В интеллектуальном смятении ищем, как всегда, ответа на извечный российский вопрос: «Кто виноват?». Не находя ответа, сами выискиваем врагов. Если так будет и дальше, можем пройти весь страшный путь сначала.

11.02.1992

Оксфорд

Читаю у Достоевского в пропущенной главе «У Тихона»: «по несовершенству веры своей сомневаюсь». Возможно, историческая неудача нашего отечества от «несовершенства веры»? В том смысле, что мы верили в утопию идеального чело-

веческого муравейника? Конечно, идея справедливости будет жить вечно, но мы ее, видимо, не там и не так искали. «По несовершенству веры» Тихон сомневался, а мы не сомневались...

11.02.1992
Оксфорд

Я никогда раньше не считал антисемитизм серьезным явлением в СССР. Меня он раздражал, но казался частностью в нашем бетонно-бюрократическом обществе. Но однажды, уже после августа 1991 года, увидев по ТВ манифестацию каких-то молодчиков с омерзительными плакатами, я почувствовал, что угроза фашизма в России — не только в лженационализме, но и в антисемитизме. На экране маршировали люди, которые демонстрировали обществу готовность реализовать на деле свои убеждения.

Иногда мне хочется крикнуть: поймите, нас мало! Мы не просто русские, евреи, татары, чеченцы, мы — *земляне*. Мы все связаны навеки вместе.

Антисемитизм — болезнь неполноценных людей, даже если эти люди носят ученые степени. Может быть, антисемитов надо лечить, ведь для некоторых ядерных обвинять во всех грехах и бедах евреев — способ сохранять собственную психическую устойчивость. Причем это заразная болезнь, быстро передающаяся от одного неудачника к другому. Духовный СПИД...

Холокост. Лауреат Нобелевской премии писатель Эли Визель так сказал о судьбе евреев, имев в виду шесть миллионов уничтоженных во второй мировой войне: «Не все жертвы нацизма были евреями, но все евреи были жертвами нацизма». Мы, представители страны, потерявшей в минувшей войне 26 с половиной миллионов своих сограждан, должны, более чем кто-либо, сердцем понять, что значит для гонимой столетиями нации потерять в XX веке почти половину своих соплеменников...

Россия распята между Европой и Азией. Она не Европа и не Азия. Или и Европа, и Азия — частично. Ей не хватает (при колоссальном интеллектуальном потенциале!) европейской цивилизации, не хватает азиатского трудолюбия. Это не распятие между континентами, а распятие между цивилизациями. Российские беды исчезнут тогда, когда Россия перестанет искать свое будущее в простом заимствовании и подражании. Заимствование марксизма — историческое предупреждение.

20.06.1992

Посещение ядерной базы в дальнем Подмосковье.

Здесь хранится ядерная смерть, достояние для *всего* человечества... Блестящие «чужки», «сигары», «кастрюли», «блоки»... Одна тысяча с небольшим ядерных боезапасов, три слоя особой охраны — внешний обод распространяется аж на 21 километр.

Вход в «объект» сопровождается резким звонком: много стальных дверей огромной толщины. Затем боксы. Командиры бригад контроля — полковники. Входим в бокс — 36 ядерных бомб. Каждая в контейнере на тележке, примерно три с половиной метра длиной.

Один бокс: образцы наших ядерных зарядов. Первая атомная бомба — огромных размеров яйцо продолговатой формы. Кстати, первая ядерная бомба была названа «РДС» — «Россия делает сама». Так предложил Сталин в августе 1948 года. Рядом — монстр: самый крупный заряд, 10 мегатонн. Ракета весом 283 тонны! Затем — все меньше и меньше. Последние из демонстрируемых ядерных зарядов могут переносить люди.

Все это — дьявольские чудеса. Вершина человеческого интеллекта — и создание самого страшного оружия зла...

08.07.1992
Объект «С»

Вечером мне позвонил из Нью-Йорка Петр Петрович Врангель — сын известного белого генерала. Ему 82 года. Старик хотел «перед смертью узнать правду о кончине отца, крепкого, здорового 48-летнего человека». Я ему рассказал, что, как только Петр Николаевич Врангель оказался после печального исхода из России в Париже, ГПУ установило за ним слежку. Многие бедствующие белые офицеры быстро попадали в сети советских спецслужб. Недостатка в волонтерах у ГПУ не было. Некоторые пытались таким образом «заслужить» себе право вернуться на родину. Один из близких людей П. Н. Врангеля оказался сотрудником ГПУ и смог отравить генерала.

Петр Петрович помолчал и сказал:

— Я так и думал...

Быстрая смерть генерала для многих не была загадкой. Знали, что выкрали и увезли в СССР не только генералов Кутепова и Миллера, но и за рубежом уничтожили многих.

Думаю, так продолжалось довольно долго. В архивах ЦК, КГБ, президента я находил бумаги, подтверждающие это. Таким образом, например, был уничтожен в

Каире руководитель партии армянских дашнаков; в Германии был отравлен женщиной — сотрудницей КГБ Хохлов (правда, его удалось спасти)... Продолжать можно долго. Система, провозгласившая себя носителем высшей нравственности, действовала как банда преступников.

В тихом, печальном голосе Петра Петровича Врангеля не было ноток осуждения или мести. Изменить ничего уже нельзя. Можно узнать и понять прошлое. Это тоже важно.

14.11.1992

Несколько дней назад выступал в сенате на слушаниях. Десяток лет назад такое и представить было невозможно! Думаю, впервые в парламентской истории США русский генерал участвовал в работе сената. Речь шла о судьбах американских военнопленных, исчезнувших за границей (и, в частности, в России). Вел заседание сенатор Керри. С меня взяли клятву: «Клянусь говорить правду, только правду, ничего, кроме правды».

Правда же была такова, что в течение трех с лишним часов я, следуя данной клятве, рассказывал сенаторам, что согласно сведениям нашей совместной российско-американской Комиссии по розыску пропавших без вести американцев насильно удерживаемых американцев в сегодняшней России больше нет (за исключением одного, совершившего уголовное преступление, вопрос о помиловании которого уже практически решен). Зато живут те, кто был «превращен» в советских граждан. (В 1939 году 49 американцев славянского происхождения были обращены в советскую «веру», а затем, как водится, направлены в советские лагеря. Менять свою жизнь им теперь уже поздно.) Живет около десяти и тех, кто по своей воле остался в СССР.

Вопросов было много. Несмотря на корректную форму, почти во всех чувствовалось сомнение в том, что мы до конца искренни. Обижаться было бессмысленно — срабатывал стереотип, выработавшийся долгими десятилетиями: у русских всегда есть что-то, спрятанное в рукаве.

В эти же дни встречался с самыми высокопоставленными руководителями Америки: Иглбергером, Скоукрофтом, Тейтси (ЦРУ) и др. Говорил о важном: мы помогли и будем помогать разыскивать пропавших американцев по всему миру, но мы просим и американской помощи в освобождении российских солдат в Афганистане.

Интервью, беседы, круговорот встреч. Многим подписал свою книгу, вышедшую в Америке. Чувствую свою ущербность, не зная английского языка. Французский мой редко здесь помогает...

15.11.1992

Борт самолета Вашингтон — Франкфурт

О времена, о нравы! В эти полтора года несколько раз за океан летал спецрейсами: с Ельциным, Шохиним, Грачевым. Полеты как полеты. Б. Н. всю дорогу в своем отсеке сидел над бумагами. Видимо, готовился к встрече с Бушем. Работали Шохин и Грачев... А остальные?

Остальные пили: экономисты, помощники, дипломаты, генералы... Приглашали и меня к «застолью», но я вот уже четверть века как отринул от себя это занятие. Причем не «выпивают» (глагол, столь характерный для русского языка), а пьют «по-черному». Все долгие семь-восемь часов, что самолет перелетает океан, — пьют... Читают единицы. Противно и грустно. Перед посадкой приводят себя в порядок — снимают спортивные костюмы, на свет извлекают белые крахмальные рубашки, а против запаха спиртного используют в неограниченном количестве одеколон, причем не только наружно, но и внутренне: видел, как парочка помощников обрызгала им не только свои щеки, но и язык с зубами! Этот «полетный ритуал» — ужасен.

Помню, лет десять — пятнадцать назад приходилось летать с Гречко, Епишевым, Соколовым и в Афганистан, и в Эфиопию, и в Египет. Тоже пили... Правда, сами военачальники сдержанно, зато их подчиненные не упускали случая...

Что это? Российская традиция? Невысокая духовность? Или низкая культура?

08.09.1993

В самолете с П. С. Грачевым

Символ разрушения старой, патриархальной Руси — усадьбы. Уцелели единицы. В остальных случаях — бурьян, чертополох, обломки старого фундамента. А ведь в старину это были гнездовья русской духовности, родники патриотизма и культуры. Нельзя без усадьбы представить Пушкина, Лермонтова, Толстого. До революции издавался даже журнал «Имена и усадьбы».

Бесовство большевизма и коллективизации смело эти культурные гнезда. Уцелевшие, но покалеченные Кусково, Абрамцево, Архангельское да десяток других — редкие исключения.

Культура всегда имеет свои гнезда. Их разорение ведет к оскудению духа, варварству, безбожию.

Есть усадьба духа на русском пригорке — будет она и в душе человека.

29.09.1993

Впервые в Москву приезжает английская королева Елизавета, в генеалогическое древо которой тесно вплетены и ветви, связанные с Романовыми.

Я приглашен на прием в британское посольство. Раньше, когда послом был недавно уехавший в Лондон сэр Брэдвейт, я бывал тут не раз. Да и он приходил к нам домой на Галино «фирменное блюдо» — сибирские пельмени. Сейчас мои визиты в особняк на набережной стали гораздо реже.

В зале посольства — много знакомых лиц из столичного «большого света». После представления каждого пришедшего королеве образовалось много оживленно беседующих группок и пар. По этикету к Ее Величеству подходить не положено, если не позовет сама. Королева позвала Александра Николаевича Яковлева, потом еще кого-то. А я с Галей нашел очень интересного собеседника — что-то вроде церковного «министра иностранных дел» — владыку Кирилла.

Неожиданно ко мне подошел сотрудник посольства: «С вами хотела бы побеседовать королева Англии».

Глаза у молодой женщины пронизательные. Представился. Королева задавала несколько вопросов о моей работе как председателя Комиссии по розыску сгинувших без вести иностранцев на территории СССР, спросила, были ли среди них англичане. Постарался ответить лаконично, чтобы не злоупотреблять монаршим вниманием. Королева слушала с неподдельным интересом. Затем вдруг спросила:

— Мне рассказывали, что вы несколько лет назад читали лекцию по русской истории в палате лордов?

Действительно, в 1988 или 1989 году, точно не помню, я был приглашен лордом Кредоком прочесть лекцию «Сталин во второй мировой войне». Аудитория была необычной; пожилые джентльмены с интересом изучали советского генерала, задавали вопросы. Один из вопросов запомнился:

— Господин генерал, командарм Власов боролся со Сталиным, которого вы теперь осуждаете. Не стоит ли переоценить роль Власова в войне? Возможно, он не предатель, а борец со сталинизмом?

Я ответил вопросом на вопрос:

— Власов изменил не Сталину, а присяге и Родине. Если бы таким образом поступил, допустим, генерал Монтгомери, как бы вы оценили подобное?

— Это невозможно! — почти крикнул степенный джентльмен.

Я рассказал об этом маленьком эпизоде королеве. Елизавета, выслушав, неожиданно громко засмеялась и спросила:

— Вы думаете, эти джентльмены поняли вас?

В ее тоне сквозило явное сомнение. Мне показалось, что она невысокого мнения об интеллектуальных способностях лордов...

Подумалось об историческом парадоксе, который уже давно не кажется никому таковым: английская демократия сочеталась тесным союзом с монархией! И служит верно не столько друг другу, сколько Великобритании. А у нас и без парадоксов верной службы поискать надо...

17.10.1994

Почти не осталось друзей. Старые, из генералитета, давно отвернулись от меня, как от еретика и оппортуниста. Те, к кому я объективно пришел, особенно из числа бывших диссидентов, по-прежнему считают меня аномалией. Ощущение пустоты. Только жена всегда поддерживает меня.

Сегодня днем, 24 февраля 1995 года, мной, председателем Комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, была дана пресс-конференция для журналистов. Только с телекамерами человек 30... На основании максимально возможно точных данных о жертвах (все эти люди пофамильно зарегистрированы в нашем компьютерном банке данных) я заявил, что военнослужащих федеральных войск в Чечне погибло 1146 человек, а пропало без вести — 374 (в том числе около 100 неопознанных трупов). Сказал, что за три недели освободили около 100 военнослужащих, список еще на 90 человек — у нас. Будем пытаться менять, освобождать и т. п.

Вечером по разным программам ТВ передали мое заявление. Слава Богу, две главные цифры не исказили. Но вдруг заявили, что Волгогонов, мол, утверждает, что погибших мирных чеченцев и русских не десятки тысяч, а всего несколько тысяч. И что, мол, «правозащитники» не интересуются точными цифрами...

Но я этого совсем не говорил! Заявил, что в условиях, когда беженцев из Чечни более 250 тысяч, когда нет местной администрации, — трудно организовать учет погибших мирных жителей. И вдруг заявление НТВ, что «погибших совсем немного»...

Что это? Дирижирование информацией? Непрофессионализм журналистов? Или просто привычка (за 75 лет научились) врать? Воровство, как и вранье, похоже, скоро станет, к нашему стыду, чертой национального характера... Горько.

На улице часто узнают. Вчера шел в госпиталь им. Мандрыка на Арбате. Навстречу — пожилой человек. Узнав меня, замедлил шаги, остановился, бросил в спину: «Жив еще, гад!»

Но через несколько метров догнала пожилая женщина (может быть, услышав брошенное ругательство, не согласилась): «Дмитрий Антонович! В нашей семье мы все вас любим... Но что же делает Ельцин! Все загубил...»

Люди любят персонифицировать свое негодование и симпатии, преувеличивая значение конкретных людей в человеческих коллизиях.

25.02.1995

Страшное открытие: свобода нужна не всем. Даже не большинству. Я встречал и встречаю множество людей (даже с профессорскими дипломами!), для которых материальное благосостояние, покой и размеренность быта важнее свободы! Свобода — все еще Золушка на Руси... В этом вся трагедия.

02.03.1995

Человек никогда в этой, земной жизни не успевает сделать все, что задумал. Особенно человек творчества. Жизнь всегда короче дальних замыслов. Но иногда важнее начать, чем завершить.

Все говорят сегодня о «чеченском синдроме». Вспомнил в этой связи, как на аналитическом Совете при президенте мы в конце ноября или начале декабря (не помню точно) обсуждали проблему: какое решение может быть у чеченской проблемы? Присутствовали около 20 человек: министр экономики Ясин, социолог Левада, писатель Карякин, руководитель «Останкино» Яковлев, другие. Работали три часа. Все до одного члены Совета рекомендовали президенту *только путь переговоров*; вероятно, долгих, трудных, но все же более эффективных, чем сила.

Немного позже состоялся Совет Безопасности при президенте. Сегодня все в мире по видимым страшным результатам знают, каково было его решение. Знают также, что на решение Совета Безопасности оказала сильное влияние позиция руководителей северокавказских регионов, уставших от беспредела чеченских боевиков. Хотя еще в начале декабря существовал шанс решить бескровно мучительный узел проблемы: Кремль должен был пригласить Дудаева для переговоров в Москву. Знаю, тот был готов к далеко идущим компромиссам, устраивающим и Россию, и Чечню.

Было избрано самое худшее решение — «бомбовые методы». В результате — гибель людей, падение авторитета власти.

Сейчас речь идет уже не только о Чечне. Синдром Чечни наложил свой отпечаток на всю политическую жизнь России. Активная оппозиция, националистические силы стремятся не упустить благоприятного для них момента, чтобы добиться досрочного переизбрания президента...

26.01.1995

Вашингтон

Просветление приходит в «пограничной», роковой ситуации. Окружающий мир становится прозрачен, как сентябрьский воздух. Но собственное страдание — ничто по сравнению со страданиями твоих близких.

05.03.1995

Дума. Я нечасто бываю в этом балагане. Обижаться нельзя: каково общество, таков и парламент. В прежнем, печальной памяти, Верховном Совете я принимал активное участие, пытался что-то изменить, на что-то повлиять. Сейчас же, когда бываю здесь, могу лишь голосовать «против» — против жириновцев, зюгановцев... Мы же, «Выбор России», имеем очень мало шансов провести свои решения. Думаю, больше пользы приношу вне Думы: выступления по ТВ, статьи, книги.

Интеллектуальный уровень Думы в целом весьма невысок. В этом нетрудно убедиться, послушав депутатов типа Марычева и других «народных избранников». Иногда кажется, что находишься на каком-то сюрреалистическом спектакле: клоуны жириновские, цеховские призраки лукьяновы, сталинисты луковы, зюгановские большевики, новые матросы железняковы в лице невзоровых...

Семь десятилетий монополии на мысль и власть сформировали элементарно мыслящего человека... Все мы вышли, выходим (а кто-то и остается там) из духовного ГУЛАГа... Здесь кроется объяснение характера Думы.

10.03.1995

Каждый человек приговорен к собственной судьбе...

Этот афоризм вырвался у меня сегодня в беседе с Николаем Покровским при входе в Военно-морской госпиталь США в Бетезде. Не думал, что через несколько минут эта истина грозно напомнит о себе. Доктор М. Гамильтон, показывая на новые снимки, печально констатировал: после нескольких месяцев затишья опухоли начали вновь расти. Появились и новые... Воистину — приговорен...

03.05.1995

Человека всегда пугает бесконечность, особенно небытия. Но последнее слово всегда за Богом...

10.11.1995

Сен-Женевьев-де-Буа

Каждый раз, когда бываю в Париже, еду на старое русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Особенно запомнилось одно посещение в конце сентября 1989 года, когда мы, приехав на XV коллоквиум военных историков, выкроили целых полдня для встречи с человеческой печалью. На этот раз нам повезло, мы встретили отца Силуяна — восьмидесятилетнего священника, большую часть жизни прослужившего на этом кладбище. Родился он в Москве, в семье русского полковника, но девятилетним мальчиком был вынужден бежать вместе с родителями в Югославию от преследования большевистских властей, затем оказался в Париже. Сухой, высокий старик, оставив у церкви мопед, водил нас среди могил русских, нашедших свое последнее успокоение здесь, на чужбине. Медленно продвигаясь по дорожкам, он скупо бросал одну-две фразы:

— Самые печальные места на Земле — кладбища, хотя именно отсюда души людей возносятся к Всевышнему...

На кладбище восемь тысяч русских могил, хотя захоронено гораздо больше наших соотечественников — более 22 тысяч. Часто в одной могиле — несколько человек. Писатель В. Некрасов, автор превосходной книги «В окопах Сталинграда», захоронен, например, в могиле некоей мещанки Раисы Семеновны Клячкиной...

Тишина. Березы. Печаль. Мало людей. Словно время прислушивается к едва слышному эху, которое оставили на этой грешной земле ушедшие люди своими последними словами, последними вздохами.

На окраине кладбищенской поляны две особенно памятные мне могилы: Мережковский Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна. На полузаросшей плите: «Да придет царствие твое...» Знаменитая поэтесса, всегда печатавшая свои стихи, очерки, эссе под мужскими псевдонимами, была яркой, но странной личностью. Любила знакомым часто напоминать, что со своим мужем, Дмитрием Сергеевичем Мережковским, за всю жизнь не рассталась ни на один день... Мистически боялась цифры «9». Символично, что ее муж умер 9 декабря 1941 года, она сама — 9 сентября 1945 года...

Отец Силуян заметил, глядя на заброшенную могилу Мережковских:

— Никого и ничего у них не осталось, кроме книг... Крутая была дама: до конца дней своих считала Сталина большевистским дьяволом. Непримиримость редкая.

И ненависть, и надежды, и покаяние похоронены здесь. Надписи на надгробиях, фамилии на них так знакомы, словно перед нами страницы русской летописи: Романовы, Платовы, Юсуповы, Милорадовичи, Лифарь, Кшесинская...

Священник мимоходом бросил:

— Мария Феликсовна Романова-Кшесинская прожила очень долго, 99 лет... С ней в могиле ее муж — великий князь Андрей Владимирович Романов...

Есть могилы с курьезами, если можно так сказать. На кладбище похоронен «мещанин Владимир Троцкий», не имевший никакого отношения к демону октябрьского переворота; навсегда успокоился тут «лейтенант российского флота Ленин», хотя весь мир знает, что Ульянов-Ленин, погубитель России, лежит в каменном могильнике на Красной площади. Тут же — Зиновий Пешков, брат Я. М. Свердлова, офицер французского флота. Не сюда ли, в Париж, тайно готовился бежать соратник Ленина в критическую минуту революции, когда он заготовил для себя и своей семьи зарубежные паспорта и крупные суммы денег? «Профессиональные революционеры» играли в революцию как в рулетку: удачи переворот — власть у них; не удачи — с немалым количеством золота можно неплохо устроиться и в Париже.

Множество памятников мученикам гражданской войны: дроздовцам, алексеевцам, кутеповцам. Офицеры, писатели, простые казаки, сестры милосердия, великие князья... Соотечественники на чужой земле развернули свой кладбищенский мартиролог, словно напоминая французам: удел России — страдать и надеяться. Замечательный бард Галич, нашедший успокоение среди французских берез русского кладбища, пел и об этом...

Проходя мимо могил Ивана Алексеевича и Веры Николаевны Буниных, священник покачал головой:

— Бунин талантлив, а Шмелев чище...

Об Иване Сергеевиче Шмелеве, могила которого неподалеку, сказал:

— Вы знаете, ведь его сын был расстрелян красными...

Помолчав, добавил:

— Пролили кровушки и белые, и красные...

Печальная прогулка среди тех, кто оставил земную жизнь навсегда. Да, жизнь — чудо. Космическое, биологическое, божественное. Смерть — тоже чудо: трагическое, пугающее, но... тоже божественное. К жизни привыкают, и в молодости кажется, что она будет вечной. К смерти привыкнуть невозможно. Но это неизбежность, ибо смерть — это часть жизни, ее земной финал. Плутарх заметил: «То, что назначено судьбой, бывает не столько неожиданным, сколько неотвратимым».

Сен-Женевьев-де-Буа — еще одно напоминание об этой вечной истине.

23.09.1989 .

Париж

Вакансия для гения

Только что побывал в музее Бетховена. Музей гения, каких на земле было немного. Не рояли и репродукции, портреты и флейты остались в памяти и в сердце.

Мучил вопрос: откуда неземная сила великого волшебника музыки; почему рождаются гении?

Провидение и Природа так распорядились, что среди обычных людей незаметно вырастают (страшно редко!!!) люди, потрясающие нас своими возможностями и способностями. Бетховен, Шекспир, Пушкин, Моцарт, Достоевский, Толстой, Эйнштейн, Лютер...

Гений — это тот, кто навсегда делает своим союзником вечность. Рождаются они потому, что только с их помощью человечество способно подчеркнуть свою уникальность, разнообразие, многодетность и неисчерпаемость. Гении «окрашивают» не эпоху, а вечность: они помогают понять тайну земного бессмертия.

...Скрипучие половицы бетховенского дома рождали в моей голове космическую музыку бесконечного, необъятного, торжественно-печального и одновременно светлого. Тот, кто услышит «музыку» гениев (независимо от того, поэт это, писатель, художник), незаметно подталкивается, подвигается ими к Добру, Красоте, Истине. И так не хочется даже вспоминать о гибели надежд, разрухе, многочисленных кликушествах лжеспасителей отечества... Ничтожества тем и опасны, что они неуязвимы. А гении уязвимы. Мы уязвляем их своей толстокожестью, глухотой, бессердечием. И как тут быть?

У человечества всегда вечная нужда в гениях. Только посредственности в избытке. Всегда есть и перепроизводство тех, откуда «метят» в гении: политиков, писателей, художников, генералов, шарлатанов. Претендентов много, а гениев нет. Особенно трудно претендовать на роль гениев политикам. В СССР, правда, было два таких «гения»: Ульянов-Ленин и Джугашвили-Сталин. Да вот беда: для существования этих «гениев» потребовалось уничтожить, сгноить, истребить как в гражданской войне, так и в многолетней полицейской войне против собственного народа многие миллионы жизней. «Гении» насилия.

Я бы рискнул отнести к гениям лишь одного политика в XX веке — Уинстона Черчилля.

Гениальность — дар божественный. Еще Спиноза заметил, что прекрасное так же трудно, как и редко. История знает гениев слова, кисти, веры, мысли. Но история не знает гениев одновременно и в интеллектуальном озарении, и в морали, и в откровениях веры, и в политических прозрениях. Да и само понятие гениальности не является всеобщим. Гений для одного, для группы, для племени, для расы — да. А для всех? Столь разные мы...

Непохожесть людей и делает их личностями. Бесконечное различие при глубочайшем сходстве индивидов. Различие — в степени осознания человеком своей индивидуальности, возможностей, способностей, готовности к дерзанию. Один мыслит масштабно, но действует локально. Другой вообще не любит и не умеет мыслить. Некоторым нравятся усы Сальвадора Дали, другим брови Брежнева, третьим — улыбка Гагарина. Не могут все рациональным путем объяснить причины своих склонностей и привязанностей. Большевикизм, нивелируя людей, делает бедными личности. Непохожесть людей — одно из условий их существования.

Одинаковость — духовная немота. Непохожесть — вечный диалог духовных миров.

Мы — земляне, раздираемые этническими распрями, страшными болезнями, перенаселенностью, страхами и соблазнами технической цивилизации. Место Планетарного гения — вакантно. Вероятно, навсегда.

05.08.1993

Бонн

Вечный ветер

Вечный ветер... Все мы — пожухлые, сухие листья, которые несет ветер из ниоткуда в никуда. Мы летим, пока не превратимся в пыль. Земную. Не вечную. Ветер — вечный, а листья — с призрачной судьбой. Сколько их было? Попробуй вспомни имя прабабушки. Не вспомнил? Листья, пыль давно провалились в пропасть человеческого забвения. А ветер шевелит листья, сдвигает с места, подхватывает в своем вечном движении. Пока я, ты, все мы — люди. Но судьба наша подобна листьям и пыли. Как писал любимый мною В. Ходасевич, один из мастеров русского слова, умерший в изгнании:

Прервутся сны, что душу душат,
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.

В конечном счете все мы окажемся «лишними свечами». Погаснет твоя свеча — зажжется другая, может быть, ярче...

Сколько до нас было трагедий и триумфов, смятений и озарений, надежд и разочарований. Будет и после нас. Потому что есть вечный ветер...

21.05.1995

«Трава после нас»

Василь Быков, прекрасный писатель, сказал однажды, что надо жить так, чтобы после нашего ухода «туда» осталась «трава после нас».

Пока же мы чаще оставляем затоптанные плешины былых полей, горы чудовищных отходов и радиоактивную возможность уничтожения всего живого на Земле. Но «трава после нас» — это не столько, как теперь говорят, «экология», сколько сохранение для потомков подлинно человеческого, вечного, непреходящего. Иначе через век люди превратятся в существа с атрофированной совестью, потерянными состраданием и утраченным милосердием.

Эволюция человечества продолжается, и, как думается мне, не только в желанном направлении. Максимальный рационализм, жестокость национализма, повсеместный терроризм, холодящий душу эгоизм — грозные признаки духовного и нравственного вырождения. Важна не только техническая, а больше, пожалуй, культурная цивилизация землян.

Не вытаптывайте траву бытия сегодня, чтобы она имела возможность взойти и после нас.

18.06.1990

Волшебный фонарь истории

С высоты птичьего полета истории видно не все. Только то, что под тобою. Рядом. Близко. Лишь когда время возносит историка на высоту, пугающую огромной, космической глубиной, можно почувствовать непреходящий масштаб великого или случайную мелочность события.

Происходящее сегодня часто кажется ужасным, потрясающим, исключительным. Проходят недели, месяцы, годы — и событие становится бледным пятном на ковре истории и едва заметным штрихом в памяти.

Я ощутил это, работая над книгой «Семь вождей» — фактической историей СССР в лицах первых руководителей (Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев). Так уж случилось, что семь десятилетий страной правили семь большевистских лидеров. Хотя Сталин правил три десятилетия, а Андропов и Черненко «мелькнули» в течение одного года. Но легче сегодня писать о Ленине, а труднее всего — о Горбачеве (вроде все всё знают о живом современнике). В отечестве его кланут и правые, и левые, но история, уверен, распорядится иначе. Не вареников и зюгановы будут его судьями, а безжалостное и не подвластное никому время. Нравится это кому или не нравится, но в историю он войдет как один из величайших реформаторов XX века.

Виною всему — высота птичьего полета истории. Главное увидится лишь с космической высоты времени.

Об этом много говорили, писали. Как сказал поэт: «большое видится на расстоянии»... Добавлю: не только большое, но и мелкое, случайное. Человек, пытающийся что-то постичь, должен уметь «перевернуть бинокль» и посмотреть на прошлое «уменьшенное». Разглядит ли?

Я пытаюсь иногда унести мыслью на четверть века, полвека вперед, в дальнюю даль — и оглянуться. То, что кажется нам сегодня судьбоносным, окажется, возможно, историческим мусором. Политическая возня мелких политиков будет казаться неким балаганом. А главное — стремление людей к свободе и достойной жизни — останется. Взгляд на нас самих из будущего — волшебный фонарь истории...

21.11.1993

Что есть жизнь? Это когда твой поезд уходит навсегда от щемяще безвозвратного детства с его солнечными пятнами, когда локомотив пронесет состав мимо станций с названиями: Отрочество, Юность, Зрелость... Мелькают годы, как километровые столбы. Стремления, увлечения, свершения, неудачи, надежды, разочарования... Поезд жизни идет не останавливаясь, и ты никогда не знаешь, на какой остановке тебе сходить, чтобы остаться там вечно. Пока *твоя* вечная стоянка впереди, все чаще возвращаешься в прошлое — мысленно, ведь туда вернуться иначе не дано никому. Стучат колеса на стыках рельсов, заменяя песочные часы. Наконец ты начинаешь понимать, что самая главная истина, которую ты искал, высказана давно: «суета сует». Мирская суета — заботы, хлопоты, тщеславные надежды, конфликты, погоня за жар-птицей благополучия в один момент превращаются в нечто несущественное, случайное. Приходит глубокое осознание тривиальных вещей, остается богатейшее пиршество — парить мыслью над прошлым и будущим.

А колеса стучат... Немногие замечают, что ты остался на безвестной станции. И поезд уже умчался в дымку неведомого...

01.11.1995

Ян ШЕНКМАН

Хорошо забытое настоящее

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Русскую литературу хоронили много и охотно. Автор поминок по ней уже и сам признал, что погорячился. Я тоже думаю, что как ни крути, а Виктор Ерофеев — русский литератор.

Борис Гребенщиков, похоронивший рок-н-ролл в восемьдесят третьем, не изменил этой музыке и по сей день. В гребенщиковской формуле «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет» вторая часть, на мой вкус, гораздо значительней первой. Она переключает наше внимание со вчерашнего дня на сегодняшний, с целого — на частное. То есть на нас самих.

Если верить похоронной команде, книги, на которых мы вырастаем, — заведомо *книги мертвых*. Нам не позавидуешь — ведь других книг у нас нет. Мы, кажется, давно имеем дело не с литературой, а с ее историей. Правда, это ощущение покидает меня всякий раз, когда я открываю для себя хорошую книгу. Книги вообще живут до тех пор, пока я — именно я — их читаю.

Рассматривать писателя в контексте его эпохи — удел историков и литературоведов. Для читателя же он, писатель, в хармсовском смысле, — совсем другое. Он давно стал именем нарицательным: *пушкин, гоголь, лермонтов* бесконечно далеки от тех, кто носил эти фамилии. Слова утратили первоначальный смысл и стали выполнять функции знаков, обращающих наше внимание на сухой историко-культурный контекст. Чтобы восстановить смысл, необходим своего рода перевод, адаптация. Перевод не на так называемый язык современности, а на личный, на *мой* язык. Нужно попытаться включить Пушкина в систему личных ценностей и найти ему место в этой системе, максимально аутентичное тому, какое он занимал в свое время. А найдя, периодически возобновлять поиски. Иначе мы столкнемся с тем, что Жан-Поль Сартр называл затвердением выбора: Пушкин снова отстанет от нас или мы от Пушкина.

Одна из наиболее удачных попыток реинкарнации великих духов принадлежит, по-моему, Иосифу Бродскому:

Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах — папироса.
В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром.

Сходство здесь скорее звуковое, интонационное. Оно и преодолевает время, не говоря о пространстве. Описание происходит на том уровне, на котором образ поэта может быть воспринят, скажем, англичанином, китайцем, марсианином и человеком другого века. Убирая антураж как неглавное, несущественное при идентификации образа, Бродский делает упор на пушкинскую пластику, на ощущение. Переодетый Пушкин немедленно узнан, даже если бы не был назван. В новом наряде поэт угадывается скорее и точнее, чем с бакенбардами и во фраке. А все потому, что Бродский, следуя завету Аристотеля, говорит «не о произошедшем, а о том, что могло бы произойти, и о возможном согласно кажущейся вероятности или согласно необходимости». Неоднократно я слышал гипотезы о том, чем занимались бы

Моцарт и Пушкин, живи они в наше время. Наиболее распространенные из них: Пушкин писал бы рок-тексты, а Моцарт — музыку для рекламных роликов. Читая Бродского, я понимаю: важно, не *что* делал бы Пушкин, а *как*, с каким выражением лица.

Когда-то давно дадаист Марсель Дюшан, пририсовав усы Джоконде, дал нам то, что мы уже не видели в прежнем образе Моны Лизы, ставшем серийным, как трилистник «adidas»'а... Время идет. Многих из тех, кто оживлял великие духи, уже нету в живых. «Все интересуются, что там будет после смерти? — писал Довлатов. — После смерти начинается — история». Культуре, если она не желает превратиться в упомянутый адидас, стоит держаться подалеже от истории. Только вряд ли это возможно. Бунт против истории становится историческим событием, и даже безвременье протекает во времени. «Мы могли бы войти в *историю* — мы туда не пошли», — пел Борис Гребенщиков в альбоме «*История* Аквариума. Том III»...

На обложках джазовых пластинок рядом с названиями пьес можно обнаружить надпись мелкими буквами *agg. traditional*, или иначе: обработка традиционной темы. Видно, некоторым джазменам хочется играть узнаваемые вещи и в то же время неохота исполнять чужое произведение один в один. В 1939 году великий саксофонист Чарли Паркер со своими музыкантами разрабатывал тему популярной песни Рея Нобла «Чероки». Совершенно новая пьеса Паркера, созданная на базе «Чероки» и названная «Ко-ко», стала одним из классических образов стиля би-боп. К произведению Нобла, который был, естественно, не слишком доволен Паркером, «Ко-ко» не имеет практически никакого отношения. И все же: без Рея Нобла Паркер, конечно, не стал бы менее гениален, но, возможно, написал бы одной пьесой меньше. Забавно другое: на одном из компакт-дисков, посвященных памяти Чарли Паркера, я слышал две обработки знаменитой «Ко-ко»: одну — симфоническую, другую — хардрок-овую, и обе были помечены *agg. traditional*...

Так происходит в джазе. Но ведь и в литературе, по выражению Вольтера, «книги растут из книг». Импровизация без темы, книга без повода оптимальны, так как фиксируют творческий импульс в чистом, не замутненном соображениями целесообразности и темы виде. Жаль только, что такой вариант почти нереален, и прежде всего по законам восприятия.

Культура, как известно, — саморазвивающийся, самодвижущийся механизм, жестко детерминированная структура. Так называемые *памятники культуры* запрограммированы ею и необходимым образом вытекают из того, что уже создано. И все же: о живых, о действующих мастерах не скажешь вот так вот с плеча, что они запрограммированы. Логика современной литературы будет видна лишь спустя многие годы, когда отпадут соображения актуальности и за внешне хаотическим развитием станет видна общая картина. Иначе говоря, когда время произведет свой отбор. Не всегда, кстати, естественный.

Двойственная природа художественных открытий, их одновременно предугаданность и неожиданность, обусловлена, на мой взгляд, тем, что развитие происходит не только вглубь, но ивширь. Оно и интенсивно, и экстенсивно. Поступательное движение культуры напоминает походы римлян, которые, завоевав новую территорию, привозили чужих богов в свой пантеон. Развиваясь за счет «не-культуры», культура неизбежно меняется по составу, тяготеет к тому, чтобы перерастаи саму себя. Художник против воли культуры делает ее богаче, присоединяет к ней новые территории. Если бы этого не происходило, культура, как нищенский минотавр, давно бы уже набросилась на себя. Своевременно подкармливать это чудовище — трудный жребий, и наиболее дальновидные просят пронести его мимо...

Литература упорно не хочет замыкаться на самой себе. Активно осваивает низовые пласты языка, низовые сюжеты. Столь активно, что к концу тысячелетия возникает иллюзия полной оккупации не-культурного пространства. Круглая дата, как всегда, навязывает нам ожидание итога, желание лицезреть предельную точку своего развития. Дойдя до предела, нужно понять, куда двигаться дальше. И, естественно, возникает вопрос: исчерпаемы ли пространства за пределами логова минотавра? Математик Анаксимен отвечает на этот вопрос отрицательно: чем большее пространство освоено, тем шире границы с неизвестным, и так — до бесконечности.

ти... Значит, до предела мы еще не дошли. Если, конечно, воспринимать культуру как процесс, а не простой продукт человеческой жизнедеятельности.

В этой связи уместно привести слова Шарля Бодлера о судьбе предшествующего ему литературного поколения: «Им посчастливилось появиться в период юности мира, так сказать, на заре человечества, когда еще ничто не нашло себе избрания и всякая форма, всякий образ, всякое чувство имели прелесть девственной новизны. Великие общие места, лежащие в основе человеческой мысли, были тогда в полном своем расцвете и удовлетворяли наивных гениев, говоривших с народами, не вышедшими из детства. <...> Но благодаря повторениям эти общие поэтические темы поистерлись, как монеты от долгого обращения. Кроме того, жизнь сделалась сложнее, обогатилась сведениями и идеями и не укладывается более в этих искусственных сочетаниях доброго старого времени. Наивность не свойственна XIX веку, для передачи его мыслей, мечтаний, посылок нужен язык более сложный, чем так называемый классический стиль».

Как известно, именно с языка начинаются проблемы литературы на каждом новом этапе. Писатель, по Бродскому, — инструмент языка, а инструмент, не подходящий новому языку, остается фактом скорее истории, чем литературы. Язык и есть, видимо, мерило времени, препятствие, которое, если верить философским выкладкам Хармса, надо преодолеть, чтобы попасть из прошлого в будущее. С другой же стороны — язык переходит к нам по наследству от мертвых, и, осознав себя в языке, мы приобщаемся к ним...

Время мумифицирует практически все: от высказываний до выражений лиц. Как, допустим, мы узнали бы о том, что Кастанеда ратует за уничтожение личных следов и личной истории? Только из этих следов, из его книжек. В этом уже — некая недостоверность, противоречивость: деструктивное и абстрактное выражается во вполне конкретном и конструктивном. Форма высказывания, таким образом, замещающая его суть, достается нам по наследству. Пройдя обучение у дона Хуана, Кастанеда по логике вещей должен был бы раствориться, исчезнуть и уж, во всяком случае, не заниматься литературой. Идеал, мне кажется, чтобы не перестать быть идеалом, должен находиться в области возможного, того, чему еще предстоит осуществиться.

Поклонение прошлому принимает на наших глазах благородные музейные формы, сочетая их с формами повседневного безумия. Зазывалы-экскурсоводы у вокзалов предлагают посетить могилы Высоцкого, Озерова, Талькова... Ваганычково называют некрополем и достопримечательностью. Не могу объяснить почему, но, помимо общей ненормальности этой ситуации, чувствуется в ней какая-то фальшь: место захоронения превращается в глобальный культурный знак, а интимные и вполне конкретные чувства к умершим — в аналог идолопоклонства. Причем сам, так сказать, предмет поклонения часто отходит на второй план...

Не так давно американец Боб Дилан призывал разрушить музеи. Это очень по-американски и психологически справедливо. Ведь память наша устроена так, что со временем от книги, события, человека остаются всего лишь название, дата, имя... Процесс архивации прерывается лишь тогда, когда мы читаем *эту* книгу и общаемся с *этим* человеком. Рискну предположить вслед за Диланом, что предмет искусства выживает скорее в виде репродукции над обеденным столом, чем в музейном зале. В кухне он становится частью личного микрокосмоса, что хранит его от забвения гораздо надежнее архивистов.

Все это имеет прямое отношение к литературе. К ставшей уже традиционной полемике между сторонниками фикшн и нонфикшн. Фикшн — в просторечии фикция, выдумка; литература, подзаголовком к которой может служить фраза «то, чего никогда не было». Нонфикшн — литература невыдуманная, документальная. Эссе, разросшиеся до романов, мемуары, произведения, успех которых строится на узнаваемости реалий...

Повышение массового (читательского и соответственно писательского) интереса к документальности и утрата интереса к художественной литературе как таковой — налицо. Этот процесс с трудом поддается осмыслению. Может быть, дело в том, что мы стали чувствовать себя историческими личностями, действующими лицами, независимо от того, являемся ли таковыми. Сознаем свою историческую

роль, роль по меньшей мере свидетелей. Видим, что жизнь насыщена литературой, и, естественно, хотим запечатлеть свой реальный опыт.

В девятнадцатом веке именно литература была окружена ореолом избранности. Это было занятие во многом романтическое. Двадцатый век привнес в литературу трезвый и, если так можно выразиться, посткатастрофический взгляд на вещи. И мир повернулся лицом к документам времени. В девятнадцатом веке литература, видимо, ближе всего находилась к истине. Есть надежда, что она по-прежнему близка к ней. Просто сейчас на первый план вышли другие жанры. В этом нет ничего страшного. И это не конец литературы, о котором так много говорят, а скорее конец литературной эпохи, двухсотлетней эпохи романтической литературы. Он трагичен, но лишь для тех, у кого романтизмом все начинается и заканчивается.

Литераторы прежних лет умели находить гармонию между этими фикшн и нонфикшн. Наиболее показателен, конечно, пример Сергея Довлатова. Он в своих псевдодокументальных повествованиях грациозно балансировал на грани описания реальных событий и фантазмагорических выдумок на их основе...

Ныне баланс нарушен. Теперь мы заняты преимущественно воспоминаниями о том, что с нами уже произошло, и фантазиями на тему того, что может еще случиться. Из-за этой переакцентировки внимания сместилось, по-моему, и само понятие художественности. Аналитический момент творческой деятельности и ее синтетическая, *творческая* составляющая оказались разнесены. А ведь именно их сочетание давало нам возможность участия в мифе, помогало осознать себя на уровне сверхреальности.

Миф о самих себе кажется мне неотъемлемой частью рефлексии каждого поколения. Сюжетом, который навсегда ассоциируется с историческим временем и выражает его художественно, сводит к *над-историческому*. Хотя поколение — сложное и во многом не исследованное еще понятие. Вероятно, оно лишь рамка, ограничивающая возможности развития сюжета. Дороги, по которым можно ходить, а можно и не ходить. Вход в Сад разбегающихся тропок, где каждый движется к своему выходу. Достаточно сказать, что Бродский и его сверстники из «Битлз» — герои явно разных сюжетов. Их принадлежность к одному поколению говорит о том, что мифов может быть несколько.

Наши дни в плане мифотворчества видятся мне почти безнадежными, с рефлексией проблемы. Сегодняшние мифы убоги и неталантливы: новые русские, бомжи, чеченская война, Жириновский, Санта-Барбара... Забавно, но прямого отношения к нам не имеет. Не могут эти, скажем так, «фенечки» объяснить нам, почему мы живем без всякого повода, зачем ходим на работу и что чувствуем, прикасаясь к любимому человеку. То есть не преодолевают той душевной инерции, которую преодолеть призваны. А ведь явно мифологический (навскидку) фильм «Место встречи...» объяснял нам что-то о нас самих...

Плюс к этому сзади и спереди выставлены кривые зеркала, отвлекающие наше внимание от самих себя. Прошлое набито событиями и текстами, еще ждущими осмысления. Будущее отделено от нас так сильно (прежде всего лингвистическим несоответствием), что любые попытки его изобразить выглядят довольно фальшиво. Не имею в виду, конечно, Стругацких, Лема, Бредбери и Азимова. Они в лучших своих вещах писали о человеке, а не космосе, не о внешнем, а скорей о внутреннем, о личном будущем.

Впрочем, дело не в этом. Дело в том, что зеркало с кривизной. С кривизной заманчивой и изысканной. И показывает оно всякие замечательные штуки — все, что угодно, кроме того, что происходит на самом деле. Если же говорить предметно — современное искусство к прошлому и будущему апеллирует в значительно большей степени, чем к настоящему. Бестселлерами становятся повествования из жизни кремлевских покойников, кутюрье одевают модели в марсианские скафандры, театры талантливо ставят конец света... Может случиться так, что мы будем прекрасно осведомлены о 1948-м и 2048-м годах, а девяносто восьмой так и останется для нас белым пятном, загадкой...

Возможно, всему виной публикаторский бум, начавшийся еще в перестроечные годы. Сумасшедшее количество текстов, долгое время находившихся под спудом, на этой волне без труда нашло своего читателя. Набоков, Платонов, Солжени-

цын были приняты за современную литературу, таковой уже не являясь. Получился не литературный процесс, а время всмятку. Та же история повторилась в кино, живописи и рок-музыке. Публика смотрела запрещенные в свое время картины, слушала накопившиеся к тому времени альбомы «Аквариума», «ДДТ», «Алисы», требуя и дальше чего-нибудь в этом роде. Так сложился миф о современном искусстве и было отвлечено внимание от того, что на самом деле являлось современным.

Впрочем, и сейчас выходят в свет дневники Трифонова и репетиционные записи «Битлз». Это, конечно, профанация известных имен, но задним числом мало что можно изменить. Известные люди часто попадают в ловушку. Они становятся историческими личностями и теперь уже сами себе не хозяева. Раз публика этого хочет, их наследие (несмотря на запреты и завещания, как в случае Франца Кафки) будет опубликовано полностью. Вплоть до записок типа: «Чайник на плите, буду вечером». Вышедшая недавно стихотворно-прозаическая книга Евгения Рейна «Мне скучно без Довлатова», без сомнения, будет пользоваться большим спросом. Хотя страниц, посвященных Сергею Донатовичу, в ней, прямо скажем, немного. Да и те в большей степени характеризуют автора, чем предмет его мемуаров. Сам Довлатов с его мягким чеховским юмором превратил бы эту вполне реальную ситуацию в мастерскую художественную прозу.

И все же ретроспекция ретроспекции рознь. Разница между ними отчетливо видна на примерах из мира поп-музыки.

Митьки, издавшие несколько альбомов классических городских и морских песен в исполнении рок-звезд, совершили, на мой взгляд, акт абсолютно внешний, доказывающий лишь то, что ретро может нравиться рок-звездам и их поклонникам. «Митьковские песни» состоят из двенадцати номеров, среди которых «Темная ночь», «Летят перелетные птицы», «Амурские волны»... Все эти песни хорошо известны и любимы в народе. Поэтому слушатель неизбежно будет сравнивать новый вариант с общеизвестным и, учитывая, что люди по природе своей консервативны, сравнение далеко не всегда будет в пользу нового. Новизна заключена в составе исполнителей: Гребенщиков, Бутусов, Шевчук, Чиж и почему-то Людмила Гурченко. Почему песни «митьковские», объяснить сложно. Можно предположить, что именно эти произведения более всего милы митькам, отражают их взгляд на окружающий мир и отношение к жизни. Впрочем, некоторое право на подобные эксперименты у митьков есть. Ведь они сами по себе ретро, принадлежат другому, ушедшему уже времени и, безусловно, делают свое дело с любовью.

Есть, правда, вещи, которые нельзя ни повторить, ни осовременить. «Странные скачки», аналогичный митьковскому проект на материале песен Высоцкого, провалился, несмотря на то, что был вполне корректно и высокопрофессионально сделан почти теми же музыкантами, что и «Митьковские песни». Провал этого проекта симптоматичен. Он означает, что авторское, личностное начало не всегда удается игнорировать и еще есть в культуре явления, которые невозможно повторить или заменить на аналогичные.

Сборник «Старые песни о главном», напротив, имел бурный успех. Это компиляция по типу митьковской, но наполненная не любовью, а каким-то нечеловеческим желанием понравиться всем.

Другую, оптимальную, как мне кажется, разновидность ретроспекции демонстрирует альбом «Жилец вершин» под маркой «Хвост & Аукцион». Роль классики в данном случае играет Велимир Хлебников. Хвост (Алексей Хвостенко) известен прежде всего, как тот, кто *на самом деле* написал «Город золотой». Хотя и это не совсем так. На кассетах митьковских песен Хвост исполняет блатную «Дочь прокурора» и поднебесно-печальную «На сопках Манчжурии».

«Аукцион» — питерская группа, играющая музыку на стыке авангарда, джаза, панка, этнического рока и бог знает каких еще стилей. Тексты «Аукциона» небанальны, поэтичны и неотделимы от их странных мелодий. Над их песнями витает дух декаданса. Отказавшись от амбиций завоевать массовую аудиторию, «Аукцион» остается одной из самых непредсказуемых и, как ни парадоксально, популярных групп.

«Жилец» — не литературно-музыкальная композиция и не обработка классического наследия. Эти определения приложимы скорей к экспериментам Градского

с русской поэзией, романсам Малинина и прочим ретроспективным конструкциям. Наш случай в этот ряд не укладывается. На память приходят голос старенького Берроуза в композициях Тома Уэйтса, перфомансы Пригова с ансамблем Марка Пекарского... На одном из таких перфомансов я присутствовал и с тех пор отказываюсь воспринимать приговские тексты в напечатанном виде... «Жилец» — не результат сложения старого текста и современного исполнителя, а абсолютно новое произведение. Хвост — как и Хлебников — намеренно ломает мелодическую и текстовую гармонию ради неведомых смыслов. Ведь текст часто содержит больше, чем вкладывает в него любой из его читателей. В том числе — автор. Музыка не то чтобы меняет, но сильно расширяет наши представления о Хлебникове. Текст перестает быть заумным, дополняется музыкой до новой гармонии и начинает исполнять мелодические функции. Прослушав «Жильца вершин», Виктор Владимирович был бы сильно удивлен, но, мне кажется, ему бы понравилось...

Именно за такой музыкой, думаю, и приезжают к нам западные продюсеры. Остальное у них и самих не хуже. То есть едут к нам по-прежнему ни в коем случае не за качеством, а за некой трудно уловимой субстанцией, которой почти не осталось в цивилизованных странах.

Ролан Барт говорил, что, если переписать от руки классический текст, можно получить новое произведение. То есть простое потребление шедевров из сокровищницы культуры на сегодняшний день кажется уже бессмысленным. Чтение как таковое теряет свою привлекательность. Драгоценности вышли из моды, вошли в моду изделия из драгоценностей. Причем изделия, жизненно необходимые в быту: ручки, вилки, расчески... На ум приходит такое довлатовское высказывание: «К обычной литературе начисто вкус потерял. Даже Фолкнера не перечитываю. Линда Сноупс, мулы, кукуруза... Замечательно, гениально, но все это так далеко...» При таком раскладе чтение плавно переходит не просто в соучастие и диалог с автором, как это было привычно нам, но и в сотворчество, в наследование старого текста новыми интонациями тещи. Так пианисты передают порой друг другу старые, потрепанные партитуры, заблаговременно стирая на полях карандашные пометки. В итоге Гилельс и Горовиц играют двух разных Шопенов...

Культурный запас велик, чтобы не сказать — неисчерпаем. Если пользоваться им по принципу «я возьму свое там, где я увижу свое», станет ясно, что «нет никакой пропасти», как высказался уже упомянутый Гребенщиков в эссе об Александре Вертинском. Войдет Пушкин в летном, в легком шлеме, и в пальцах его не потухнет огонек папиросы...

Вспомним Барта. В ход идет не копия, а наиболее актуальные сейчас жанры: интерпретация, комментарий и, назовем вещи своими именами, переделка классики под себя. Не копия, а подобие зеркала. Именно так теперь множатся тексты. Да и не только они...

Современное искусство, думаю, помимо прочего определяется тезисом о количестве, уничтожающем качество, и во многом спровоцировано концепциями модернистов начала века. Они считали, что искусству необходимо слиться с жизнью: живопись должна превратиться в орнамент, музыка в уличный шум, литература в речь как таковую. В итоге вторая реальность не просто слилась с привычной, но в чем-то стала ее подменять.

Два шага до того, чтобы литература стала рецептурной. И тогда массовый читатель превратится в массового писателя. От этого пока спасает лишь абсолютно неприкладной характер литературы, ее изначальная бесцельность. Один мой приятель, первый поэт второго ряда (на это звание, кстати, сейчас претендуют многие), так прогнозировал будущее литературы: появятся журналы, издаваемые в одном экземпляре два раза в сутки, стихотворения будут рассылаться по сети Internet, включаться в ресторанные меню (наглядная реализация выражения «духовная пища»)... Нечто подобное действительно уже происходит. Обратили внимание на стены вагонов метро? Там не так давно было размещено что-то вроде поэтической антологии. Своеобразный поэтический маркетинг: бесплатность и повсеместность. Не об этом ли мечтали друзья Андре Бретона году эдак в двадцать пятом? Если так пойдет дальше, литература отделится от непосредственно эстетической сферы и станет направленно обслуживать наши потребности, как, например, реклама, которая, кстати, начиналась с плакатов Тулуз-Лотрека и стихов Маяковского.

Формальная история литературы — история смены жанров, стилей, тенденций. Так же, как эволюция танцевальной музыки — смена размеров и ритмов. Вальс уступает место кадрили, кадрили — полонезу и так далее. Но в памяти все равно остается какой-то определенный полонез. Например, Огиньского. Оставшись в памяти, он перестает быть танцем и становится произведением искусства. Не очень-то под него потанцуешь.

Анонимность восприятия — признак потребительского сознания. Мы читаем роман (один из маргинальных шедевров так и назывался — роман «Роман»), смотрим фильм, ходим на выставку. Все, что нам известно, группируем по формальному признаку. И правильно делаем, потому что иначе психика наша не выдержит. Слишком много за историю культуры накопилось произведений, *единственных в своем роде*. В случае сущностного подхода к каждому из них нам грозят расщепление личности и потеря собственного «я».

Читатель потихоньку теряет интерес к личностному содержанию произведений. Лирики в любой сфере искусства сдают позиции профессионалам компиляции и монтажа, ориентирующимся в первую очередь на потребительский спрос, на логику восприятия. Может, и хорошо, что искусство постепенно сводится к простому коммуникационному процессу. Коммуникация и есть одна из его функций. Правда, не единственная...

Ситуация конца тысячелетия, когда кажется, что основные культурные традиции сформированы и практически исчерпаны, настойчиво подсказывает нам единственный путь развития — работу с восприятием, совершенствование способов подачи материала. Культурное пространство заполнено до отказа. Наступило время организовывать это пространство. Это, видимо, и есть эпоха постмодернизма. Стили, цитаты, блоки сознания в постмодернистских композициях переходят друг в друга незаметно, без контраста. Писатель играет роль диск-жокея на танцах, грамотно стыкующего пластинки по скорости и частотам. Идет обыгрывание уже накопленных ценностей, и почти не производится новых. Виртуальная реальность, созданная таким способом, с одной стороны, лишает нас радости общения с ценностями первого порядка, с другой — защищает психику от перегрузок естественного, *некультурного* зрения.

Пугаться этого не следует, сопротивляться этому так же бесполезно, как восходу и закату. Стоит лишь отделять вторую реальность от первой и не позволять манипулировать собственным сознанием. Говорят, культура — процесс циклический, а значит, за аналитическим периодом может последовать синтетический, *творческий*. И тогда, возможно, в ход пойдет не только информация, но и энергетика, накопленная усталым человечеством за всю историю культуры.

Я сочиняю эти заметки, сидя за компьютером. Моя старенькая машина пишет на экране, что ей не хватает памяти. Когда память совсем иссякнет, я перестану стучать по клавишам, сяду на диван и раскрою «Капитанскую дочку». Или, может быть, Марка Твена. И начну — по совету Барта — переписывать от руки фразу, которую знаю с детства: «Я остановился поболтать с Гекльберри Финном...»



Маршруты приближения к Бродскому

•
Валентина Полухина. БРОДСКИЙ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОК.
СПб., АО «Журнал "Звезда"», 1997.

•
Но настоящий его разговор был простым перебиранием литературных имен и книг, с звериной жадностью, с бешеной, но благородной завистью.

Осип Манделштам

Издательство петербургского журнала «Звезда» выпустило в свет русский перевод двадцати интервью, взятых Валентиной Полухиной в 1989—1990 годах. Англоязычная версия этой книги вышла в 1992 году и, кажется, имела определенный успех на Западе. Не знаю, будет ли иметь коммерческий успех русский вариант, но одно несомненно: перед нами — любопытнейшее издание.

Главное событие книги (создававшейся, напомним, в 1989—1990 годах) — смерть Бродского в 1996-м. Когда собеседники обсуждали проблемы поэтики и политики Бродского, поэт был жив; когда эти беседы были отгиснуты кириллицей и сброшюрованы под одной обложкой — мертв. Брошенные впопыхах, сгоряча, между делом желчные mots, колкости-резкости и шутки-прибаутки, одним отнюдь не прекрасным январским днем словно вмерзли на лету в ледяное надгробие самого холодного из великих русских поэтов. Слово не воробей, да и мы не в Китае: вылетит — не подстрелишь. Думаю, некоторые из собеседников немало отдали бы, чтобы отрихтовать, отлакировать (а то и переписать) свои интервью. Поздно. «Многие из авторов сборника ныне, вероятно, хотели бы что-то подправить в своих тогдашних высказываниях, — простодушно отмечает автор вступительной заметки к русскому изданию. И инквизиторски добавляет: — При подготовке русской версии книги редакция сознательно оставила все как есть».

Книгу эту увлекательно анализировать, комментировать, интерпретировать. Ее можно прочитывать, как «Боже-

ственную комедию», четырьмя способами. От себя порекомендую аллегорический: шестнадцать человек (четверо иностранцев не в счет) на все лады обсуждают некоего отсутствующего персонажа, причем обсуждают, явно рассчитывая на его реакцию. Но мы-то знаем, что никакой реакции уже не будет. Такое вот кьеркегоровско-шестовские отношения с Господом.

Шестнадцать интервью о Бродском, умело направляемых Валентиной Полухиной, повествуют о субъектах гораздо больше, нежели об объекте. Надеюсь, читатель оценит непринужденную интонацию Беллы Ахмадулиной; серьезность, приправленную паприкой самоиронии, Льва Лосева; спокойную посторонность Елены Шварц; рассудительность и здравый смысл Якова Гордина. Претензии конфессионального (Юрий Кублановский), теологического (Анатолий Найман) и поведенческого (Виктор Кривулин) свойства к самому нобелевскому лауреату имеют весьма косвенное отношение и скорее подлежат интерпретации как симптомы позднесоветской социокультурной ситуации. Романтик Кривулин и классик Бродский живут по разные стороны экватора. Елена Шварц и Ольга Седакова вовсе обитают на других планетах. Шварц заметила о себе и Бродском: «Просто, когда ты кошка, то ты понимаешь, что это собака». Похожим образом феминистка эпохи политкорректности относится к сексисту. В самом деле, Бродский иногда любил погарцевать в своих текстах эдаким мачо: «Шведской моей вещи все это было довольно чуждо, и интерес ее к зеркалу был профессионально дамский и отчасти порнографический». Бобо мертва, но шапки не долой. Слеза скатывается по срезу сырной дырки.

Это об интервьюируемых, теперь — о герое интервью, точнее, о текстах героя. Если на все шестнадцать бесед с русскими сочинителями наложить некую магическую сетку, закрывающую темы бытовые, социальные, а также касающиеся литературных достижений допрашиваемого, то останется жесткий каркас из (примерно) десяти вопросов, общий почти для всех. Вот эти вопросы:

1) «Философские послылки» Бродского. Здесь же — Бродский и религия, Бродский и вера.

2) Категория времени в поэзии Бродского.

- 3) Бродский и язык.
- 4) Бродский и идея мира «после конца христианства (или «цивилизации» и т. д.)».
- 5) Бродский и античность.
- 6) Пушкин и Бродский.
- 7) Ахматова и Бродский.
- 8) Бродский и англоязычная поэзия (как вариант «и чужая языковая среда»).
- 9) Бродский и политическая злободневность.
- 10) Ко всему ли у Бродского собеседник относится равноценно?

Вопросы на разный вкус и цвет. Есть вопросы-каверзы, вопросы-модники, вопросы-отмычки, вопросы-бездонные-бочки. Существует среди них и своя иерархия. Задача читателя — вычислить эту иерархию, найти универсальный ключ, пройти правильным маршрутом, выйти к главному вопросу, самому ответить на него. Только после волшебного правильного ответа какофония голосов преобразится в торжественный хор, вспыхнут софиты, загремят фанфары и на подиуме появится человек с профилем римского патриция.

Высвечу первый и последний пункты; марши и контрмарши между ними любознательный читатель пусть продает сам. «Вопрос-ключ» — десятый в моем перечне. В 1989—1990 годах он задавался людям, каждый из которых знал «своего Бродского»: по степени житейской или поколенческой близости, из-за места проживания, сферы профессиональных интересов и проч. Кроме узкого круга близких поэту людей, «всего Бродского» (в смысле — большую часть его сочинений) не читал никто. Помимо самиздатовского марамзинского собрания на тот момент «более или менее полно Бродского» в природе не существовало. Сейчас читатель этой книги может подойти к полке и погладить корешки четырехтомника, выпущенного Пушкинским фондом. Если изучать эти тома последовательно, то становится очевидной правота одного из интервьюируемых, обронившего, что главные темы Бродского начинают звучать с первых же его стихов.

Конечно, первые, ранние, стихи нобелевского лауреата читать скучновато (на то они и ранние!); впечатление такое, будто перед тобой «переводы с иностранного» из журнала «ИЛ» («Еврейское кладбище» не в счет). На мой вкус, «настоящие стихи» начинаются со «Стрельнинской элегии», со стихов февраля — марта 1961 года, со стихов, отмеченных пастернаковским влиянием (ведь и само время года — февраль, март — хрестоматийно пастернаковское. Февраль, достать чернил и...). Но речь сейчас не о гипотетическом качестве, тем паче не о еще более гипотетическом вкусе самозваного Петрония Арбитра. Речь — о главных темах. Первое стихотворение первого тома — о расставании, в конечном счете — о про-

странстве («Прощай...»); второе — о времени («Все это было, было»). В интервью Натальи Горбаневской читаем:

«Вопрос. Некоторые утверждают, что Бродский их больше не удивляет, что он становится предсказуем, ибо знаешь, что он будет говорить о том же самом.

Ответ. Ну как это? Что значит о том же самом? Если взять пример, близкий Иосифу: какой-нибудь китайский средневековый график мог каждый день писать одну и ту же ветку.

Вопрос. Не кажется ли вам, что такой веткой для Бродского является категория времени?

Ответ. Безусловно. Только он пишет о категории времени в категориях пространства».

Именно вопрос о категории времени у Бродского является главным. Почти все остальные вытекают из него. Это, естественно, и «философские посылки», и «мир после конца» (после конца чего: античности? Получаем «христианство»). «Мир после конца христианства» равен «миру после конца времени»), и «язык». На тему «Бродский и язык» в книге говорят так много и однообразно, что позволю себе настроить оптику на этот предмет несколько по-иному.

Борхес пишет: «Любой язык — воплощение времени, для разговора о вечном, вневременном, он малоприспособен». То, как Бродский боготворит язык (в прямом смысле этого слова, для него Бог — это Язык, с большой буквы), есть просто компенсация несуществующего времени. Когда Время умерло, Богом становится воплощение покойного. На правах еще одной аватары времени для Бродского существует и пространство. В этом он истинный наследник XVIII века («я заражен нормальным классицизмом»), только не французского XVIII века, а британского. Епископ Беркли считал, что время — «последовательность мыслей, единообразная для всех и сопряженная всем», а для Юма оно — «череди неразрывных мгновений». Бродский, этот «последний римлянин», выдергивает у Беркли «последовательность» и «единообразие». «Последовательность» плюс «единообразие» равняется «империи».

Юрий Кублановский язвительно заметил: «Бродский приезжает во Францию, Бродский приезжает в Венецию... визуальное впечатление очень способствует поэзии. Это хорошо один раз, второй, третий, но, когда его «медитации» продолжают в Копенгагене, в Лиссабоне и т. д. и, в общем, все строится на том же приеме, это в конце концов несколько начинает утомлять». Будто предвидя подобные замечания, Бродский в одном из интервью отчеканил: «...всякая новая страна в конечном счете лишь продолжение пространства». Очень важная,

очень имперская мысль. Бродский — «певец империи» оттого, что «певец пространства». Империя — апофеоз универсальности, универсально обустроенного пространства; плюс-минус одна, две, три страны. Поэтому при почти навязывании его читателю время в стихах Бродского — всего лишь «прикид» пространства; время у Бродского *универсально*, оно течет из пункта А в пункт Я, оно — расстояние промежуток, иными словами — разновидность пространства. Время (само по себе) может быть темой у писателя, который это время «приватизировал», в текстах которого много разнонаправленных субъективных времен; у писателя, поэта — «романтика», а не «классика». Романтическая идея национальной исключительности, например, есть попытка приватизировать время для своей нации. Бродский, напомню, был классиком.

Я попытался высветить первый и последний пункты одного из возможных прочтений книги Валентины Полухиной. Многообразие маршрутов между ними, а также многообразие прочих прочтений с удовольствием оставляю читателю.

Кирилл КОБРИН

Книга рождения жанра

●
Самуил Лурье. РАЗГОВОРЫ В ПОЛЬЗУ МЕРТВЫХ. Литературный альманах «Urbi». Выпуск тринадцатый. Серия «Новые записные книжки» (2). СПб., АО «Журнал "Звезда"», 1997.

●
«Смертожизнь бесконечная длится...»
 Елена Шварц

В то время как итальянки с балалайками возлюбленного Отечества наигрывают лихие гимны в честь свежайших идей национальной исключительности; в то время как чуть оклемавшуюся Россию опять умом не понять — не измерить, гордость Родины нашей, настоящая, неподдельная, — ее словесность — все более вестернизируется (почти любой экономикой), выказывая себя эдакой европейской нежной, французенкой. Уф. Потому как жанры солидные, заслуженные,

вроде «романа» откочевывают на обильные пастбища массовой культуры, а на скромных лужайках высокой литературы остаются пастись заморские гибриды, поражая нас, читателей, странными именами своими, похожими более на аббревиатуры. “Эссе”, например, сильно напоминает смесь “СЭС” и “СССР”. На задней обложке книги Самуила Лурье об авторе сказано: «Более четверти века работает в жанре, отчасти похожем на тот, что теперь вошел в моду под неопределенным и неудобосклоняемым названием “эссе”».

Родословная «французского эссе» восходит к Монтеню; у «русского эссе» родителей нет, зато дядьев — хоть отбавляй, есть даже одна тетушка. Здесь и мизантропичный очкарик Вяземский с его странными псевдорцензиями; Анненский, впервые затеявший игру с литературными зеркалами; Василий Васильевич, вываривший в своих щах публицистику до состояния нежной мягкости; Эрих Голлербах, воспевший Царское Село (как истый немец!) обстоятельно и сентиментально; две-три гениальные странички Мандельштама: о Чаадаеве, о XIX веке; крутолобый гомункул стиля Шкловский; обреченный столпник рационализма Лидия Гинзбург... Вот в этой-то питательной почве самозародился жанр «русского эссе» и уже в шестидесятые проклюнулись на Божий свет два росточка — некоторые необычные странички Битова и Синявского; причем, думаю, и тот, и другой литераторы пребывали в неведении относительно собственных открытий.

Книга Самуила Лурье благодаря тому, что там собраны сочинения, датированные 1969—1996 годами, позволяет подробно проследить процесс рождения «русского эссе» (как мы помним, автор четверть века не знал названия жанра, в котором работал); как из любительского литературоведения и рукодельной пушкистики, оставляя в осадке ненужные подробности и рассуждения, эмоции общего употребления, усыхая и заостряясь вкусом, возгоняется чистый спирт настоящей эссеистики — например, вещи из циклов (или «пасьянсов», как называет их Лурье) «Призраки позапрошлого» и «Литераторские мостки», а также характерные очерки писательских и нравственных физиогномий поэтов Тютчева, Фета, Апухтина, Блока.

Жанр родился, жанр оснащен по всем правилам — набокоборхесовой цепкостью к детали, розановским словечком, шкловской квазифизиологической метафорой, гемютным лотмановским прогрессизмом — куда же плыть ему? Вопрос существенный. Автоаннотация на той самой задней обложке гласит: «Книга «Разговоры в пользу мертвых» включает главным образом сочинения о *себестоимости*».

мости *стиля*». От себя добавлю: «стиля поведения».

Лучшие вещи в книге Самуила Лурье — не о текстах, а именно о «стиле поведения» их авторов; представлены, так сказать, «профили и ситуации». «Профили» тонкие, изящные, стильные, в духе кругликовских; «ситуации» — парадоксальнейшие, главная среди них — «История литературы как роман», о поэте Полежаеве, просто-таки кафкианская. «Себестоимость стиля поведения» заключается в элементарном человеческом счастье: человек пишущий, сочиняющий, ведет себя глупо, так нормальные люди вообще себя не ведут, и за эту причуду — сочинительство — он расплачивается по-крупному, без дураков, — покоем, счастьем, жизнью. Таков, если хотите, message книги Самуила Лурье. Полежаев спивается, Дельвиг постыдно рогат, Блок сходит с ума, Фета хватает удар в самый разгар неудачного суицида. Чем утешить этих людей, точнее — их тени, кроме как разговором о них же, «разговором в пользу мертвых»? Так книга Самуила Лурье и называется.

Еще несколько слов. Бутылка, которой автор доверил свой экзистенциальный message, принадлежит культурному контексту, которого уже нет; к сожалению, нет. Благородство тона, изысканность (иногда даже некая красивость), убежденность в действительном существовании Истины, Справедливости и, что почти невероятно, Гамбургского Счета (все с большой буквы) как-то не характерны для нынешней литературной ситуации. И совсем непривычно для нас, надменных троечников постструктурализма, что разговор ведется не в пользу текстов, а в пользу людей. Пусть даже мертвых.

Петр КИРИЛЛОВ

Если не теперь

Юрий Герт. *Эллины и иудеи*. Саратов, «Еврейский мир», 1996.

Книга Юрия Герта увидела свет на шесть лет позже, чем была написана. Впрочем, судьба «Эллинов и иудеев» в творческой биографии писателя не уникальна. Его романы «Кто, если не ты?..», «Лабиринт», повесть «Лгунья» и другие произведения с трудом прорывались

сквозь рогатки цензуры и порой дожидались публикации десятилетиями. Теперь это не кажется странным: за последние годы чего мы только не узнали о том, по какому поистине тернистому пути шли к читателю 60—80-х годов искренние, откровенные книги, посвященные как теме культа личности, так и общественным проблемам послесталинского государства.

Но отчего же для новой книги Ю. Герта печальная история повторилась в 90-х, в эпоху демократических свобод?

Документальное повествование Ю. Герта поднимает вопрос, во все времена актуальный для нашего многоязычного отечества, — вопрос национальный. События, положенные в основу «Эллинов и иудеев», произошли десять лет назад. В алма-атинском журнале «Простор» готовилась публикация, преследовавшая откровенно провокационную цель. Журнал пытались намеренно вовлечь в отвратительную антисемитскую кампанию, развязанную в те годы обществом «Память» и обслуживающей российских черносотенцев прессой во главе с «Советской Россией» и «Нашим современником».

Писателю и его единомышленникам не удалось предотвратить публикацию, хотя в дело оказались вовлечены не только литераторы, журналисты, читатели, но и представители местных и столичных властей. Ю. Герт, проработавший в «Просторе» более двадцати лет, ушел из журнала, выразив тем свой протест против настроений, нагнетаемых в редакции. Его протестом против набиравшей силу национально-патриотической истерии стала и книга-документ «Эллины и иудеи». Жанр ее определить нелегко. Пожалуй, вернее всего было бы назвать ее романом-эссе, в котором неторопливый рассказ о событиях, перевернувших жизнь писателя и его семьи, задевших его друзей и близких, внезапно сменяется философско-публицистическими авторскими отступлениями. Книга, как заявлено в предисловии, знакомит читателя с «историей России, с круговоротом идей, бурлящих в ней уже два века, — от Чаадаева до Солженицына и Сахарова, от классиков-славянофилов до «Протоколов сионских мудрецов». В текст вплетены древние истины Талмуда и параграфы нюрнбергских законов, отрывки из статей Владимира Соловьева и цитаты из писаний нынешних юдофобов.

Обилие разнородных материалов обернулось, к сожалению, композиционной рыхлостью, снижающей общее впечатление от книги.

И все же гражданское, гуманистическое ее звучание не может оставить равнодушным. «...разве дело только в антисемитизме? — риторический вопрошает автор. — А Казахстан?.. разве русские («имперская нация!»), которые и раньше в этой республике считались людьми вто-

рого сорта (третьим были евреи), не дискриминируются там теперь еще открывшей, чем прежде?.. А Таджикистан... гражданская война, идущая там уже не один год? А Чечня, кровавая рана, боль и позор России?.. Любая ксенофобия жестоко мстит за себя... Камень, брошенный в другого, вернется и ударит тебя».

Вопреки всему мир един и не делится на эллинов и иудеев. Человечество должно осознать это сейчас, иначе оно окажется перед лицом катастрофы всемирного фашизма в самых крайних его проявлениях. Недаром в талмудическом трактате «Авот» рабби Нафана сказано: «Если не теперь, то когда же?»

Быть может, роман-эссе Юрия Герта долгих шесть лет пролежал в столе именно потому, что и поныне не найдено ответа на этот вопрос...

А. ЦЕЙС

Реквием по русскому человеку

●
Евгений Лебедев. СТИХИ. ПЕРЕВОДЫ. ЛИМЕРИКИ. М., 1977.

●
Здесь уместней не рецензия, а воспоминания, и не по той причине, что, листая книжку, я убеждаюсь: и переводы, часто делавшиеся Лебедевым прилюдно и охотно читавшиеся вслух, особенно анонимные лимерики и миниатюры А.-Э. Хаусмана, и стихи, складываемые для себя (я их слышал всего пару раз, причем одно стихотворение было на английском языке, который Евгений Николаевич замечательно чувствовал и на котором говорил с чудовищным акцентом), так вот, и переводы, и стихи не уже его дарования, а как-то почти в стороне от его личности, ибо он был русским человеком в развитии, по слову классика, а значит, все второстепенно, все побоку, кроме личности и судьбы, выстроенных собственными руками.

Он и впрямь сам себя сделал, поднялся из беспросветности (стихи об отце-шофере, пившем пропадом, можно найти в книге. О том, что, подыскивая место в жизни, Евгений Николаевич работал едва ли не грузчиком, не говорится и умалчивается и об учебе в университете, и о

труде неизвестно кем в неизвестно каком посольстве, кажется, в Китае, — о том знаю слабо, и не у кого спросить).

Привыкли же мы и прониклись к нему любовью не на лекциях в Литинституте, а на овощной базе, где мы отслуживали обязательную повинность. Лебедев, хоть и преподаватель, не гнушаясь катал со студентами бочки, полные до краев раскисшей капустой, и грузил неподъемные мешки оранжевого репчатого лука (если и вправду когда-то работал грузчиком, навык тот пригодился). В перерывах смолил «Приму» и увлеченно болтал о любой всячине.

Как это не походило на облик других, например, тогдашнего всеобщего любимца К. Кедрова, что вдохновенно возводил глаза и, потрясывая рыжеватой бородой, рассуждал вдохновенно о звездном коде и метаметафоре, лишь бы не копаться в грязи (Кедров делал вид, словно органически не переносит прелой капусты, будто и не в ней его нашли, впрочем, как и всех нас. Это мешало ему — в силу охвата — увидеть капустный кочан как существо полное, андрогинное: множество-множество женских лепестков, а в середине сидит крепкая кочерыжка. Лебедев такое сравнение, может быть, и не поддержал, но наверняка бы понял. С чувством юмора, чуть самовлюбленным, у него было в порядке).

Описанная картинка вспомнилась не за так; даже и в более поздние времена Евгений Николаевич был внешне легок, не чинился зазря и не носился, словно с писаной торбой, ни с собой, ни со своими стихами, мог перевод английской шуточной эпитафии переложить на лад еще более шуточный — заменить имя и рифму, и получалось четверостишие о студентке из прибалтийской группы, отличавшейся простотой нрава и безоглядной жертвенностью, если дело касалось мужчин.

Здесь лежит бедняжка Анта,
Жертва страсти и таланта:
В первый раз легла она
Рано, трезвая, одна.

Вообще Евгений Николаевич обожал соленое словцо, а потому часто полупел, полускандировал частушку о том, как процветало на окошке два цветочка, голубой да аленький, а чаще сочинял сам.

Однако и переводы, и стихи питались и от культуры. Дурацкий английский стишок:

Два факта известны мне про бегемота.
Один из них — жуть... ни в какие ворота

напрямую связан с ломоносовской «Одой, выбранной из Иова»:

Возри в леса на Бегемота,
Что мною сотворен с тобой;
Колючий терн его охота
Безвредно попираť ногой.
Как верьви, сплетены в нем жилы.
Отведай ты своей с ним силы!
В нем ребра, как литая медь;
Что может рог его сотреть?

Именно первобытная жуть, облагороженная и ставшая ужасом, тянула его и к Ломоносову, о котором Евгений Николаевич читал лекции, раскатывая глубокий басистый голос и широко распахивая глаза, и к Тютчеву, по которому вел спецсеминар. Как водится, ничто не может существовать лишь в мажоре. И ломоносовские, и тютчевские штудии, прекрасно начавшись, завершились анекдотами, пересказанными кем-то с насмешкой, а кем-то и с обидой.

Монография о Ломоносове «Огонь — его родитель», написанная очень острым пером, с догадками и озарениями, в конце концов обернулась книгой о Ломоносове для «ЖЗЛ», огромной и никому не нужной. В этом томе — ведь листаж следует чем-то заполнять, а ни желанья, ни огня, рождающего свет, да и срок подпирает — шла полемика с исследователем ломоносовской жизни, кажется, Морозовым. Складноязычный С. Дмитренко, тоже работавший на кафедре русской литературы, говорил: сидит Лебедев за столом, листает морозовскую книгу, выписывает целыми страницами цитаты и от себя добавляет: «Тут исследователь совершенно не прав!» или: «Трудно согласиться с таким утверждением!» А что до Тютчева, покойный С. Москвин, тишайший человек и пока не оцененный поэт, при встрече сказал Лебедеву, что не понимает несколько тютчевских строк. «Чего удивляться, — ответил Евгений Николаевич, — даже я их не понимаю!»

Это случилось позднее, когда Лебедева впервые выгнали из Литинститута, а у него не хватило ни гибкости, ни уступчивости утихомирить конфликт. Кто его винит, в жизни русского человека обязательно выпадают периоды, когда он испытывается на прочность.

Привет, Садово-Самотечная,
Привет, Садовое кольцо,
Я к вам несу свое отечное,
Свое похмельное лицо.

Оценивая и конфликт, и последовавший за ним период, догадываешься, кем для Евгения Николаевича являлся Ломоносов. Скорее всего он был культурным героем его личного мифа — принятый и отверженный, презираемый мирскими властями гений (разве не форма сопротивления — и действительности, и государству — невостребованность, отверженность, «а гори оно все ярким пламенем!»), до многого дошедший и многое не принявший.

И хотя потом, по видимости, жизнь сложилась: заведующий кафедрой в Литинституте, заместитель директора ИМЛИ, член-корреспондент, — конфликт подтвердил: легкость ушла, ушла пластичность характера и души, до конца осталась ирония и ясность мысли. Евгений Николаевич любил знаменитое определение, отнесенное к восемнадцатому веку:

столетье безумно и мудро. О его собственной жизни хочется сказать схоже, хоть прожил он немногим более полустолетия и умер страшно, явленно, в запустении и одиночестве.

Недаром же приверженность к стихам А.-Э. Хаусмана, тщательно переводимого еще в те годы, когда, кажется, все началось. Тогда эти переводы звучали иначе — отчетливей, тверже, яснее.

Вам жить охота. Ну, друзья,
А мне — так нестерпим.
Всего за десять пенсов я
Купил вот этот нож.

Мне стоит в грудь вонзить его —
И рухнет небосвод,
И распадется естество,
И вам конец придет!

Для русского человека возможность не только возвестить, но и разрушить даже приятнее возведения (то же демонстративное «гори оно». Оно и сгорело. Правда, кое-что осталось. Свидетельством тому — эта краткая заметка и стихотворения, процитированные мной: либо не вошедшие в сборник, либо опубликованные в другой редакции. Пусть живут).

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ

Гагарин / Gagarine

Иван Гагарин. ДНЕВНИК. ЗАПИСКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ. ПЕРЕПИСКА. Составление, вступительные статьи, перевод с французского и комментарии Ричарда Темпеста (при участии В. А. Мильчиной и А. Л. Осповата). М., «Языки русской культуры», 1996.

Среди русских культурных мифов самый распространенный — представление о 20—30-х годах прошлого века как о «пушкинской эпохе». Для человека (общества), живущего в этом мифе, нет, например, ни ошеломляющей историософии Чаадаева, ни рукодельной прозы и стихов Вяземского; есть только «друзья Пушкина», ценность которых возрастает по мере житейского приближения к «солнцу русской поэзии». Между тем можно было быть молодым русским аристократом, образованным, тяготеющим к изящной словесности, вращающимся среди литераторов (в том числе и «друзей Пушкина») ... и ни разу не упомянуть о символе, зна-

ке своей эпохе в своем дневнике за 1834—1842 годы. Завидная смелость! Даже сумасбродная, если принять в разумение гнев потомков.

Этим смельчаком был Иван Сергеевич Гагарин, молодой русский дипломат, знакомец и корреспондент А. Тургенева, П. Чаадаева, П. Вяземского, Ю. Самарина, С. Шевырева (и прочая), обратившийся в 1842 году в католицизм, а позднее — священник-иезуит. «Дневник», «Записки о моей жизни» и отрывки из переписки Гагарина были изданы недавно в ставшей уже знаменитой серии «Языки русской культуры». Составитель, переводчик на русский, комментатор и интерпретатор — Ричард Темпест, английский славист, знаток «эпохи Чаадаева» (назовем ее так в контрадикцию «пушкинской эпохи»). Ричард Темпест совмещает в своей работе англо-саксонскую обстоятельность «Британики» и нежнейшую любовь к русской словесности — сочетание одно из лучших; прибавим к этому стилистическую одаренность Темпеста (в русском языке по крайней мере). Поэтому чтение постраничных комментариев в этом издании — одно удовольствие. Например, в комментарии на стр. 177—178 читаем: «Жан-Поль Марат (1743—1793) — революционер-якобинец, одна из самых зловещих фигур Французской революции. Его газетная пропаганда, искусством которой он мастерски владел, поощряла толпы простолудинов предаваться самым кровавым эксцессам» (надеюсь, читатель оценит несгибаемо старомодные «толпы простолудинов», развратно «предающиеся самым кровавым эксцессам»). Можно также восхититься неожиданным всплеском меломанских эмоций у обычно корректного комментатора на стр. 213: «Все-таки неудивительно, что после нескольких часов фантастической, маршевой, траурной и триумфальной музыки Берлиоза голова у нашего автора пошла кругом!»

Что же до автора напечатанных «Дневников», «Записок» и писем, Ивана Сергеевича Гагарина, или Jean-Xavier Gagarine (как его звали в Обществе Иисуса), то это один из тех наших соотечественников XIX века, судьбы которых волнуют русского интеллигента (тем более западника) до сего дня. Чаадаев, Печерин, Гагарин — конфессиональные отщепенцы российского имперского православия; чудачки, мучительно переживающие свое чудачество; эмигранты, протоптавшие разные дорожки русской интеллигентской эмиграции XX века (Чаадаев — внутренней эмиграции, Печерин с Гагариным — внешней). Загадка Чаадаева мучила Гершензона и Мандельштама, тот же Гершензон издал записки Печерина и написал его биографию. Теперь пришел черед Гагарина.

Иван Гагарин принял католицизм не без влияния Чаадаева (в 1862 году он вер-

нул ему долг, издав первое посмертное собрание сочинений автора «Апологии сумасшедшего»). Был он знаком и с Печериним. Судьбы их троих действительно чем-то схожи. Сексуальность (вернее, ее почти явное отсутствие) и Чаадаева, и Гагарина покрыта тайной (на что Ричард Темпест несколько туманно, прикрываясь цитатами из розановских «Людей лунного света», намекает). И Печерина, и Гагарина руководство католической церкви пыталось использовать для неведомой тайной миссии в России. Все это так. Но. Но Гагарин не обладал гением Чаадаева. Гагарин не имел таланта писателя и человека, как Печерин. Честно говоря, тем-то он сейчас и интересен. Интересна судьба честного, порядочного и неглупого русского человека, ставшего вдруг французским иезуитом. Вспоминаю название серии, в которой изданы его дневники, отмечу: это очень важно, что среди разнообразия «языков русской культуры» нашлось место и негромкому голосу Ивана Гагарина. Читателя можно поздравить с истинно поучительной книгой, с героем которой сопереживаешь на равных.

Вместо эпилога. В начале 1870-х годов капеллан дублинской больницы Владимир Печерин, успевший, кажется, разочароваться во всем, написал (рассчитывая на публикацию в России) следующее: «В 1844-м, когда я был уже священником, проезжая из Парижа в Бельгию, я заехал в St.-Acheul повидаться с Гагариным. Он тогда был свежим и благочестивым новичком. Мне пришлось в его присутствии вынуть кошелек для того, чтобы расплатиться с извозчиком. Он смотрел на это с каким-то священным омерзением: «Ох! уж эти деньги! какая это гадость!» А теперь он ежегодно получает из России 12 000 франков. О, святая бедность! бедный человек!»

Н. ЛУКАС

Кто такой лемур?

●
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ СУЩЕСТВ. Составитель Кирилл Ковалев. М., «Локид», «Миф», 1997.

●
Вы знаете, кто такая гидра? Ну, конечно, много голов и тело змеи. Вы ведь читали греческие мифы. А гоблин? Тоже знаете? Крохотное существо в колпаке.

Из кельтских легенд. И правда, кто у нас не читал «Властелина колец» замечательного писателя Толкиена?

А Грендель? Вэйвэй? Данху? Дантер? Фуар? Голем? Лемуры?

Не знаете? Что ж. У вас впервые появилась возможность не только прочитать, но и увидеть больше тысячи сверхъестественных существ, популярных в самых разных странах и у самых разных народов во всех частях света. Одни живут только в сказках. Другие давно уже перекочевали в произведения Вергилия, Шекспира, Ариосто, Пушкина, Гоголя, а о современных писателях и говорить нечего. Мистическая литература сейчас в моде не только в России. Так что без справочника иногда и не разберешься, о ком, собственно, речь идет в романах и рассказах.

Кстати, энциклопедия есть энциклопедия, так что Кирилл Ковалев сразу и довольно точно определяет круг интересующих его созданий. Сверхъестественные существа, пишет он, это те, которые обладают способностями, превосходящими человеческие, например, летают, меняют облик, насылают засуху или бурю. Ну а добрые-то среди них есть? Есть. Например, Ло-шэнь, китайские духи-целители, хариты — юные греческие богини добра и радости. Но злых почему-то все-таки больше. И намного. Наверное, поэтому и у человека жизнь не очень-то легкая.

Кирилл Ковалев уже делал попытку издать нечто вроде словаря мифических существ, бытующих в фольклоре Западной Европы, в газете «Книжное обозрение», и, надо сказать, та попытка была очень удачная. А эта еще удачнее.

Не знаю, как бабушки и мамы объясняют своим детям, о ком они им читают, когда покупают очередную книжку европейских сказок, ведь кое-кого из этих персонажей даже самые дотошные не найдут ни в Энциклопедическом словаре, ни даже в популярном двухтомном словаре мифов. А уж литераторам, которые и сказки, и все остальное переводят на русский язык, и вовсе худо приходится. Например, у какого-нибудь автора — любителя привидений попадают лемуры. Открываешь Энциклопедический словарь и видишь: лемуры — семейство полубезъ-

ян отряда приматов. И что с этими полубезьянами прикажете делать? Зато из нашей книги сразу ясно, что это злоешие призраки, души людей, которым не повезло, и они то ли умерли не своей смертью, то ли не были погребены по-человечески. Знали римляне, что к умершим надо относиться почтительно. И знаешь, и воспитываешься одновременно.

Кирилл Ковалев подошел к своей работе серьезно, поэтому снабдил книгу библиографией, и те, кто хочет узнать больше, найдут в ней весьма солидный перечень книг, которые могут составить неплохую библиотечку для энтузиастов сверхъестественного.

Но и это не все. Книга отлично иллюстрирована фотографиями рисунков, картин, фигурок, росписей из нередко уникальных изданий. Правда, фотографии не всегда радуют качеством, но бумага отличная, белая, и переплет, хоть блестит (сейчас это, правда, модно), но все-таки очень красив, и на форзаце нарисован очаровательный джентльмен с лягушачьей головой, но, увы, не написано, кто он. Жаль, не сказано, и кто его изобразил, потому что изображен он замечательно, и если попытаться объяснить на словах, то он вроде нашего чебурашки — нечто немислимое и даже страшноватое, но очень милое.

Отвечал за оформление Альберт Егзаров, и ему есть, над чем еще поработать. Много рисунков вообще без подписей. Чьи они? Не самого ли Егзарова? Если да, то это здорово, а если нет, неплохо бы знать, кто же их авторы. Или, например, написано: рисунок Балтрушайтиса с античных гемм, 1955 год. Ни имени, ни звания. А ведь Юргис Юргисович Балтрушайтис до сих пор один из самых почитаемых культурологов, у нас не очень известный, и как бы его не спутали с его отцом — замечательным литовским поэтом-символистом, писавшим на русском языке, Юргисом Балтрушайтисом, к 1955 году покойным.

К счастью, это досадные, но все же мелочи, если учесть объем работы и доставляемое книгой удовольствие, не говоря уж о знаниях.

Л. ВОЛОДАРСКАЯ

Вячеслав КУРИЦЫН

О вещах и местах

У меня есть творческий план, потрясающий своей скромностью. Снарядить с вечера диктофон, раскresti полностью свободный день и провести его в ритме медиа: записывать последовательно все предметы материального мира, которые будут являться взору.

Лампа, ежедневник, карандаш, стопка книг, конверт, игрушечный магнитофон, дискета, телефон, провода, квитанция, цинковка, скрученная в рулет, степлер, фотоаппарат, рюкзак, портсигар, портфель, старый ежедневник, лупа, пузырек парфюма в большом упаковочно-подарочном пузыре, оранжевый камень, коробочка с жучками, китайские шарiki...

Просто, без затей, отдать дань единственным вещам, среди которых я влachu свою единственную жизнь.

Возникает сразу неожиданная бездна сложностей. «Стопка книг»... перечислять названия и авторов — Карен Бликсен, Ирина Пивоварова, Виктор Доценко, Пауло Коэльо, Лилиан Джексон Браун, Леонид Гиршович, Эверетт Деннис? Указывать ли марки фотоаппарата и телефона? Их цвет? Форму? Оговаривать ли, что рюкзак «старый»? Что считать упоминанием вещи?

Как составить маршрут, по которому глаз (и голос в диктофон, а потом и текст) должны двигаться от предмета к предмету? Зрение прыгает, как блоха, и, перечисляя тремя абзацами выше книги и карандаши, я не перечислил, например, стол или стену, и гвоздь в стене не зацепил с первого раза моего взора: зрение, которому задан такой режим, меняет объект раньше, чем сознание командует голосу: «Зафиксируй!»

Как обеспечить передвижения моего тела по миру? Ведь такая работа предполагает, что у меня нет сегодня никаких дел (ибо сплошной список и время занимает сплошяком, коврово), но тогда я буду вынужден сначала исчерпать весь мириад мельчайших предметов в комнате (клавиша «а» на клавиатуре, клавиша «б» на клавиатуре, клавиша «в» на клавиатуре, клавиша «г» на клавиатуре) и быстро впаду в дурнейшую из бесконечностей.

Вот такие сложности обрушиваются на литератора, обеспокоенного технологически элементарной задачей — обернуться к тому, что ближе всего. Самый тесный круг нашей жизни почти всегда убегает из мысли и описания: ввиду своей очевидности, приевшести, банальности, обыденности. Но именно он и составляет самое главное — то, что повседневно формирует пластику наших тел и географию наших сознаний.

Зрение бьет с перелетом, предпочитает видеть на расстоянии. Для того, чтобы обратить внимание на близкое, местное, требуется неожиданно специальное усилие.

В московских газетах-журналах постепенно появляется все больше региональных разделов: единый образ России становится менее интересным, чем совокупность ее локальных образов.

Приватность вытесняет коммунальность. Это понятно: собственность становится частной. В глянцевоm журнале «Медведь» существует рубрика «Медвежий угол», напоминающая озвученную выше идею: фото стола главного редактора и подписи — это зайчик, купленный в «Детском мире» за десять копеек, а это очки, купленные в Лондоне за тыщу фунтов. Пижонство с тыщей может претить, но интенция симпатична: угол. Сонм милых вещей.

Литературные критики собираются в Академию — это хорошо не потому, что они самые умные и способны совместно выработать главное — правильное мнение, а потому, что это внятный гражданский жест: вот локальная социальная группа, границы ее четко очерчены, понятно, что это такое и где оно расположено.

Культура прикасается к нам не объективным смыслом, не божественным абсолютом. Первая точка нашего контакта — буквы на бумаге или стуски краски на холсте.

Хочется смотреть на ближайшие предметы: на единую каплю, на чашечку цветка, но не для того, чтобы прозревать так уж сразу и запросто в них бесконечность и небо, а для того, чтобы именно чашечку цветка и единую каплю и увидеть.

Та же самая Москва, которая раньше была для меня воплощением державного духа, безжалостного к периферийным жителям, державной же красоты (сколь красна Красная площадь — захватывало дух), схемой линий своего метрополитена, городом-идеей, ныне, обживаясь, все чаще дарит меня гениями конкретных мест. Последнее время я часто бываю, например, в Хамовниках, о местонахождении которых раньше и не подозревал (это кусок суши от Дворца молодежи на Фрунзенской до Саввинской набережной), а теперь могу проводить там даже своего рода экскурсии. Скажем, могу показать вам три памятника, которые находятся на расстоянии двадцати метров друг от друга.

Сначала вы увидите человека, который сидит в кресле и держит в руке человеческий череп. Согласитесь, неожиданный памятник: человек с черепом в руке. В Москве точно единственный, да и ни в каких других местах мне такие не попадались. Это Пирогов. Говорят, в Виннице существует прямо в усадьбе Пирогова мавзолей Пирогова: ученики забальзамировали любимого учителя, и он до сих пор открыт взору. Сам я этого не видел, но памятник с черепом в Хамовниках — сидит.

За углом на пьедестале сидит другой человек: усатый, вальяжный, огромный, в нелепом длинном одеянии до пят. Барин из русского романа, обрядившийся после обеда в ночную сорочку. Таким образом обесмерчен в камне акушер Снегирев.

Напротив, в скверике, стоит на постаменте мужик, а рядом с ним, на каком-то столбике, сидит небольшой ребенок. Композиция тоже неординарная, но здесь главный удар наносит текст: «Титу Филатову, другу детей»...

Я люблю жанр местных газет — «Октябрьское поле», «Добрый вечер, Аэропорт», «Савеловский посад» (это те, в зоне действия которых мне в последнее время приходилось жить). Иногда они радуют чисто дискурсивными изобретениями: так, в аэропортовском местном издании под большой шапкой ЮМОР сообщили, что есть такой поэт Д. А. Пригов, который пишет занятные стишки про тараканов и милиционеров, а ниже воспроизвели три таких занятных стишка. Но главная их ценность в другом — в фиксации мелких фактов тихой гражданской жизни, которые не фиксирует больше ни одно средство массовой информации и пропаганды (разве только нижестоящая стенгазета): в кинотеатре «Баку» КВН между учащимися 152-й школы и «ребятами из лица другого округа», а в библиотеке № 36 дети могут посмотреть мультфильм и выслушать лекцию о книге, по которой он был снят... Мои друзья-интеллектуалы плюются, что гражданская жизнь возрождается в таких «совковых» кондовых формах, но тут следует ответить, во-первых, что многие местные формы социальной жестикуляции по определению кондовы и это их особенность, а не грех, и, во-вторых, главное, что такая жизнь возвращается: это и есть искомая стабилизация. Мирная мешанская жизнь среди понятных идеологических высказываний.

В школе № 205, куда ходит мой ребенок, открылся после ремонта Музей боевой славы имени Евгения Лютикова, Героя Советского Союза, погибшего на войне. Лютиков когда-то учился в этой школе. Вот верный жанр: музей, который находится в соседнем кабинете, четче, чем Музей Революции или Политехнический, указывает на место фигур памяти в нашей жизни: они так же близки и закрыты (музей всегда есть, но закрыт на ключ и отмыкается только по специальным случаям), так же одновременно научны и наивны (экспозиция музея строится по некоторым правилам, чья концептуальность уже давно неподвластна переводу на язык сегодня: музейная память живет скорее как привидение, чем как дневное сознание), они подчеркнута ритуальны, семантически опустошены (патетика, которая адресуется прежде всего к себе самой), но точны как социальные указатели.

Вокруг Музея живет соответствующая литература.

Те люди, которых коснулась война,
Оставили память об этом.
Кто фляжку, кто кружку, кто паспорта,
Фото иль письмо без ответа,

С волненьем они отдают нам в музей
Реликвии старого времени,
Как будто частичку жизни своей,
Во славу растущего племени,—

пишет учительница Лидия Андреевна Канунникова. А ее ученики после посещения музея писали сочинения: «Война — это очень опасно для людей. На войне погибает много людей». «Еще мне запомнились будильник и ручные часы, которые принадлежали солдату, погибшему на фронте». «Война началась в 1941 году и закончилась в 1945 году». «Я не люблю войну потому, что многие люди не возвращаются домой». «Бомбы и пули летали над головами. Бомбы отрывали людям руки и ноги».

Вот текстуальность, в которой, как в прозе В. Сорокина, важнее не семантика, а ритуальность. Это магическое письмо. Это пропись, которую должен сделать ученик: правильно срисовать буквы-смыслы. Это священная книга, которую переписывает монах в холодном скриптории, дыша на ладони и высывая от усердия кончик языка. Это записки, которые дети отправляют молоху истории: у них нет с ним пока другого способа связи. Но нужен некий физично-сакральный акт, скрепляющий единый контекст, в котором есть место и ребенку, и смыслу, и Истории. Письмо — самый удобный способ потому, что оно сочетает физичность (буквы выводить — отдельное занятие, маленький школьник лучше других знает, что литература — это буквы, *написанные* на бумаге) с сакральностью наилучшим из образов. Стихи учительницы и сочинения детей состоятельны потому, что между конкретным местом — музеем Лютикова — и конкретным способом письма есть давний и надежный договор. Есть жанр, приветствующий сочинение подобных текстов по подобным поводам.

Но есть места, отношения с которыми нуждаются в постоянном уточнении и обновлении. Сотни текстов написаны о московском метро, о том, что коллективные тела толпы сливаются в нем с коллективными телами, изображенными на панно, о том, что метро строили, как Папанин дрейфовал, как Чкалов летел, — в экстазе освоения новых и новых пространств. Еще не ведя в «Октябре» «Записок литературного человека», я публиковал здесь культурологические рассуждения о метро, и там было все: и волшебная лестница, и зрение, которое размазывается обо что-то и прилипает к окнам вагона с той, черной, стороны, и бесконечные эротические ассоциации (пальцы сами выстреливают в скобки любимый пример: как герои «Добровольцев» Е. Долматовского после свадьбы заменили традиционную брачную ночь поездкой в первом поезде по свежeverытой подземке). И, конечно, писатели нередко припадают к этому кладезу образов в своих беллетристических атаках на судьбу России.

Но вот появился текст о метро, в котором нет никакой культурологии, а есть сплошная муторная экзистенция. Это сочинение Данилы Давыдова, опубликованное в «Новой Юности» (1997, № 24) и откровенно нареченное «Схемой линий московского метрополитена». Перемещения под землей, составляющие изрядную часть жизни миллионов и миллионов граждан столицы, здесь превращены в суть и соль существования. На ту или иную станцию герою следует проехать не потому, что наверху находится то или иное нужное человеческое существо или учреждение: посещение «Первомайской» или «Измайловского парка» оказывается здесь гудящей самоцелью. «Если в поезде четное число пассажиров, я выйду на Серпуховской, решил он».

Иногда герой засыпает на прогонах и, доехав до конечной, пересаживается на поезд, идущий в обратном направлении, чтобы продолжить сон. Иногда он наблюдает за пассажирами или за скользящей за стеклами чернотой, иногда он сосредотачивается на контурах предметов, на их рваности и обтекаемости, иногда прозревает содержимое желудков и механику скелетов соседей, а станции вылетают в центр зрения, как полыхающие привидения, чтобы тут же вновь смениться чередованием черных пустот. «Человек перешел на Кольцо. У него возникло чувство, будто не следовало это делать». Гений места загадочен и силен, игрив и обманчив, и, втирая свое собственное тело в чстокол «Схемы линий», человек может наладить с вечно утекающим, ускользающим местом какие-то отношения.

Конечно, эти отношения всегда будут обидно односторонними. Человек, желая подтвердить собственную адекватность, прислоняется щекой к равнодушной отчизне, но фигуры чувства, мысли и описания повисают в воздухе. Мы не нужны географии, топонимике, памятнику Снегиреву, линиям московского метро. Им не нужны ни наши страсти, ни наши тексты.

Это похоже на отношения человека с Богом: молитвы всегда текут только в одну сторону. Но места и вещи отличаются от Бога одним важным пунктом — степенью достоверности.



Не манифест

Недавно узнал прелюбопытнейшую новость: в некоей редакционной компании некий литератор (неважно — какой партии) чуть ли не с кулаками бросался на другого литератора с криками, что это он, «а не Басинский», первый заговорил о «новом реализме». То есть речь шла о приоритетах...

Конечно, мне лестно, что я, оказывается, способен вызывать в ком-то столь горячие чувства. Но вот первопричина этих чувств мне не вполне понятна. О «новом реализме» (и даже «неореализме») в начале XX века только ленивый не говорил. Что же касается понятия «русский реализм»... я не раз и не два уже писал, что (цитирую, простите, себя), «как ни приятно было бы считаться творцом новой концепции, но от этой чести я должен отказаться. Обоснование русского реализма не мне принадлежит»; что «так понимали реализм великие русские художники от Пушкина до Солженицына (последний это прямо выразил в своей Нобелевской речи). Но так его понимали и, например, виднейшие историки русской мысли и церкви — Н. О. Лосский, В. В. Зеньковский, прот. Георгий Флоровский и другие. Я ничего своего к этому пониманию добавить не могу...».

Но тщетно... Возникает Вяч. Курицын и дружески похлопывает по плечу (в печати): мол, Басинский такой хитрый, такой хитрый... На десять лет вперед смотрит! Пройдет время, и его «стратегия русского реализма» начнет приносить свои плоды: деньги потекут рекой, и медаль от правительства непременно будет... С того выступления Курицына прошло хотя и не десять лет, но пять — точно. Все жду тех сумасшедших денег... Но, верно, банкир тот еще не родился...

За Курицыным спешит Вл. Бондаренко. Мол, Басинский такой ловкий, такой решительный... Подхватил под локотки Павлова и Варламова, «создал свое направление» и нынче в ус не дует, жирует со своими «новыми реалистами», и — все-то им идет в актив...

Как странно... О прозе Олега Павлова я не писал почти ничего до появления его романа «Дело Матюшина» («Октябрь», 1997, №№ 1, 2). О самой громкой вещи Варламова, повести «Рождение», писал сквозь зубы, его роман «Затонувший ковчег» («Октябрь», 1997, №№ 3, 4) прямо-таки бранил. (Мои личные с этими писателями отношения — мое личное дело.) А вот, например, о прозе Светланы Василенко и Геннадия Головина писал много и неизменно восторженно, хотя с последним не только не знаком лично, но и в глаза его ни разу не видел. Но этого вышеупомянутые критики отчего-то не замечают. Какой-то Головин...

Иное дело — Басинский — Павлов — Варламов.

Ну что ж, поговорим по существу.

Русский реализм — сегодня невозможен. Без реализма — невозможна русская литература.

Между этими положениями, словно античными Симплегадами, старается пройти в конце века корабль русской словесности. Главное: не опоздать, пока эти положения не сошлись в последнем логическом выводе. Впрочем, не стану настаивать, что время еще есть. Бодриться, держать хвост пистолетом, делать хорошую мину — это счастливое право оставим тем, для кого литература — игра, «буковки», не свидетельство человека о законности земной прописки пред оком мироздания.

Имя им — легион. «Их тысячи и тысячи», — говорил приятель Георгия Иванова, некто поэт Беленький, об эстетиках «для себя», «ищущих в эстетике утешения

«для души», не удовлетворенной будничным существованием — безразлично, зубного техника или товарища министра».

Реализм — невозможен, потому что в основе и, так сказать, по душе своей — это искусство демократическое, искусство *для людей*, которое тем не менее создается *аристократами духа*. В этом главное противоречие реализма, в наши дни обжившееся со всей беспощадностью.

Массовое искусство не принимает реализма. Слишком непонятен, ибо запрашивает предварительного эстетического и нравственного воспитания в не столь важно какой именно, но органической, состоятельной и *неслучайной* человеческой среде. Воспитания не столько книгами — сколько самим образом жизни. Это может быть дворянская или крестьянская семья. Но может быть и рабочий поселок, и семья провинциального интеллигента, и даже сиротское заведение... Требуется знания *языка*, внешне простого и доступного, но для непосвященного — герметичного и даже оскорбительного для его восприятия.

Этот язык может быть очень разным — от языка Толстого и Бунина до языка Платонова и Астафьева, — но во всех случаях мы понимаем, что это язык не прикладной, не искусственный, что он не просто возник в голове автора, не сканирован из прочитанных им книг, однако имеет свои корни в какой-то человеческой общности. Создатели «штмпелеванной культуры», по выражению Андрея Белого, то есть культуры, рассчитанной на искусственно создаваемого человека-потребителя, справедливо не принимают реализма. Но и элитарное искусство не принимает реализма. И по той же самой причине. Слишком горд и высокомерен. Он зеркало души человеческой, и каждый найдет в нем то, что находится в его собственной душе. В реализме нельзя спрятаться бездарности. Между тем: «Известно, что чем левей искусство, тем труднее разобрать, гений ли автор или бездарность, — писал опять же Георгий Иванов. — На некоторой (всем доступной) «высоте» левизны различить это становится просто невозможным».

И тем не менее происходит невероятное. В последнее время только и разговоров в литературной критике, что о «реализме». По частоте мелькания это слово неожиданно встало рядом с «постмодернизмом». Различные приставки к нему («пост», «гипер», «турбо» и проч.) не должны смущать. Это бесконечная смена личин, за которой ищем и не находим живого лица. И хочется спросить: «Хорошо, вы «турбо», вы «гипер». Но почему вы «реалисты»? Зачем вы «реалисты»? Разве не можете все обойтись без этого слова, которое не цените, не любите и даже презираете, если боитесь назваться просто, без оправдательных приставок?» В самом деле... ЗАЧЕМ?

Еще пять—семь лет назад говорить о реализме в приличном литературном обществе было бы верхом неприличия. Темы о «чистом» реализме, реализме как искусстве высшей пробы, и быть не могло. «Реализм гроб», — говорил на одном собрании известный либеральный критик, выражая пафос подневольных эстетиков советской эпохи, для которых реализм был символом несвободы, эстетической тюрмы.

Так или иначе, но слово «реализм» настолько тесно связалось с советской идеологией, что, видимо, необходимо было какое-то время, чтобы от него отлетела идеологическая штукатурка и разговор стал возможен без неприятных предисловий. И вот примерно с середины 90-х годов в статьях того же критика начали появляться странные пассажи. «Бессмысленны мечтания некоторых критиков о «возвращении» реализма в полном объеме этого понятия: это и невозможно, и ненужно. Вместо этого стоит поразмышлять, какие отдельные элементы реалистической поэтики могут оказаться плодотворными для литературы будущего». Стоит оценить этот щедрый подарок! Ведь еще не так давно он выступал исключительно за модернизм, который, по его мнению, «не «отклонение» от заветов русской классики, а ее закономерное продолжение и развитие...». Впрочем, и сегодня он продолжает настаивать, что «эволюционный сдвиг, осуществившийся в эпоху модернизма, носил естественный и необратимый характер»; что «с определенного момента «прямой» выход на классиков XIX века стал невозможен»; что «русская литература XX века написана полностью» и над ней жирным шрифтом стоит название: «"русский литературный модернизм"». Однако неизвестно откуда взявшиеся ортодоксы чистого реализма («некоторые критики») настолько раздражают его, что он уже не замечает, что сам давно является ортодоксом. Кто эти несчастные охранители погибшей старины? Ермилов? Щербина? Овчаренко? Их нет, они «далече». Феликс Кузнецов?

Что-то я не встречал его громоподобных статей в последнее время, а вот статьи нашего критика читаю регулярно... И выходит, что он мужественно сражается с кучкой литературных мечтателей (из нового поколения), поставивших на невозможное дело. Ладно — невозможное, но еще и «ненужное»! И выходит, что он сам не прочь примерить шкуру охранителя «законных» модернистских ценностей от реалистических анфан терриблей.

Бог в помощь! Нам с ним делить нечего.

Как и с теми, кто теперь сильно переживает, что не успеет отхватить от пирога реализма свой личный кусок.

Потому что «мы» — это не партия, а, скажем так, часть ныне живущих писателей, абсолютно неопределимая в своих границах, которая родственно, а не панибратски, как братья по духу, а не «братва»-подельники, понимает общие закономерности развития русской литературы в конце XX века и стремится к сохранению ее корневых традиций, одновременно не соглашаясь и даже враждуя друг с другом в чем-то ином.

Вот и весь манифест.



ПОЭТЫ-ИМАЖИНИСТЫ. СПб., «Петербургский писатель»; М., «Аграф», 1997. Тир. 5000 экз.

Сборник не только наводит на мысль: имажинизм при всех поэтических удачах А. Мариенгофа или В. Шершеневича — явление мертворожденное. Понятно, что смысловые акценты перераспределились и, сколько бы ни возносили одного и не забывали о другом, А. Кусиков куда популярней С. Есенина, ибо знаменитый русский поэт сочинил единственное стихотворение, без нажима ставшее народной песней, — стихотворение о клене. Между тем А. Кусикову принадлежат и «Бубенцы» и «Обидно, досадно», не включенные в сборник, вероятно, потому, что прочие тексты рядом с ними теряют подобие жизни.

Н. А. ТЭФФИ. Собрание сочинений, том I. «И СТАЛО ТАК...» М., «Лаком», 1997. Тир. 4000 экз.

Разумеется, каждый мало-мальски интересный сочинитель достоин собрания сочинений уже хотя бы для того, чтобы стало видно, сколько он сочинил вздора. Подтверждение (либо опровержение противного) — всякий сборник избранных произведений Н. А. Тэффи. Когда же читаешь том ее собрания от начала и до конца, делается понятно, откуда произошло современное эссе, вернее то, что за эссе считается. Автор берет любой факт и далее выстраивает цепочку умозаключений, никак между собой не связанных. Сочинение по видимости делается изящной словесностью, но читать его по крайней мере утомительно. Впрочем, Н. А. Тэффи написала много страниц, оставшихся навсегда. Вспомню хотя бы сцену, как две старушки демонстрируют ненависть и презрение к немцам, занявшим Париж: они отвернулись лицом к стене, укрылись распахнутыми зонтиками и так стояли, не шевелясь, и только тоненькие ножки одной все дрожали и дрожали от неистребимого страха.

УЛИЧНЫЕ ПЕСНИ. М., «Колокол-пресс», 1997. Тир. 16 000 экз.

Пусть составитель оправдывается, будто книга готовилась в период «застоя»; прошло достаточно времени, чтобы переделать работу заново. Теперь неполнота свидетельствует об элементарной безграмотности. Слова песни «Шумит ночной Марсель» принадлежат Н. Эрмману, «Когда качаются фонарики ночные» сочинил Г. Горбовский, «Бублики» — Я. Ядов, а «Девушку из Нагасаки» — В. Инбер (беру на выбор). И «Ванинский порт» звучит иначе. Магадан не «стоял» на пути, а именно «восстал». А концовка и безысходней, и поэтичней:

Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь.
Встречать ты меня не придешь,
А если придешь, не узнаешь.

А если придешь не одна,
С тобою придет твой желанный,—
Налейте стакан мне вина,
Налейте стакан восьмигранный.

Впрочем, рассуждая о явлениях фольклоризма, следует скорее говорить не об исходных текстах, а о произведениях, созданных по «мотивам». Но интересно и другое: какой огромный вклад внесла в создание богатого фольклора русская интеллигенция. А коли так, вполне естественно — по закону партиципации, прикосновения — разделить судьбу и с героями собственных произведений, и с публикой, которая эти произведения сделала своими. И пример Н. Эрммана, сочиняющего, сидя на нарах, бескрайние рифмованные рассказы по приказу блатных, да останется поучением для будущих стихотворцев.

Хосе ОРТЕГА-И-ГАССЕТ. ВЕЛАСКЕС. ГОЙЯ. М., «Республика», 1997. Тир. 10 000 экз.

Хорошо иллюстрированная и снабженная комментариями книга о двух великих испанских художниках доказывает — про живопись можно писать не только концептуально, а и

попросту интересно. Домыслы о стоящем за изображением подменены анализом самого изображения. Незаконченность исследования о Веласкесе выглядит как принципиальная открытость текста.

Илья ИЛЬФ. ДНЕВНИКИ. Омск, «Наследие», АО «ДиалогСибирь», 1997. Тир. 999 экз.

Попытка создать ильфовской прозе изобразительный эквивалент в духе плаката по технике безопасности — даже при нарочитой ироничности художника попытка с негодными средствами. Ильф — писатель метафизический. Недаром он мог занести в записную книжку фразу: «Что снится рыбе» — и в конце поставить вместо вопросительного знака точку. Он знал, что снится рыбам. Постепенно сатира обесмысливается, и от произведений, написанных им в соавторстве с Е. Петровым и самостоятельно, остаются отдельные фразы, указывающие на возможность какой-то иной литературы.

ШАЛАМОВСКИЙ СБОРНИК, выпуск 2. [Б. м.], «Грифон», 1997. Тир. 2000 экз.

В сборнике опубликованы фрагменты из шаламовских записных книжек, воспоминания о писателе и статьи, посвященные его произведениям и биографии. Проза В. Т. Шаламова и его судьба столь значительны, что на их фоне отвратительна пустая болтовня вроде помещенных в книге штудий учительницы «Шаламов в школе»: тут и тема природы, и тема нравственности. Поразительны обезьянья переимчивость и при том обезьянья зловредность людей. Позавчера они рассуждали о Маяковском и Шолохове, сегодня о Платонове и Замятине (дело не в личностях, а в принципе), рассуждают аффективно, с придыханием в обратную сторону — из-за разницы в системе дыхания обезьяна не может говорить. Разложенная по графам, с цитатами из школьных сочинений статья особенно странно выглядит рядом с записями В. Т. Шаламова, озаглавленными «Что я видел и понял», где он утверждает, как страшно самолюбие мальчика и юноши (а точнее, любого подростка, ведь подросток пока не имеет пола): ему легче украсть, чем просить.

Ю. А. СМЕРНОВ. ЛАБИРИНТ. МОРФОЛОГИЯ ПРЕДНАМЕРЕННОГО ПОГРЕБЕНИЯ. Исследование, тексты, словарь. М., Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997, Тир. 1500 экз.

Сказанное в монографии любопытно сопоставить с сюжетом «о мертвом теле, никому не принадлежащем», особо важным в русской культуре. Автор сопроводил текст обширными таблицами «Отношение к умершему», «Обращение с умершим», «Погребальный инвентарь» и проч. Кажется, проблема изложена предельно ясно и преднамеренное погребение ничего общего не имеет с непреднамеренным — следствием, например, природных явлений, стихийных бедствий. Но если поставить вопрос чуть иначе, окажется: в культуре, где настоятельность человеческого поступка соотносится с последующим воздаянием, и природные явления не случайны, последний день Помпеи определен предыдущим существованием.

Аркадий ШТЕЙНБЕРГ. К ВЕРХОВЬЯМ. Сборник стихов. О Штейнберге. Материалы к биографии. Мемуары. Заметки. Стихи. [Б. м.], «Совпадение», 1997. Тираж не указан.

Избыточность поэзии А. Штейнберга, явленная хотя бы в неимоверной точности рифмовки, постепенно отвращает: слишком эта поэзия хороша. Такое утверждение не противоречит другому: перед читателем стихи одного из самых значительных поэтов второй половины века и замечательного человека (о чем вспоминают мемуаристы). Однако рядом с совершенством особое значение получают случайности. Эпизод из мемуаров, где художник А. Зверев отрезает ухо своему обидчику, обретает значение притчи — вот современная вариация на тему Ван-Гога. Оказывается, у искусства разные пути, каждый платит за совершенство по-своему.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Дорогие наши читатели!

**НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1998 ГОДА.**

Стоимость подписки

на месяц — 16 руб. 50 коп.

на три месяца — 49 руб. 50 коп.

на полгода — 99 руб.

плюс надбавка местных отделений связи.

Подписка по Каталогу газет и журналов «Роспечати» принимается всеми отделениями связи.

Индекс издания: 73293.

Москвичи и жители Московской области могут подписаться на «Октябрь» непосредственно в редакции (ул. «Правды», 11/13) по льготной цене и получать журналы у нас.

Телефон для справок: 214-31-23.

Ф.СП-1

МС РФ ГПС (Госпочтамт)											
АБОНЕМЕНТ на журнал										73293	
ОКТЯБРЬ										(Индекс издания)	
(наименование издания)										Количество комплектов	
на 1998 год по месяцам											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Куда											
(почтовый индекс)						(адрес)					
Кому											
(фамилия, инициалы)											

			ДОСТАВочНАЯ КАРТОЧКА											
			на журнал											
ПВ			место			ли-тер			газету			73293		
			(Индекс издания)											
ОКТЯБРЬ														
Стои-мость			подписки пере-адресовки			руб. руб.			Количество комплек-тов					
на 1998 год по месяцам														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Куда														
(почтовый индекс)						(адрес)								
Кому														
(фамилия, инициалы)														

Оформить подписку на журнал также можно:

— по Каталогу «Роспечати» через киоски (кроме Москвы);

— по Каталогу газет, журналов, книг для Московской области (индекс 23293).

Читайте в ближайших номерах:

**ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА.**

«Нынешний проезд Государя в Ставку совершенно атрофировал штаб Верховного главнокомандования. В первый проезд Государь осыпал штаб милостями. Ну вот и к этому проезду они приготовились, и действительно их снова покрыли милостями. Но милость милостью, а дело делом. Но вот с дня проезда Государя в Ставку 22 октября все застыло. Никаких указаний больше не дают и сыплют телеграмму за телеграммой о наградах, о представлении к наградам, а о войне как будто и забыли. Все это очень грустно, ибо в результате лишние жертвы».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*В 1998 году «Октябрь»
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года.

Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР. **Тургенев — сын Ахматовой.** Повесть.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Юнна МОРИЦ. **Рассказы. Стихи.**

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Анатолий НАЙМАН. **Проза, стихи.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **Повесть.**

Цикл очерков **«Из нелитературной коллекции»**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Борис ХАЗАНОВ. **Далекое зрелище лесов.** Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.

Геннадий ШПАЛИКОВ. **Дневники. Стихи.**

Переписка Вадима СИДУРА и Карла АЙМЕРМАХЕРА. 60—70-е гг.
Военный дневник великого князя Андрея Владимировича РОМА-
НОВА.

А также **новые произведения** Юрия БУЙДЫ, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Евгения ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.
